

К 1247962



СЕВЕРНЫЙ
АРХИВАРИУС

СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ

В. С. ЖЕЛЕЗНИК - БЕЛЕЦКИЙ



СЕВЕРНЫЙ
АРХИВАРИУС



книга памяти

СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ
ЖЕЛЕЗНЯК - БЕЛЕЦКИЙ



K1244962

ВОЛОГДА
1995

Составитель **Василий ОБОТУРОВ.**
Иллюстрации художницы **Н. В. ЖЕЛЕЗНЯК.**
Оформление художника **Сергея ИВЛЕВА.**

Ответственный за выпуск **В. В. КОРОТАЕВ.**

Издательская фирма «Вестник» благодарит Администрацию Вологодской области и Комитет по культуре, искусству и печати за финансирование настоящего издания.

Сборник, посвященный памяти В. С. Железняка-Белецкого (1904—1984), впервые вводит в литературный обиход редкие или вовсе неизвестные материалы. В них всесторонне открываются происхождение, жизненный путь и своеобразие творчества не только писателя, искусствоведа и краеведа, но и его жены, художницы Нины Витальевны. Книга подготовлена по инициативе Вологодской организации Союза художников, богато иллюстрирована рисунками и фотографиями работ члена СХ России Н. В. Железняк и редкими фотографиями из семейного архива.

ISBN 5-690-00037-X

(C) КИФ «Вестник», 1995



ПРЕДИСЛОВИЕ

Составитель о замысле и значении
этой необычной книги

Открываем страницы сборника, который мог бы быть гораздо объемистее,— вся долгая жизнь двух творческих людей под одну книжную обложку не втиснется. Жизнь открытая и скромная, жизнь тайная и напряженная — не принято было драматизм судьбы выносить напоказ. Да что там толковать — и опасно было показывать.

Вот и жили: сын сенатора, товарища министра (т. е. по нынешнему — его первого зама) внутренних дел при последнем государе императоре и она, потомок древнего дворянского рода,— в кремлевской келье (вовсе для жилья не предназначенной), в одно- и двухкомнатной позже квартирке, как у многих. А знали сослуживцы и соседи тихого музейного сотрудника Владимира Степановича Железняка (фамилия Белецкого долго была глубокой тайной) и его жену Нину Витальевну, скромную художницу.

Незаметно жили они, даже неприметально, да и какие притязания могли быть? — живы и слава Богу... О прошлом вспоминали разве между собой, но никогда за многие годы — до последних! — даже с постоянными друзьями. И без того частенько встречали опаску окружающих, особенно чиновных: как же, ссыльные, лишенцы...

Сами они, конечно же, не могли не думать о том, что безвозвратно кануло. Богатства у них и раньше не было, а такого скромного достатка, что имели их родители, теперь и вообще ни у кого среди окружения не сышешь, так что убожество быта их не пугало. Только вот крохотная серебряная стопочка или рюмка старинного хрустала, чудом сохранившиеся в единственном числе, вдруг напомнят о самых родных, ушедших в небытие. А где-то в захоронке укрылись семейные фотографии, которые

Предисловие

редко извлекаются на свет божий. Ведь среди них и фото отца, такого молодого, расстрелян в пору мужества — сорока трех лет...

...Нет, никогда нам не представить в полной мере ни дум, ни настроений, ни потаенных душевных движений тех, чьи судьбы жестоко искорежены преступным режимом. Но поднять документы, поставить на службу суровой памяти живое слово, с горьким сочувствием увидеть на фото лица сгинувших — это дано уму неленивому, сердцу нечестивому. Такой цели и должна послужить наша не совсем обычная книга — «Книга памяти» писателя-искусствоведа Владимира Степановича Белецкого-Железняка.

Книга сложилась в трех разделах, между которыми нет непроходимой границы,— все-таки жизнь человеческая, талант и одухотворенное знание питают и само творчество. Надо ли удивляться тому, что потомок рода Дениса Давыдова обращается к образу легендарного предка. И любовь к Достоевскому (она могла бы остаться платонической, только внешним фактором биографии — мало ли людей, увлеченных словом этого гения и пророка) — нет, любовь Белецкого-Железняка породила цикл отличных новелл... И все-таки, чтоб книгу выстроить, приходится определять разделы.

Открывается сборник целым рядом биографических материалов, они по-своему неповторимы, тем более что в нашей действительности мы не знаем, как правило, того мира, из которого пришли даже любимые писатели. И здесь сам Владимир Степанович кратко и суховато, почти бесстрастно рассказывает о себе. Гораздо более подробно и уже с увлечением он рассказывает об отце, Степане Петровиче, о своих детских годах. Помимо биографических сведений, мы попутно узнаем «происхождение» некоторых его произведений, например, «Оловянные солдатики» или «Перламутровый ножичек». Впрочем, отзвуки впечатлений, полученных в родительской среде, запечатлены уже в ранней повести «Она с Востока».

Имя С. П. Белецкого, крупного государственного деятеля, сподвижника П. А. Столыпина, до сих пор окутано тайной, которую и мы не беремся постичь до конца. Широко известен роман Валентина Пикуля «У последней черты», и в нем не раз упоминается имя Белецкого, но —

ничегошеньки о нем документального! — сплошной вэдор и вымысел. В трех номерах журнала «Россияне» за 1992 год опубликован большой материал о Белецком, но иначе как клеветническим его не оценишь.

Впрочем, чему же тут удивляться? В самом деле, служба в «органах внутренних дел» всегда — и в наши дни тоже — за семью печатями. Близко совсем увидел Белецкого Александр Блок, участвуя в следственной комиссии по делам царского окружения (см. дневники и письма А. А. Блока. Собр. соч. в восьми томах, т. т. 7, 8. М.—Л., ХЛ, 1963; «Записные книжки», М., ХЛ, 1965). И ведь совсем ничего не понял великий поэт: он, как большинство интеллигентов той поры, пораженный плесенью революционной разрушительности, и не мог оценить позицию человека, целью которого было спокойствие и величие России. И может быть, не самый выигрышный для автора материал — тематически несколько зауженный да и созданный в неволе — воспоминания С. П. Белецкого о Григории Распутине, но мы извлекли его из забвения, чтобы читатель сам составил себе мнение об этом неординарном человеке.

Завершается первый раздел записками Н. В. Железняк о пережитом — «Глухие годы»: о себе, Владимире Степановиче, о родовых корнях и о творчестве, о бытовом и духовном в жизни двух российских интеллигентов. Воспоминания насыщены деталями и очень своеобразны, по-своему уникальны сами по себе и во многом предопределяют единство всей «Книги памяти».

Проблемы творчества составляют смысл второго раздела книги, опять же не изолированно от жизни и быта писателя и художницы. Рядом с очерком *«Мы Владимира Железняка мне представляется уместна и необходимой статья о творчестве Н. В. Железняк»* интервью. Тем более уместны, что не только жизненный путь, но и творческие интересы писателя и художницы не просто совпадали, но взаимно проникали друг в друга и обогащали.

Самый личный и сокровенный жанр прозы — письма, но в наш изломанный век и они не всегда несут отсвет личности и лиризм, но нередко поневоле становятся деловым документом. Таковы и некоторые письма В. С. Же-

Предисловие

лезняку, в одних случаях — откровенно деловые как ответ на просьбы писателя ради самозащиты в условиях тотального подавления (например, письма М. Шолохова, Н. Тихонова), в других — совет и взаимопонимание творчески близких людей (В. Лобанов, В. Верещагин-сын). И совсем неоценимы письма Юрия Домбровского, автора блестательного романа «Факультет ненужных вещей», — это поистине кладезь для понимания духовного облика двух друзей-писателей. Трудно даже представить себе, какие ассоциации могут вызвать эти послания, какую содержат глубину. В целом же подборки писем «Голоса в немоте» и «Сильнее судьбы» даже своей фрагментарностью, отдельными фактами и суждениями, оброненными пусть вскользь и непреднамеренно, намечают путь к постижению тайны свободного духа и независимого творчества.

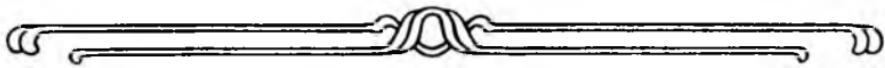


ВРЕМЯ ЛОМАЕТ СУДЬБЫ

История в жизни обычных людей.

Биографические материалы





В. С. Железняк-Белецкий

А В Т О Б И О Г Р А Ф И Я

Родился я в семье чиновника, в г. Ковно (Каунас, Литва) 4 января 1904 г., но все свое детство и раннюю юность провел в С.-Петербурге (с 1914 года, с начала мировой войны, город именовался уже Петроградом). Он запомнился на всю жизнь — и стройные улицы, и Литейный проспект, и фешенебельный Невский, и чудесная, неповторимая гранитная набережная, Летний сад с «дедушкой Крыловым», пароходики на Неве, мрачная грандиозная Петропавловка...

Разве его забыть, город юных дней! В нем начал я учиться на Гагаринской улице в Третьей мужской классической гимназии. Мама в дни войны служила сестрой милосердия в Красноармейском госпитале, а я, уже будучи учеником 41-й Единой трудовой школы второй ступени, пережил наступление генерала Юденича, голодал, и многое прошло перед моими тогда мальчишечными глазами. Впоследствии эти впечатления вошли в повести и рассказы.

Никогда не забывал я северную столицу, и она до сих пор для меня самый любимый и дорогой город, который вместе с провинциальной Вологдой стал постоянной темой моих писаний.

Один штрих из той поры: бабушка Ольга Ивановна по материнской линии принадлежала к фамилии Давыдовых и очень гордилась тем, что знаменитый поэт и партизан — Денис Васильевич Давыдов — был ее ближайшим предком. А я еще восьмилетним мальчуганом получил в 1912 году медаль в память Отечественной войны. Однажды надел ее на гимназический мундирчик и прошелся по Невскому. Смотрите и завидуйте! И вдруг какой-то студент насмешливо остановил:

— Почему у тебя, мальчик, медаль? За какую доблесть?

И я в ответ:

— Мой предок Денис Давыдов — герой 1812 года!

Студент засмеялся, он смеялся обидно, и я покраснел.

— Понятно! — сказал.— Понятно! У вас, молодой человек, предки Рим спасли!..

С той поры я уже не надевал медали.

Позже переехал к дяде в Москву, где поступил на Высшие государственные литературные курсы (бывший Литинститут им. В. Я. Брюсова), и учился с 1925 по 1930 годы, а когда ВГЛК ликвидировали, студентов распределили по редакциям газет и издательств. Работал в газете «За пищевую индустрию», а затем зам. редактора газеты «За здоровый трамвай» Краснопресненского парка.

Состоял в студенческом кружке «Молодая кузница» (входившем в старую «Кузницу») — был ее председателем. Принят в члены МАППа (Московская ассоциация proletарских писателей) и Литфонда (с 1928 года). Печатался в различных журналах, но наибольшее количество очерков и статей поместил в «Рабочей газете» (Ф. Кона) и журнале «Экран».

В 1930—1931 годах в писательских сборниках издательства «Недра» — благодаря В. В. Вересаеву — опубликована повесть «Она с Востока» (№ 18), а после поездки на Украину, в Полесье,— повесть «Пассажиры разных поездов» (№ 20). Рассказ «Преступление вагоновожатого Ильюшина» напечатан в журнале «Молодая гвардия» (№ 11, 1933). Рассказ, вернее, небольшая повесть «Оловянные солдатики» («Знамя», № 11, 1934) перевели на французский язык в журнале «Интернациональная литература» в 1933 году, и он заслужил хороший отзыв парижского журнала «Коммюн».

«Человек предполагает — а жизнь располагает». В 1936 году я должен был уехать в Вологду. Небольшой северный городок, его узорчатые домики, колонки и резьба по фасадам, величавый Софийский собор, набережные, такой поистине обаятельный запах сирени — все это заставило приникнуть по-сыновьи к этому городку.

Я поступил в ж.-д. газету «На стройке», на вторые пути (по линии Данилов-Архангельск) и несколько месяцев там работал. Затем стал старшим научным сотрудником

по охране памятников истории и культуры Вологодского областного краеведческого музея. С женой Ниной Витальевной Железняк, художницей, с этнографическими экспедициями обхехал почти всю область. Со своим помощником — знатоком старины А. А. Мировым — построил в музее (по архивным данным) отдел истории. В свободное от занятий время изучал историю, архитектуру и народное творчество северного края.

В Великую Отечественную войну был на оборонных работах (ст. Дикая), устраивал передвижные выставки в госпиталях, читал лекции по истории, все это вместе с художниками Н. М. Ширякиным и знаменитым реставратором А. И. Брягиным.

Жили мы с женой в башне Цифирной школы, и перед глазами стояли величавый Софийский собор и колокольня, а чуть поодаль — Соборная горка над рекой Вологдой. Как живую, эту картину видишь и сейчас — и стрижей над собором, и пушистый снег зимой. Ах, Боже ты мой, летом как радовали сердце стрижи, их косой неуловимый полет и нежное горловое клокотание голубей.

В Вологде в то время существовал только творческий Союз художников, и в 1943 году я был принят членом СХ СССР и одно время состоял секретарем отделения, а председателем был художник Николай Михайлович Ширякин — ученик Архипова и Коровина. Как искусствовед, я интересовался народными промыслами (особенно кружевным) и старинными храмами и особняками.

За оборонную работу я был награжден медалью «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941—45 гг.» После войны вошел в Литературное объединение (одно время председателем его был С. В. Викулов) и благодаря редакторам «Красного Севера» — К. Н. Гуляеву и «Сталинской молодежи» — Л. Д. Курылеву, много печатался в газетах.

Из книг вышли — «Вологда» (к 800-летию города, 1947, и повторное издание в 1963 году), в 1956 году — «Повесть о творчестве» (спасибо М. А. Шолохову!). Отдельно вышли две книжечки — «Художник Верещагин» и очерк в журнале «Север» о нем же. В Ленинграде в 1964 году вместе с искусствоведом Л. Ф. Дьяконицким мы выпустили альбом «Вологодские художники».

Автобиография

Когда в середине 50-х годов стали издаваться выпуски альманаха «Литературная Вологда», там я поместил ряд новелл: «Изограф», «Парадиз», «Воевода Плещеев» и др. В «Ленинградском альманахе» (№ 15) дал первую публикацию о поэте Василии Сиротине, авторе песни «Улица, улица, ты, брат, пьяна...» («Загубленный талант»).

Очень много, радостно и уверенно работалось над рассказами из биографии любимого мною великого писателя Ф. М. Достоевского. И в феврале 1957 года в Москве под началом директора Г. В. Когана был устроен специальный вечер моего чтения глав из рукописи о Ф. М. Достоевском. Были достоеведы, сотрудники музеев, просто любители творчества великого художника. Я читал, дрожа от скрытой радости, читал за столом, за которым сиживал Федор Михайлович...

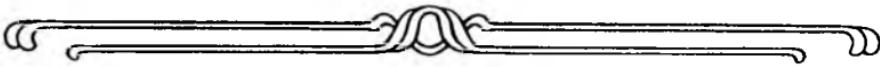
Не скрываю, горжусь и словами лауреата, профессора Г. М. Фридлендера о книге «Последние годы Ф. М. Достоевского»: «Книга Ваша дышит целомудрием (я бы сказал!), любовью к Достоевскому и подкупает этой чистотой» (22 окт. 1983 г.).

Еще с юных лет меня интересовали темы из истории русского Севера — темы крутых поворотов тогдашней жизни. Я входил не только в покой царей и цариц, интересуясь их деяниями — и плохими и хорошими, не могу быть равнодушным и к судьбе наших изографов, писателей и самых обыкновенных людей. Таковы персонажи из книг «Отзвеневшие шаги», «Голоса времени», «Лихолетье», «Осенний мотив», «Зарницы над Русью»...

Я люблю Вологду, меня притягивает, как магнит, творчество В. И. Белова, нравятся некоторые другие писатели, люблю Вологодскую землю и, полагаю, имею право назвать себя вологжанином...

Публикация Н. В. Железняк. 1984.





B. С. Железняк-Белецкий

МОЙ ОТЕЦ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ

(из семейных воспоминаний ровесника века)

С неизменным детским восхищением разглядывал я фигуру отца, когда в торжественные дни он надевал мундир со многими русскими и иностранными орденами. Поверх мундира полагалась красивая красная армейская лента со звездой, а сбоку мундира надевалась шпага с серебряными кистями. Обычные брюки заменялись белыми, с генеральским золотым позументом. На голову водружалась треуголка с золотым шитьем.

Выше среднего роста, полный, с румяным лицом, славянским мясистым носом, маленькой бородкой, где пробивалась ранняя седина, с умными серыми глазами, с мягким украинским акцентом отец казался мне самым могущественным человеком на земле. Он мог творить чудеса. Перед ним трепетали дети, гувернантки, прислуга, курьеры. Его слово было законом.

Когда в воскресные дни мы с отцом прогуливались по Летнему саду, я видел, как штатские раскланивались, снимая шляпы, дамы улыбались, военные козыряли и вытягивались во фронт. Я знал, что мой отец — директор департамента полиции, что восьмилетнему мальчику ничего не говорило, и где было мне тогда знать, что его опасались даже министры и влиятельные сановники. Когда отец был отставлен от этой должности и получил звание сенатора, я удивлялся, почему он пользуется меньшим влиянием: у него и мундир сенаторский алый, высокий чин тайного советника.

Во время германской войны 14-го года отца назначили на пост товарища министра внутренних дел с выделением под его руководство департамента полиции и штаба отдельного корпуса жандармов. Он снова стал

центром внимания и поклонов, козыряний и улыбок. Но мальчику в десять лет казалось, что могущество отца исходит от его личных свойств, как от таинственных непреложных свойств Господа Бога.

Помню, гимназистом подготовительного класса третьей мужской гимназии, получив от мамы три рубля, я в воскресенье удрал из дома, чтобы купить в игрушечном магазине на Пантелеимоновской улице (мы жили на Гагаринской) пять коробочек оловянных нюренбергских солдатиков. В магазине нужных солдатиков не оказалось, и я добрался до Гостиного Двора, где купил пять коробочек. Занятый по дороге мыслями о том параде, который устрою солдатикам, я заблудился. Я знал, что меня дома ждут, проголодался, а на извозчика денег не было, да я об этом и забыл. Увидев стоящего на посту пожилого околоточного надзирателя, я подошел и робко спросил:

— Скажите, пожалуйста, как мне дойти до дома?

— Где ваш гимназический билет? — грозно спросил околоточный.

Билета с собой у меня не было, и я со слезами в голосе признался в этом преступлении.

— Вот вызову дворника, и он сведет вас в полицию, там разберутся, кто вы и откуда.

— Да я знаю адрес: Гагаринская, 24, квартира 17. Моего папу зовут Степан Петрович Белецкий, его все знают.

Околоточный стал как-то меньше ростом, его лицо просияло.

— Вы, значит, сынок его превосходительства?

— Сынок, — сказал я и поправился, — Владимир Степанович.

— Ай-ай-ай! — засмеялся околоточный. — Это мы в сей секунд исправим-с!

Через десять минут я был доставлен на лихаче домой, и полицейский, работяго кланяясь, говорил маме:

— Так что, ваше превосходительство, за великое счастье счел сынка вам самолично доставить.

Он назвал свою фамилию и участок, где служит. Мама достала из пальто портмоне и, вежливо улыбаясь, подала полицейскому хрустящую зеленую трешку...

Сейчас никакого, даже деревенского, паренька не удивишь маркой автомобиля, ребята прекрасно разбираются в их стоимости, скорости, в силе. Но перед первой мировой войной автомобили были редким явлением. Изредка ходили трамваи, конки (пять копеек — в салоне, три копейки — на верхотуре-империале), преобладали извозчики.

Для отца приобрели маленький «фордик». Это была открытая четырехместная машина, цвета подозрительного — темно-серого. Зимой поднимали брезентовый верх с двумя слюдяными окошками. Тогда такой «фордик» ребятишкам казался чудом техники, верхом совершенства. Я чувствовал громадную радость, когда отец брал меня с собой. Несмотря на существующие распоряжения начальства, «фордик» мчался по Петербургу во всю свою прыть, нагоняя дикий страх на извозчиков. Полицейские оглушительно свистят: «Безобразие, какое имеете право нарушать постановление начальства?»

Из кузова выглядывал отец:

— Это мой автомобиль.

— А кто вы будете, господин? — спрашивает городовой.

— Директор департамента полиции Белецкий.

Околоточный вытягивается, как истукан, лепечет:

— Здравия желаю, ваше превосходительство, ошибочка вышла.

В дальнейшем городовые уже знали номер машины, и никто ее не задерживал.

Впоследствии, когда отец стал товарищем министра внутренних дел, он пользовался закрытой, очень красивой машиной фирмы «Мерседес». Ездил он только по делам, а семье — маме, бабушке и детям — предоставлял право пользоваться лишь городским транспортом или извозчиком.

Но как я трусил перед отцом, этим магом и чародеем, в субботние дни! Вечером после обеда отец в кабинете просматривал недельные табели об успехах и прилежании брата и мои. Старший брат был тогда первым учеником привилегированной гимназии «Русского собрания». Они носили серые шинели, петлицы красные и такие же красные окольши на фуражках. Брат перешедший из класса в класс с наградными и похвальными листами (умер в 1915 году). Я же еле-еле плелся на

«удовлетворительно», и в табеле стояли не только тройки с минусом, но и двойки.

Старший брат — высокий, красивый, любимец бабушки Ольги Ивановны Дуроп, урожденной Давыдовой,— всегда был в безукоризненно вышитых брюках, в курточке, на которой ярко блестели серебряные пуговицы, хорошо затянутый по талии ремнем со сверкающей форменной пряжкой, в белом крахмальном воротничке, франтовато выглядывающем из-под куртки,— идеал первого ученика, гордость гимназии!

Надо сказать, что в этой гимназии преподаватели даже первоклассников называли на «Вы». Гимназия помещалась в Кузнечном переулке, в котором жил когда-то великий писатель Достоевский, о чем сообщалось на мемориальной доске. Эту гимназию и ее порядки я ненавидел всей душой! Директором ее был генерал Передольский, который требовал, чтобы каждое утро мы встречали в строю с пением национального гимна. Да и понятно — это же была особая гимназия и только для русских дворянских детей.

С большой радостью я ее скоро покинул и поступил в Кадетский корпус. Как я был рад, что пришлось забыть гимназическую песенку:

Единицы да нули
Все приятели мои,
Двоек, троек очень мало,
А четверок не бывало,
И пятерки уж давно
Улетели за окно.

С одиннадцати лет я стал обращать больше внимания на свою внешность и держать мундирчик в таком порядке, что даже через два года он выглядел у меня, как новенький.

Пока же я стоял перед отцом возле угрюмого письменного стола и больших книжных шкафов, испытывая гнетущее чувство робости и молясь в душе, чтобы просмотр дневника обошелся без наказания. Я был любимцем отца, мне многое прощалось.

— Ну, — говорил он насмешливо, осматривая меня. — Чем похвастаешься, Володя?.. Как стоишь? — вдруг сурово

произносил отец.— Что у тебя, подагра? Встань, как полагается. Смотреть противно на такого оболтуса.

Я вытягивался, как только мог, а отец продолжал: «Опять по диктанту — двойка, по закону божьему — тройка, по арифметике — тройка с двумя минусами. Сразу видно, пожалели, чтоб не ставить двойки. Я тебя не в дедушкин корпус отдашь, а в пастухи».

Нотация продолжалась, то возрастая, то утихая, минут пятнадцать. Я сознавал себя великим грешником, тяжело вздыхал и даже плакал. Меня ставили в угол, а отец начинал заниматься казенными бумагами. Через полчаса покаянное настроение пропадало. Я слюнявил палец и рисовал на обоях различных чертей с рогами и хвостами. Уставши, начинал, как нищий на паперти, канючить:

— Простите, пожалуйста, папа, я больше не буду, постараюсь исправить отметки, ей-богу исправлю! Разрешите, папочка, идти.

Наконец отец произносит:

— Иди, лентяй.

— Спасибо, папа,— я забираю злополучный дневник и выбегаю из комнаты. Иду в комнаты девочек Наташи и Иры, они маленькие, и я пугаю их страшными рассказами. Жаль, что я их не записывал. Это были чудесные рассказы про чертей, вурдалаков и сыщиков.

Через десять минут няня Дуня выталкивала меня от плачущих сестриц. Тогда я залезал на кухню, выпрашивал у кухарки Каролины две картофельных олашки и шел к себе, где брат Котик готовит уроки.

А я ложусь в ботинках на кровать в ожидании вечернего чая и засыпаю. Перед чаем я кормлю своего любимца — ящера Бобрика. Хороший зверь этот Бобрик...

Бывали и более счастливые субботы. Отец берет меня на машине в церковь, а потом дома читает нам, детям и маме, вслух стихи Шевченко или Некрасова. Особенно любит он «Железную дорогу». Отец читает мастерски и доставляет нам, а если случаются гости — то и им, большое удовольствие.

Можете себе представить такие, кажется, совсем уж несовместимые вещи — либеральные поэты и декламирующий их стихи всесильный директор департамента полиции...

Юридический факультет отец закончил в Киеве в 1896 году со степенью кандидата и, дав обязательство в течение трех лет уплатить потраченную на его образование сумму, поступил заведующим губернской канцелярией и редактором местной газеты «Ковенские губернские ведомости». Ковенская губерния входила в ведение Киевского, Волынского и Подольского генерал-губернатора.

Генерал-губернатором и командующим войсками округа тогда был замечательный военный деятель и талантливый русский ученый Михаил Иванович Драгомиров. Мой дед — Константин Николаевич Дуроп, отец мамы, бывший ученик Драгомирова по академии Генерального штаба, ставший впоследствии профессором и автором учебников «Тактики» и «Стратегии», — всегда с особой теплотой вспоминал Драгомирова. Дед часто бывал у своего шефа и пользовался его советами.

Михаилу Ивановичу в то время было около семидесяти лет, он сохранил живую восприимчивость и меткий ум. Последователь суворовской «Науки побеждать», он умел офицеров видеть в солдате не манекена, а живого человека. Его «Солдатская памятка», выдержанная двадцать пять изданий и переведенная на многие иностранные языки, и книга «Подготовка войск в мирное время» являются и до сих пор не совсем устаревшими.

Его не любили в высших сферах за самостоятельность.

Как-то из Петербурга предложили выделить из войск округа две роты для экзекуции в одном из уездов Подольщины, что обыкновенно делали жандармские эскадроны. Генерал это предписание препроводил на имя начальника Подольского губернского жандармского управления, начертав резолюцию: мол, «очевидно, пьяный скотина-писарь перепутал адреса».

А однажды, когда Драгомирову было строго предписано принять меры к подавлению военной силой беспорядков в Киевском университете, возмущенный Михаил Иванович ядовито телеграфировал в столицу императору, что произошла, мол, ошибка: «Пушки были наведены на университет, но неприятеля обнаружить не удалось».

Драгомирову нравился молодой редактор, и он рекомендовал его лучшим семьям Ковно и Вильно, особенно генералу Дуропу. И вот 15 февраля 1900 года в Ко-

венском кафедральном соборе состоялось торжественное венчание Степана Петровича Белецкого с Ольгой Константиновной Дуроп. В Ковно родился в 1901 году старший брат, а 22 декабря 1903 года (по старому стилю) — и я.

После непродолжительной службы в Вильно в генерал-губернаторской канцелярии (в это время отец написал исследование «Сказки Привисленского края») он в 1907 году получил пост Самарского вице-губернатора.

Самарский губернатор гофмейстер В. В. Якунин, старый русский барин, большой любитель Петербурга и курортов, поручил фактически управление всей большой губернией Белецкому. Отцу тогда только что исполнилось тридцать четыре года, и этот пост в большой волжской губернии был крупным шагом вперед.

В Самаре мы жили не в центре города, а снимали на отдаленной улице барский дом, при котором находился запущенный парк с липами и прудом. К нему примыкал губернский сад со всякими народными аттракционами, откуда по вечерам в субботу доносились к нам песни загулявших мастеровых и их подруг. Пели они и превосходные русские волжские песни, и мы с удовольствием их слушали. Подруги мастеровых раскладывали на траве домашние скатерти, на которые ставили бутылки вина и угощение.

Однажды в наш парк через ограду городского сада перелезли выпившие парни и сняли с меня костюмчик. Я голый прибежал домой.

В этом доме мы справляли праздники, особенно торжественно — Пасху. Яйца красили всей семьей — и мама, и няня, и мы, и даже гувернантка-француженка, премило разрисовывавшая яйца трехцветным французским орнаментом, что веселило отца.

— Вот, — говорил он, — и в нашем доме появились республиканские цвета.

Обыкновенно в Страстную неделю нас, детей, кормили слабо — чаем и белой булкой, так как в Великий пост скромное не вкушалось. С шести вечера в субботу убирали стол для встречи Пасхи. Боже мой, чего на нем

не было! Окороки, ветчины, жареный гусь, две огромных пасхи, куличи, поросенок под хреном, разноцветные графины с наливками, вино и так далее...

Когда я был маленький, всегда засовывал в карманы новых штанов куски жирной ветчины, а на них — расплющенные шоколадные конфеты. Когда, после праздника, я залезал в карман, чтобы доесть вкусное, руки становились коричневыми и жирными. Правда, меня за это не наказывали, ввиду праздника, потому что были Христовы дни.

Теперь о серьезном и очень важном.

Петр Аркадьевич Столыпин наконец добился власти. Из предводителей дворянства он попал в премьер-министры. Этот умный и талантливый деятель сразу же повел курс правительственного корабля на усиление самодержавия. Его реформы предполагали выведение отдельных крепких крестьянских хозяйств на отруба. Желание завести новый класс фермерства повело к созданию для облегчения их положения крестьянских банков. Все было направлено на борьбу с крестьянской общиной.

Уважая Степана Петровича, Столыпин считал его все же либералом и даже иногда подсмеивался. Поводом для этого был известный факт, когда исполняющий обязанности губернатора Степан Петрович присутствовал на открытии в Самаре еврейской синагоги и даже перерезал праздничную ленту, а затем участвовал и в обеде, чем вызвал огромную радость среди еврейства.

Но что было — боже ты мой! — в правительственные сферах. Старый князь Мещерский (у которого когда-то работал Достоевский) в своем журнале «Гражданин» писал: «Какое умилительное зрелище — исполняющий обязанности начальника губернии одной из крупнейших в России г. Белецкий молится перед торой и вкушает вместе с жидами фаршированную щуку. Интересно, что по этому поводу думает господин министр внутренних дел?»

П. А. Столыпин написал Белецкому письмо, в котором благодарил его за труды по земельной реформе и в качестве курьеза приложил заметку князя Мещерского. Впоследствии, когда отец был уже сенатором, он сбли-

зился с князем Мещерским, который простил отцу «горячку юных лет» и перед смертью (1913 г.) подарил отцу чудесный итальянский образ Христа из коллекции Александра Третьего. Этот образ в голодный девятнадцатый год мама променяла на две буханки черного хлеба.

В 1909 году Петр Аркадьевич Столыпин предложил отцу место вице-директора департамента полиции, причем заметил, что это — только трамплин для дальнейшего прыжка. С другой стороны, отцу было и предложение графа С. Ю. Витте принять должность директора банка в Петербурге с окладом в 30 тысяч рублей в год, казенной квартирой на набережной, экипажем, тогда как вице-директор департамента со всеми прибавками мог расчитывать только на 10 тысяч рублей (официально считалось — 8 тысяч рублей).

Мама со слезами умоляла папу согласиться на предложение Витте.

— Чего тебе надо, Степа? — спрашивала она отца. — Ведь это чудесно: оклад выше министерского, положение в обществе отличное, ты молод и предприимчив, впереди большая финансовая карьера. А как будет рад папа! А тут — пойми! — департамент полиции, сборище всяких подозрительных элементов, жандармы и полицеистские. Уже одно наименование департамента внушает страх. И к тому же, трудно сохранить честность и порядочность в таком учреждении. Согласись, Степа, быть директором банка.

Но перед отцом стоял призрак власти. Что банк? Это обыкновенная, а не государственная служба, и хотя отец был прекрасным финансистом, банковское дело его не интересовало.

— Нет, нет, к черту деньги! Петр Аркадьевич зовет в департамент, пишет, что это трамплин...

Как ни упрашивала мама, отец был неумолим. Он едет в Петербург. Пусть мама примирится с этим фактом. Прощай, Самара!

После хорошего самарского дома с парком петербургская квартира в Саперном переулке казалась нам сырой, затхлой и скучной. Целыми днями я просиживал на

широком подоконнике окна своей комнаты, выходившего на задний двор, похожий на колодец.

Была осень, шел надоедливый затяжной петербургский дождь. И свинцовое небо не было веселым, сизцевым, самарским. Брат с утра уходил в гимназию, сестрица занималась с няней Дуняшей своими куклами, играми. Никита, бывший денщик отца, наводил порядок в новой квартире, моя милая мама все время прихварывала. А когда была здорова, не выходила из Мариинской общины, где она работала сестрой милосердия. Каролина сердито сутилась на кухне, на чем свет стоит ругая столичных лавочников за высокие цены и недоброкачественные продукты.

В ту же осень заболела любимица мамы трехлетняя Аллочка и через две недели скончалась от воспаления мозга. Одним словом, Петербург встретил нас недружелюбно.

Но когда мы вскоре переехали на Гагаринскую улицу, в более удобную и сухую квартиру, когда освоились с Петербургом и я поступил в приготовительный класс 3-й мужской гимназии, и у нас появились свои хорошие знакомые, Петербург перестал казаться страшным городом. Наоборот, мы его полюбили той особой любовью петербуржцев, в которой много критики и много гордости и которая резко отличается от нетерпимости и патриотизма москвичей или киевлян.

Папа занимался в департаменте с десяти утра до шести вечера, отдыхал до одиннадцати, а затем снова занимался в департаменте часов до двух ночи. Директором департамента полиции был действительный статский советник Зуев — старый бюрократ, на все смотревший непосредственно глазами своего начальника — товарища министра внутренних дел и шефа отдельного корпуса жандармов генерала П. Г. Курлова. Курлов был человек беспринципный, карьерист, интриговал против П. А. Столыпина.

Сильный характер Столыпина казался придворным опасным, в чем они убеждали и государя Николая Александровича. Бывая у отца, Петр Аркадьевич жаловался на то, как трудно ему приходится в борьбе с

нашими милыми придворными господами и дамами, которые «сами не знают, что творят».

В Киеве предполагался большой праздник перед открытием Владимирского собора, украшенного фресками знаменитых художников: В. Васнецова, М. Нестерова, М. Врубеля и других. Перед своим отъездом в Киев Столыпин обещал утвердить отца в должности директора департамента, а для Эуева добиться сенаторского звания.

Как известно, в Киевском театре оперы и балета во время спектакля, в присутствии царя и царицы Столыпин получил в первом ряду партера смертельную рану из револьвера. Убийцей оказался Богров, молодой еврей, прокуратор охранного отделения, причем упорно держались слухи, что о покушении на премьера был заранее информирован шеф жандармов П. Г. Курлов. Следствие вел спешно вызванный в Киев из Петербурга вице-директор департамента полиции, первый помощник отца, крещеный еврей С. Е. Виссарионов.

Я помню, как ночью в кабинете отца резко прозвучал секретный телефон и как отец в халате после непродолжительного разговора побежал в спальню, от волнения громко крича:

— Оля, Олечка, проснись! Какое несчастье, сейчас мне звонили — в Киеве убит Петр Аркадьевич. Понимаешь, какой ужас?

Убийство Столыпина внесло свои изменения и в Министерство внутренних дел. Министром был назначен сенатор А. А. Макаров, Курлов был уволен без мундира и пенсии, а исполняющим обязанности директора департамента полиции был назначен отец.

Наконец-то, перед отцом открывались заветные перспективы. Ему было 38 лет, он уже был директором департамента, и не просто директором, как Эуев, а самостоятельный, определяющий курс политики нынешнего дня, с ним считался не только министр внутренних дел, но и Совет министров.

Мама без особой радости смотрела на возвышение отца. Ей не нравились беспринципный Виссарионов, развратный генерал М. С. Комиссаров, и она нередко повторяла отцу:

— Как ты, Степа, честнейший человек, можешь слу-

шать советы таких мерзавцев? Я хотела бы видеть тебя таким, как Лопухин.

А. А. Лопухин занимал до Эуева должность директора. Честный человек, он захотел предать гласности некоторые дела департамента и связался с известным разоблачителем провокаторов В. Л. Бурцевым. Последовал приказ об аресте Лопухина и ссылке в Сибирь.

Отец был одним из стаи столыпинских деятелей, честным и принципиальным, решившим свою судьбу соединить с судьбой монархии. У отца по вечерам бывали деятели правых партий, такие, как члены Государственной Думы Г. А. Замысловский, В. М. Пуришевич, Н. А. Каравулов, молодежь из студенческого Монархического союза и многие журналисты. Отец надеялся сделать идею борьбы с демократическим движением популярной среди широких масс крестьянства и рабочего класса.

Известный придворный генерал Богданович в одном из своих писем отцу писал: «Уважаемый Степан Петрович, Петр Аркадьевич был прав, говоря, что вы именно такой человек, который нужен нашей матушке-Родине в столь беспокойный период».

Столыпину на средства монархистов был поставлен в Киеве памятник с его словами: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Русь». После революции я видел памятник Столыпину в грязном дворе, он валялся без пьедестала и без головы.

Отец не принимал посетителей на квартире, у него были приемные часы в департаменте, но все же некоторые просители проникали в квартиру благодаря Никите. Этот Никита начал свою службу у отца, когда тот был офицером и отбывал воинскую повинность. Никита сопровождал его во всех путешествиях, был действительно искренне привязан к нему, что не мешало верному слуге шарить по господским карманам, присваивая себе мелочь, пить дорогое вино и пользоваться первосортными сигарами и папиросами. Никита было около шестидесяти, и остальная прислуга звала его почтительно «Никита Антонович Маленький». На кривых ногах, с подстриженными седыми волосами и бородкой, с украинским

выговором, он носил особую форму, которую сам изобрел: серую куртку с большими золотыми пуговицами и галуном на рукавах и воротнике. Брат прозвал Никиту «швейцарским адмиралом», и последний этим был даже польщен — вот, мол, какую он себе выбрал адмиральскую форму. Жил он в особой комнатушке, заставленной сундуками и чемоданами до невозможности, и разводил тараканов. Надо признаться, что Никита был грязноват, хотя отец ежемесячно выдавал ему деньги на белье и перчатки. Никита же неизменно щеголял в таких грязных, что отец, когда Никита подавал кушанье на стол, сердито кричал:

— Я тебе голову откручу, если ты будешь такими лапами браться за тарелки.

Никита делал испуганное лицо: «Слушаюсь, ваше благородие!» — но перчатки не менял.

Мы, дети, любили Никиту. С малых лет он носил нас на руках, рассказывал украинские сказки, у него в чулане было столько интересных вещей: старые погоны, какие-то открытки, цветные ломаные карандаши, разные форменные пуговицы — а это все в детские годы кажется сокровищами. Любил Никита и поухаживать за соседскими горничными и кухарками, а более всего любил трактир и выпивку.

— Пьешь ты, как лошадь,— говорил отец Никите,— сопьешься до белой горячки.

— Никак нет, ваше благородие,— твердо отвечал Никита,— разве казак с Полтавщины от горилки хворобу получит?

Никита считал, что пропустить случай получить на чай является личным ущербом. Сам всегда отворял двери на звонок. Когда курьер Роман открывал дверь, Никита ругался: «Я есть главный камердинер и докладчик, а ваше дело в департамент с поручением ходить, с бумагами».

— А я так думаю,— говорил курьер Роман,— что вы здесь, Никита Анатольевич, не престиж соблюдаете, а денежный интерес.

— Престиж! — тянул Никита презрительно.— Кацапы, Роман Петрович, и слова ваши кацапские...

Так вот, Никита, пока отец был дома, как цербер, сторожил у дверей и, если просители были приличными

и совали ему в руку синенькую или красненькую бумажку, слезно умолял допустить их до лицезрения его превосходительства.

— Ваше благородие, там до вас бедная госпожа пришла, плачет, как русалка, ей-богу, обливается слезами!

— Ой, Никита,— сердился отец,— опять, сукин сын, барабашка в бумажке получил.

Никита истово крестился на киот и божился:

— Ей-богу, ваше благородие, единственно из жалости решился до вас допустить.

Но без Никиты отец не мог обойтись. И действительно, когда отец тяжело заболел, только Никита мог ему угодить, ухаживал, как за родным сыном, просиживал ночи напролет у постели больного. Никите сходило с рук многое. С ним связывалась память об Украине, студенческих годах, и на него можно было положиться в различных житейских делах.

Папа любил выпить перед обедом серебряную стопку смирновской водки, а когда работал по ночам, то Никита тайком от мамы приносил в кабинет четвертушку коньяка и закуску: нарезанное тоненькими ломтиками свиное сало с черным солдатским хлебом, хотя эта закуска и не подходила к шустовскому коньяку. Раз в месяц отец посещал ресторан «Медведь», где пел знаменитый цыганский хор. Никита его дожидался с приготовленной горячей ванной. Однажды, приехав ночью, отец отворил двери своим ключом и застал Никиту преспокойно спавшим в ванне. Отец едва растолкал Никиту, который был совершенно пьян. Увидев перед собой разгневанное лицо Степана Петровича, Никита, перепугавшись, выскочил нагишом из ванны, забрызгав отцовскую фуражку и неистово крича:

— Виноват, ваше благородие, виноват!

Он так кричал, что разбудил всех детей, горничную и маму. Ночью мама плакала, а отец виновато гудел, прося извинить его.

Лето мама с нами, детьми, проводила или на Кавказе — в Пятигорске, или в Паланге, или в Ново-Александровске,

недалеко от Двинска, в большом доме с садом, который снимал брат мамы Иван.

Больше всего я любил проводить лето у дедушки. Какой это был славный и честный старик, гуманный и добрый, знаток военной истории и блестящий воспитатель военной молодежи! Приезжал я со своим ящером Бобриком, подаренным мне другом отца моряком. Приезжал, держа сурка в большой коробке. Любил я его очень, кормил червяками, сухим мясом, мухами, особой травкою. Он очень привязался ко мне и жил на стеклянной веранде. Вечером, после жаркого июльского дня, после прогулки в лес за ягодами, после уроков с сельским учителем Николаем Осиповичем, как хорошо было сидеть на мягкому диване в просторном дедушкином кабинете, увешанном военным оружием и портретами полководцев, и слушать дедушкины рассказы из военной жизни. У деда была отличная библиотека, и я много прочел исторических повестей и рассказов, и это доставляло мне радость, а Бобрик лежал на коленях.

Дедушку иногда вызывали в Петербург, в комитет военно-учебных заведений. Останавливался он в Петербурге всегда у младшего сына — в маленькой и тесной квартире. Дядя Котя служил топографом в военном штабе; после падения с верховой лошади он лишился слуха.

Мама неоднократно просила деда жить у нас.

— Нет уж, Оленька, прости, я человек старых правил, я уважаю Степана Петровича как человека, но жить в квартире департамента полиции не могу. Он человек хороший, честный, но его подчиненные — люди не моего типа, жандармы.

— Старый чудак,— отзывался о нем отец, но всегда относился к нему с подчеркнутым уважением.

Дедушка пристрастил меня к игре с оловянными солдатиками, покупал мне большое количество солдатиков Нюрнбергской фабрики и под своим руководством устраивал примерное сражение. Старый генерал так увлекался игрою, что его голос был слышен во всей квартире.

— В атаку, ребята! Ура!

Получая как генерал-полковник большую пенсию и имея авторский гонорар за переиздание учебника тактики, дед жил весьма скромно, но зато помогал своим бывшим

воспитанникам по корпусу и училищу. Недаром в одном из своих стихотворений он писал:

Так забудем чины, лета,
Все сомнения долой!
Лишь товарища кадета
Видим мы перед собой.
Нынче душу нараспашку:
О себе позабывай
И последнюю рубашку
Для товарища снимай.

Бабушка генеральша Ольга Ивановна, урожденная Давыдова, была на двадцать лет моложе деда и любила светский образ жизни. К отцу она относилась сначала недружелюбно, ей казалось, что мама сделала слишком неравную партию. Дочь известного профессора-генерала и вдруг — правитель канцелярии в смешном чине титулярного советника! Так и напрашивалась по аналогии песенка: «Он был титулярный советник, она — генеральская дочь...» Но когда отец получил чин директора и генерала, когда он стал сановником, бабушка искренне изменилась к нему и, забывая прошлое, говорила:

— Если Стива будет когда-либо министром, я не удивлюсь — это настоящий человек.

Она подолгу гостила у нас в Петербурге, а когда отец целовал у нее руку, она, целуя его в лоб, ласково произносила:

— Не утомляйте, Стива, себя работой, вы же знаете, как мы вас ценим...

После смерти дедушки бабушка в 1910 году переехала в Москву к старшему сыну — Ивану Константиновичу. Бабушка любила и умела жить на широкую ногу, и пенсии ей не хватало, тем более что она играла на бегах и почти всегда проигрывала. Кроме того, бабушка требовала, чтобы прислуга ее именовала не иначе, как «ваše высокопревосходительство». Она всегда вспоминала своего деда Дениса Давыдова и посещала брата — полковника Дмитрия Давыдова, единственного наследника по мужской линии, хотя род Давыдовых был большой: двоюродные братья, племянники и т. д.

Приезжала к нам гостить и бабушка Анна Нестеровна из Киева. Ее брат Пташевский был знаток по церков-

ному искусствоведению, дружил с В. Васнецовым, М. Врубелем, М. Нестеровым и имел большую, известную на всю Украину, торговлю иконами. Украинская бабушка приезжала к нам гостить из Киева. Помню один из таких приездов.

Утром папа поехал на автомобиле на вокзал. Была осень, петербургская слякотная, октябрь. Мы вышли на мокрый блестящий перрон: поезд опаздывал на пятнадцать минут. К отцу подбежал начальник станционного жандармского отделения и, держа руку у козырька, почтительно спросил:

— Кого изволите встречать, ваше превосходительство?

— Мамашу,— сухо ответил отец, ему не хотелось, чтобы этот франтоватый ротмистр лицезрел простую, немпозантную бабушку.

— Разрешите мне приветствовать вашу уважаемую мамашу,— засуетился ротмистр.

— Прошу не беспокоиться,— сказал отец. Но ротмистр остался.

Когда подошел поезд, ротмистр бросился к вагонам первого класса, ожидая, что мамаша его превосходительства — дама важная и занимает отдельное купе.

А бабушка — худенькая, маленькая, в салопе и платке (она шляп не носила) — вышла из вагона второго класса, сзади шел носильщик с мешками, кулечками и чемоданом. Папа и я расцеловались с нею, а бабушка, волнуясь, кричала носильщику:

— Осторожно, хлопец, не раскокай цей пакет, в нем варенье!..

Носильщик продолжал выносить за ней баулы, непохожие на чемоданы генеральши.

Ротмистр тоже подошел к бабушке, представился и вежливо поцеловал ее сморщенную рабочую руку.

В автомобиле отец ласково обнимая бабушку, попенял ей:

— Что же вы, мамаша, не в первом классе?

— Да я ж, Степанчик, и во втором измучилась,— простодушно отвечала бабушка, привыкшая ездить в третьем классе.

Сидеть без дела бабушка не могла. Она помогала Каролине, пекла чудесные украинские пышки с маком,

разливала по вечерам чай, а утром, провожая детей в гимназию, снабжала их запасом маковников и сушеных слив.

Более двух месяцев она не гостила, скучая по Киеву и стесняясь непривычной обстановки петербургской квартиры. Анна Несторовна, несмотря на выговоры отца, курила и не папиросы, а крученики, употребляя табак второго сорта, от дорогих отцовских папироc у нее першило в горле. И еще, к ужасу бабушки-генеральши, она любила чеснок, натирала им корочки хлеба.

— Мамаша,— просил отец,— вы уж как-нибудь избегайте чеснока, как-то неудобно... Вот вчера у нас был Иван Лонгинович (премьер-министр Горемыкин) и спрашивает: «Где это у вас чесноком пахнет, от колбасы, что ли?»

Бабушка смеялась:

— А ты бы ему, Степанчик, сказал, что это моя старушка кушает, от чесноку — разумные люди заверяют — лучше кровь ходит, и зрение яснее.

Мама очень любила бабушку, и эти два месяца, что она жила у нас, считала каникулами, передоверяя ей все хозяйство.

Бабушка была религиозна и ночами долго простоявала на коленях перед киотом, шепча бесконечные слова молитв. Мама же посещала свою общину, где она служила сестрою милосердия бесплатно.

У бабушки была тяжелая жизнь, полная забот и тревог. Она пережила смерть обоих сыновей: папы и младшего сына — врача Саши, убитого петлюровцами. Скончалась она в 1924 году.

Очень большое и трудное дело лежало на плечах отца. Он положил начало распространению в России служебных собак, им был организован большой питомник, открыты курсы полицейских инструкторов. От эпизодического начала собаководство в России приняло организованный характер. Отец иногда приезжал в питомник и принимал участие в учении собак. Я до сих пор помню таких замечательных псов, как Трека и Рольфа. Особенно Трека. Была издана большая иллюстрированная книга. На торжественном открытии питомника присутствовали

князья из дома Романовых, например, Константин Константинович-младший и сердитый старый генерал с палкой — принц Петр Григорьевич Ольденбургский.

Отцу пожаловали орден. Вообще, к знакам отличия у отца было пристрастие. Когда Россию посещал тот или иной король или президент, то, уезжая благополучно из столицы, он награждал директора департамента полиции орденом за охрану своей особы. Так, у отца были: большой командорский крест французского Почетного легиона, персидская звезда Льва и Солнца с бриллиантами, австрийский крест Марии, бухарская золотая звезда, баварский, черногорский, сербский ордена и т. д. Кроме того, он был кавалером всех русских орденов до Анны первой степени включительно.

Когда у отца выявились несогласия с министром и он стал сенатором, мама обрадовалась — это было почетно и много трудов не отнимало: лишь два раза в неделю он присутствовал на заседании Сената, раз в месяц ездил в сенаторские ревизии. По годам он был самым молодым сенатором: ему только что исполнилось сорок лет. Мама стала веселой, оживленной: наконец-то, сможет зажить спокойно семейной жизнью, отдохнуть, из квартиры исчезнут жандармские мундиры.

Отец взял отпуск и уехал с мамой в Крым, в Ялту; мама утверждала потом, что это было самое счастливое время ее жизни. Но, возвратившись в Петербург, отец стал скучать, ему не хватало работы. Он как-то сказал маме:

— Я еще далеко не старик и не могу примириться с тем, что моя жизнь пройдет между сенаторским кабинетом и домашним халатом.

Но пришла русско-германская война, и отца снова позвали на более видную роль: он стал товарищем министра внутренних дел при А. Н. Хвостове и получил в свое управление корпус жандармов и департамент полиции. На назначении отца настаивали царица и близкие к ней лица. Ему поручили также организовать охрану старца Григория Ефимовича Распутина, приобретшего тогда при дворе значительное влияние. До этого отец личного знакомства со старцем не имел, мама запрещала. Между прочим, великий князь Николай Николаевич, верховный главнокомандующий, просил отца давать ему

филерские дневники о Распутине для ознакомления, так как он полностью разочаровался в личности старца. По словам филеров, Распутин брал даже уроки у медиумов, чтобы лечить внушением наследника-царевича, в котором родители не чаяли души. Пользуясь своим влиянием, Распутин активно вмешивался в формирование кабинета министров и других высших органов власти, и без того переживавших слишком частые замены. Недаром даже такой деятель, как Пуришкевич, ядовито назвал частую смену министров «кувырколлегией» и писал:

Грядущий день наш сер и мутен,
Когда конца распутью нет,
Вот почему один Распутин
Весь заменяет кабинет.

В 1915—1916 годах влияние отца на дела управления Министерства внутренних дел распространилось также и на другие департаменты. Многие сановники и министры посещали квартиру отца. Решающее значение имело и то, что на сенатора Белецкого влияло и личное знакомство с императрицей и с великим князем Николаем Николаевичем, с царем, премьер-министром и членами правительствающего Сената.

Хвостов стал избегать отца и действовать против него. Вместо дружеского собеседования по вечерам — то на квартире Хвостова, то у отца — начались взаимные подсиживания. В итоге царь издает высочайший указ о назначении товарища министра-сенатора С. П. Белецкого иркутским генерал-губернатором с оставлением в звании сенатора. Хвостов же вообще увольняется и снова становится членом Государственной Думы...

Дома скучно. Приходят пакеты из канцелярии генерал-губернатора Иркутска его высокопревосходительству сенатору Белецкому. Какой-то золотопромышленник присыпает новому хозяину края прекрасный письменный прибор из серебра: тяжелые фигуры сибирских казаков, сделанные по особому заказу. Я не понимаю, почему отец недоволен, чем плох Иркутск — большой красивый город, столица Восточной Сибири. Генерал-губернатору полагается жить в обширном дворце. Генерал-губернатор — фактически хозяин колossalного края: ему подчинены восемь губерний. Так чем же недоволен отец? Оклад ему царь

отпустил 58 тысяч рублей в год, это больше, чем у министров. К отцу на примерку приходит портной, шьется экстренно генерал-губернаторское обмундирование.

Отец недоволен, он «будирует». Император не любит, когда его сановники начинают выходить из строя оркестра. И снова высочайший указ: «Сенатора тайного советника С. П. Белецкого уволить с занимаемой должности генерал-губернатора с оставлением сенатором Второго департамента правительствуемого Сената». Хвостова же отсылают на его родину. На другой же день после отставки Хвостова ему на квартиру из модной кондитерской Балле был прислан отцом большой торт с нравоучительной шоколадной надписью: «Не рой другому яму».

В это время я «издаю» собственную газету. Рукописная газета подростка, в которую редактор выкладывал все, что знал, поэтому все приходившие на квартиру гости и чиновники вежливо у меня спрашивали: не вышел ли очередной номер газетки? Я сдуру сообщал информации, например: «Сенатор Белецкий посетил на квартире преосвященного митрополита Питирима, у которого пробыл два часа». Или: «Сенатор Белецкий устроил завтрак, на котором присутствовали министр просвещения, обер-прокурор Синода и генерал Батюшков»; «По поручению его высочества Николая Николаевича сенатору была передана шифрованная записка»... Такие сенсационные сообщения «действительного собственного корреспондента» побудили сенатора вызвать редактора, и после длительного внушения и наказания тираж газеты был сожжен в камине, а подобные начинания навсегда впредь запрещены.

В 1917—1918 годах в больничных палатах тюрьмы «Кресты» содержались сановники старого режима, министры Временного правительства, великие князья, крупные монархисты, в том числе — отец. Среди них особенно интересными по своим действиям и поведению были В. М. Пуришкевич, бывший депутат Государственной Думы, и разоблачитель царских провокаторов известный В. Л. Бурцев. На личности Пуришкевича и на его остроумных стихотворениях я остановлюсь более подробно. Когда-то ярый монархист, он в последние годы царизма,

особенно при Распутине, стал леветь. Не желая, как он говорил, есть даром хлеб, он колол дрова, носил их в больницу, где топил печи. Всем известна та роль, которую сыграл Пуришкевич в смерти Распутина. Ни великий князь Дмитрий Павлович, ни молодой Юсупов не могли застрелить Распутина, это сделал во дворце Юсуповых Пуришкевич. Выстрелы во дворце Юсуповых услышал дежурный полицейский надзиратель и стал звонить в парадные двери дворца. Ему открыл Пуришкевич в расстегнутой тужурке действительного статского советника.

— Разрешите узнать, ваше превосходительство, что происходит во дворце князя?

Пуришкевич усмехнулся:

— Ничего особенного, бешеную собаку пристрелили, вот и все.

При Временном правительстве, когда большинство монархических деятелей считали возможным печально ругать Николая Второго и его жену, Пуришкевич на предложение петроградской газеты высказаться по этому поводу заявил, что он «никогда не принадлежал к породе ослоухих и от интервью решительно отказывается».

«Кувырколлегия» министров тоже высмеивалась Пуришкевичем. О восьмидесятилетнем премьер-министре Горемыкине Пуришкевич обмолвился: «Горе-мыкарь Горемыкин, мыкнул горя и исчез». Министра земледелия Глинку сменил столь же бездарный Наумов.

Нам всем, конечно, не новинка,
Что в глине колос не растет,
Но там, где не поможет Глинка,
На ум Наумов наведет.

Финансы падали, серебро исчезало. Вместо него появились бумажные почтовые марки и новый министр финансов Барк.

Что ж, и помиришься на марке,
Коли монет достать нельзя;
Так можно ехать и на барке
За неименьем корабля.

Стихи о Керенском и Зимнем дворце написаны также не без участия Пуришкевича:

Зеркала в тиши печальной
Зимнего дворца
Отражают вид нахальный
Бритого лица.
В каждом зале без различья,
В каждом уголке
На свое глядит величье
Некто в пиджаке.
И, предавшись ослеплению,
Мнит «герой» страны,
Что затмит былые тени,
Тени старины.

Стихи заканчивались предсказанием недолговечности правления Керенского:

И когда ты в жалкой спешке
Выдешь на крыльце,
Искажится без насмешки
Бритое лицо.

Отец особенно был дружен с В. Л. Бурцевым, про-
делавшим сложную эволюцию от революционера, разобла-
чителя провокаторов до монархиста. В тюрьме койки
отца и Бурцева находились рядом, а тем для разговоров
у них хватало, так как оба они были своеобразными
специалистами. Бурцева В. М. Пуришкевич приветство-
вал такими строками:

При царизме — поселенье,
При республике — тюрьма:
Бурцев понял изречение,
Что все — «горе от ума».

Пуришкевич и Бурцев были отпущены на свободу. Бурцев уехал в Париж, где стал издавать газету «Общее дело», а богатый Пуришкевич, отдавший все деньги на Красный Крест,— на юг России, где в 1919 году умер от сыпного тифа.

В сентябре 1918 года мама взяла отпуск и уехала в Москву к Н. В. Крыленко, у которого были дела бывших министров и среди них дело папы.

Ознакомившись со служебными бумагами и отчетами, Николай Васильевич посчитал: поскольку никаких денежных растрат и взяток не было, очевидно, Белецкий будет в скором времени выпущен на свободу. Бабушка

Алла Нестеровна в это время находилась в Петербурге и волновалась за сына. Так как до этого уже несколько человек были выпущены из тюрьмы, то мама надеялась на скорое папино освобождение.

Сентябрь в 18-м году был теплый, нередко появлялось солнце, и солнечные морщинки светились на бронзовом лице И. А. Крылова в Летнем саду. Возвращаясь с вечерних занятий в школе, я был остановлен бойким выкриком мальчика-газетчика: «Последние новости! Красный террор! Чрезвычайная комиссия в ответ на ранение Ленина и убийство Урицкого расстреляла царских сановников и великих князей».

Я купил газеты и при свете фонаря прочел фамилии некоторых великих князей и сановников, среди которых была фамилия отца. Меня поразила в самое сердце газетная фраза: «Сенатор Белецкий стихийно хотел бежать, но увидев тройную цепь охраны, покорно и понуро опустил голову».

У меня все поплыло в тумане. Закачались клодтовские кони на Невском, и я в изнеможении прислонился к парапету.

3.VII.83





С. П. Белецкий

ВОСПОМИНАНИЯ О РАСПУТИНЕ, НАПИСАННЫЕ В «КРЕСТАХ»

(страницы из забвения)

От составителя. Любая идеологическая система небезразлична к прошлому и в своих интересах всегда переписывает былое заново. И пусть говорят сколько угодно о ценностях «общечеловеческих» — в представлениях о прошлом они не срабатывают. Стоит ли удивляться, что и оценки исторических деятелей прошлого меняются в силу общественных перемен.

Воспоминания С. П. Белецкого «Григорий Распутин», написанные им в ходе следствия в «Крестах», в свое время послужили очень важным источником для жизнеописаний и характеристик «святого старца». Меньше всего в этой публикации занимает нас Григорий Распутин. Как раскрывается сам автор, крупный деятель рухнувшей империи, в его оценках различных людей, в его оценках действительности, ставшей для нас историей.

На политическую арену С. П. Белецкий вышел вслед за П. А. Столыпиным как его сподвижник. Одно это должно предполагать немалые противоречия в суждениях о Белецком. «Столыпинские вагоны» (для переселенцев) да «столыпинский галстук» (виселица) — до недавнего времени других деталей характеристики Петра Аркадьевича и не применяли. Два-три года круто изменили тенденцию оценок: вот уже и основательный том речей П. А. Столыпина опубликован, и множество капитальных статей о нем как о реальном политике.

Неизбежен отсюда пересмотр репутаций и сподвижников Столыпина, в том числе и Степана Петровича Белецкого. Мы уже имели возможность взглянуть на него глазами его

сына, узнать родословную и семейный круг. Наверное, удивит, что в молодости он не только редактировал губернскую газету, но и составил фольклорный сборник,— нашим бы генералам КГБ да МВД вот так бы!..

Теперь в суховатых строчках своих воспоминаний С. П. Белецкий открывается нам как государственный деятель, именно деятель при всем своем честолюбии, а не примитивный карьерист. Он знает дело, глубоко понимает людей, и проницательность его неординарна. Широк круг его деловых знакомств и едва ли не феноменальна память: ведь все им написанное — именно воспоминания, документами в это время он уже не располагал.

Убежденный сторонник монархии, он видел ее слабости в ту эпоху, но оставался верным ей, как был верен Отечеству. Впрочем, читатели его представления и убеждения имеют возможность оценить сами. Мы предлагаем первые главы из книги С. П. Белецкого «Григорий Распутин» по тексту альманаха «Былое» (1922, № 20) с некоторыми сокращениями, касающимися второстепенных чиновников. Полностью и отдельно работа публиковалась в издательстве «Былое» (Пб., 1923).

ГЛАВА I

Назначение А. Н. Хвостова министром внутренних дел.— Григорий Распутин.— Его отношение к министрам.— Выступления в Гос. Думе А. И. Гучкова против Распутина.— План охраны Распутина.— Распутин и В. Н. Коковцев.— Телеграмма Думбадзе о разрешении покончить с Распутиным.— Сводка филерских наблюдений над Распутиным.— Доклад ген. Джунковского Николаю II о Распутине.

О назначении А. Н. Хвостова на должность управляющего Министерством внутренних дел я знал недели за две до официального приказа, и в этот период времени я с Хвостовым виделся почти ежедневно, так как он пригласил меня с первой же встречи, в случае, если

назначение состоится, к сотрудничеству с ним в должности товарища министра вн. дел.

В течение двухнедельного промежутка времени нами были обсуждены как первые шаги А. Н. Хвостова при вступлении в должность, так и намечена была, в соответствии с переживаемым тогда моментом, программа его деятельности по вопросам внутренней политики. Тот чисто дружеский тон отношений, который сразу А. Н. Хвостов усвоил со мною, меня подкупил, и поэтому я согласился принять на себя некоторые обязанности, которые я, если бы хорошо знал его ранее, как узнал впоследствии, ни за что не принял.

С намеченной нами программой и со знанием, ему подсказанным, некоторых сторон характера государя А. Н. Хвостов представился его величеству и получил вместе с портфелем министерства и утверждение его программы, от которой, правда, он впоследствии отказался, частью — по не зависящим от него обстоятельствам, а частью — в силу отличительных свойств своего характера. Первые дни и первые месяцы я был с ним неразлучен, пока не состоялись некоторые, на мой взгляд, неудачные назначения по министерству и не последовало моего разочарования в самом министре. Поэтому мне пришлось в первое время принимать иногда даже и широкое участие в работах общего характера, не относящихся к сфере деятельности порученных моему наблюдению департамента полиции и штаба корпуса жандармов, и в силу некоторых соображений, о коих я скажу впоследствии, принимать также просителей, имевших ту или иную просьбу к министру, а также и участвовать вместо него зачастую в заседаниях Совета министров.

Единственно, что с начала до конца нашей совместной службы взял на себя А. Н. Хвостов, это — сношение с Гос. Думой и выступления в бюджетной комиссии, а также, по моей просьбе, переговоры и руководительство правыми организациями и сношения с Марковым и Г. Замысловским по вопросам общепартийного направления. Таков порядок был и при А. А. Макарове, и Н. А. Маклакове в бытность их на посту министра вн. дел. Я только выдавал, если то требовалось министрами, соответствующие суммы, поддерживая хорошие отношения

с правыми деятелями. Затем А. Н. Хвостов (по назначении г. Гурлянда директором-распорядителем осведомительного бюро) взял на себя также и наблюдение за прессою.

Время, в которое мне пришлось состоять в должности товарища министра, было переходное. Война затянулась, надежды на скорое и победоносное окончание ее несколько затуманились, патриотический порыв постыл, частые наборы влекли за собою некоторое раздражение в народных кругах; расстройство транспорта и падение рубля отразились, в связи с причинами политico-экономического свойства, на недостатке в крупных центрах предметов первой необходимости; кое-где начались бабьи голодные бунты, пораженческое движение в рабочей среде увеличилось, недовольство мероприятиями правительства усилило оппозиционное настроение больших общественных кругов, антидинастическое движение начало просачиваться в народные массы даже в таких местах, где и нельзя было ранее предполагать, как, напр., в области Войска Донского и пр.

Ввиду этого программа А. Н. Хвостова сводилась к стремлению усилить, с одной стороны, наблюдение за революционными организациями, не внося излишнего раздражения постоянными и массовыми арестами, зорко и неустанно следить за общественным движением, стараясь, по возможности, излишним стеснением свободы их деятельности не раздражать общественных кругов, наладить, по возможности, отношения с прессою, а с другой — усилить и широко распространять в массах патриотические издания, обрисовывающие царственные труды на войне государя и наследника и августейшие заботы государыни Александры Федоровны как по уходу за ранеными, так, главным образом, по Верховному совету в сфере обеспечения участи и дальнейшей судьбы жертв долга и их семей, а также по созданному ею по докладу А. Н. Хвостова комитету по заботам о наших военно-пленных за границею (где товарищем был кн. Голицын, впоследствии председатель совета); распространять среди рабочих издания о роли рабочей массы по снабжению боевыми припасами нашей армии, внести порядок в вопросе о заботах о беженцах, стремиться помочь беднейшему

населению в получении в крупных центрах (главным образом — в столицах) предметов первой необходимости, усилить надзор за немецким засилием и переходом немецкой земли в руки русских подданных (отражение речи А. Н. Хвостова в Госуд. Думе по этому вопросу), не стеснять излишними формальностями получение учащейся молодежью свидетельств о благонадежности и т. п.

Во время моего нахождения на посту товарища министра мне пришлось очень близко войти в соприкоснение и особо считаться с влиянием покойного старца кр. с. Покровского Тюменского у. Тобольской губ. Распутина, переменившего впоследствии свою фамилию, с соответствующего разрешения на «Новых». Так как я свои сношения с ним и с его большой почитательницей А. А. Вырубовой продолжал до смерти Распутина, а с А. А. Вырубовой не прерывал знакомства до последних дней (до заболевания ее корью), то я свою исповедь разобью на три периода и начну со времени моего директорства.

До назначения моего директором, когда я был вице-директором при П. А. Столыпине, мне не пришлось ни в служебной, ни в частной моей жизни сталкиваться с Распутиным, но в этот период его имя начало просачиваться в средние круги петроградского общества, так как он был принят во дворце великого князя Николая Николаевича его супругою и им самим, бывал в великосветских гостиных, был близок к семье гр. С. Ю. Витте, которого он до конца своей жизни вспоминал с особой теплотой и которого он при жизни графа, как он мне сам говорил, неоднократно хвалил в высоких сферах, мечтал об обратном его возвращении к власти и познакомил уже с А. А. Вырубовой.

Наблюдение за Распутиным в это время, т. е. при П. А. Столыпине, вел П. Г. Курлов, товарищ министра внутренних дел. В чем оно выразилось — следов в департаменте полиции не осталось, но, со слов Распутина, я знаю, что последний с того времени знаком с П. Г. Курловым. При А. А. Макарове¹, когда я вступил в должность директора, и до моего оставления этой должности,

¹ Министр внутренних дел после смерти П. А. Столыпина.

я лично также с ним знаком не был. И А. А. Макаров, и Золотарев¹ избегали возможности с ним познакомиться и не желали этого и впоследствии... Н. А. Маклаков был в хороших отношениях с Распутиным; не знаю, как он познакомился, но думаю, что через покойного кн. Мещерского², знавшего Распутина и относившегося к нему с почтением еще тогда, когда он не был вхож во дворец.

Выступление А. И. Гучкова с кафедры Государственной Думы по поводу влияния Распутина повлекло за собою: 1) принятие мер к охране его личности в силу полученных указаний свыше министром А. А. Макаровым, 2) воспрещение помещения в прессе статей о нем и 3) наблюдение за Гучковым, которое потом мною... было снято. Вместе с тем А. А. Макаровым было предложено мне и несение охраны жизни Распутина. В силу этого мною с полковником Коттеном³ был выработан план охраны, сводившийся к командированию развитых и конспиративных фильтров, коим было поручено, кроме охраны Распутина, тщательно наблюдать за его жизнью и вести подробный фильтровский дневник, который к моменту оставления мною должности представлял собой в сделанной сводке с выяснением лиц, входивших в соприкосновение с Распутиным, весьма интересный материал к обрисовке его (немного одностронне) не личности, а жизни. Затем в село Покровское был командирован фильтр на постоянное жительство, но не для охраны, так как таковая из постоянных при Распутине фильтров, в несколько уменьшенном только составе, его сопровождала и не оставляла его и при поездках, а для «освещения», ибо на месте, как выяснилось, агентуры завести нельзя было.

Такая система двойственного наблюдения продолжалась до моего ухода.

Сведения о Распутине докладывались Коттеном министрам, товарищам и мне, а то, что поступало в письменной форме, я держал у себя в служебном кабинете, не

¹ Товарищ министра внутренних дел, б. прокурор палаты, сменивший П. Г. Курлова.

² Редактор-издатель «Гражданина».

³ Начальник Петербургского охранного отделения.

сдавая в департамент, и при уходе в форме дела оставил в несгораемом шкафу, внеся его в опись, представленную мною Н. А. Маклакову, но на другой день по требованию Маклакова в числе нескольких других дел, его заинтересовавших, сдал ему и это дело.

Председатель Совета министров В. Н. Коковцев очень интересовался личностью Распутина, и я ему о нем докладывал неоднократно, так как он хотел положить конец его влиянию путем доклада о нем государю, о чем я слышал не только от самого В. Н. Коковцева, но и потом от А. А. Макарова, но не знаю, докладывал ли он. Впоследствии от Распутина я слышал, что он незадолго до ухода Коковцева с своего поста виделся с В. Н. Коковцевым и убеждал его уничтожить винную монополию, о чем Распутин неоднократно, по его словам, говорил государю, и давал понять В. Н. Коковцеву, что это будет стоить ему его поста. Насколько это правильно, я не знаю, так как против В. Н. Коковцева были в ту пору настроены некоторые из влиятельных членов кабинета (Н. А. Маклаков, И. Г. Щегловитов¹ и В. А. Сухомлинов²), а также и кн. Мещерский. По уходе своем В. Н. Коковцев виделся с Распутиным на квартире кн. Андронникова³, но особого примирения, по словам князя, между ними не произошло.

В последние месяцы моего директорства при Н. А. Маклакове, когда августейшая семья находилась в Ливадии и Распутин был вызван в Ялту, от ялтинского градоначальника, покойного генерала Думбадзе, следовавшего особым распоряжениям государя, мною была получена шифрованная телеграмма с надписью «лично» приблизительно следующего содержания: «Разрешите мне избавиться от Распутина во время его перееха на катере из Севастополя в Ялту». Расшифровал эту телеграмму работавший в секретарской части департамента А. Н. Митрофанов. Посыпая мне на квартиру дешифровку, он предупредил меня по тел-

¹ Министр юстиции.

² Военный министр.

³ Придворный «литератор», автор монархических брошюр, листовок и воззваний.

фону, что телеграмма интересная. Я, подписав препроводительный бланк, послал ее срочно с надписью: «В собственные руки Н. А. Маклакову» и затем по особому для разговоров только с министром телефону спросил его, не последует ли каких-либо его распоряжений, но он мне ответил, что «нет, я сам». Какие были посланы указания Думбадзе и были ли посланы, я не знаю, но приезд в сопровождении фильтров состоялся без всяких осложнений. Этой телеграммы в деле нет, так как Н. А. Маклаков мне ее не возвратил, а Митрофанов по расшифровке и скрепе порвал подлинник, так это делалось в департаменте с шифрованными телеграммами.

Сводка фильтровых наблюдений над жизнью Распутина в общих чертах рисовала отрицательные стороны его характера, сводившиеся к начавшейся уже тогда его наклонности к пьянству и его эротическим похождениям. В бытность мою сенатором ко мне в конце 1914 года обратился через посредство своего управляющего хозяйственной частью дворца полковника Балинского великий князь Николай Николаевич, жена которого и он сам перестали уже принимать Распутина, с просьбой, не могу ли я дать сведения о порочных наклонностях Распутина, так как, по словам полковника Балинского, великий князь решил определенно поговорить с государем об удалении Распутина из Петрограда. Сведения эти я дал, черпая материал из имевшейся у меня лично на руках сводки. Впоследствии уже я узнал, что великий князь свое желание осуществил, и Распутин до конца своей жизни, что я сам слышал, не мог этого простить великому князю, причем перед уходом великого князя на Кавказ (с чьих-то слов — не знаю) он утверждал, что великий князь мечтает о короне.

Затем — как я проверил впоследствии у самого Распутина — генерал Джунковский незадолго до своего ухода, пользуясь исходатайствованным для него еще Н. А. Маклаковым правом непосредственных докладов по штабу и к высочайшим проездам государя, воспользовавшись также полученными им из Москвы сведениями о недостойном в опьянении поведении Распутина в ложе ресторана «Яр», докладывал их государю в связи с общей его характеристикой. Доклад этот, как мне говорил сам Распутин,

вызвал сильный на него гнев государя, таким Распутин никогда до этого даже и не видел государя. Но, по словам Распутина, он в свое оправдание говорил, что он, как и все люди, грешен, не святой. По словам Распутина, государь после этого долго его не пускал к себе на глаза, и поэтому Распутин не мог слышать или говорить спокойно о генерале Джунковском до конца своей жизни.

Правда, потом генерал Адрианов, после немецкого погрома в Москве ушедший из должности градоначальника, находясь под сенаторским расследованием, после свидания с Распутиным в Петрограде — лично и затем в письменном изложении передал через меня А. А. Вырубовой заявление, что никакой, по лично им произведеному расследованию, неблагопристойности Распутин не производил у «Яра».

ГЛАВА II

Князь Андронников.— Его «записки» в высшем свете.— Планы кн. Андронникова.— Епископ Варнава.— Личное знакомство С. П. Белецкого с Распутиным и А. А. Вырубовой.— Кандидатура А. Н. Хвостова на пост министра внутренних дел.

В промежуток этого времени я не прерывал своих отношений с кн. Андронниковым, хорошо установившихся со времен министерства А. А. Макарова, когда я впервые с ним познакомился. Я часто бывал у него, он также вечером заезжал ко мне, и от него я слышал всегда много интересных новостей из придворных и министерских сфер, так как он имел широкий круг влиятельных знакомцев и бывал у гр. Фредерикса, Войкова, у большинства министров, у председателя совета Горемыкина, имел знакомых при великолкняжеских дворах, знал много директоров департаментов почти всех министерств и других чинов из министерств, которые считались с его влиянием у министров, боялись вооружать его чем-либо, поддерживали с ним лучшие отношения и старались исполнить его просьбы, предпочитая его иметь лучше своим хорошим знакомым, чем сильным и опасным врагом. Я, в сущности говоря, в ту пору на него смотрел как на человека,

который поразительно мог проникнуть к каждому министру. Это у него идет красною нитью во всей его жизни. Он даже надевал красную рубаху и пахал пред государем. Он много ездил и всегда с портфелем. Плеве интересовался этим портфелем и наблюдал за ним. В конце концов этот портфель схватили, но там ничего не оказалось, кроме газет. Он всегда старался делать вид человека делового. Его в «Новом Времени» и в «Вечернем Времени» описывали в замаскированном виде, как тип... Андронников старался проникнуть в торгово-промышленные сферы... Я могу сказать, что не было в истории прошлого периода таких моментов, чтобы Андронников не проводил кого-нибудь в министры под тем или другим предлогом... Средства и имений он не имел, потому что был из обедневшей семьи, а трен его жизни был очень широк. Временами у него были большие деньги, временами был без денег, и его поддерживали знакомые...

Его записки были интересны. Он их представлял Марии Федоровне, государю и государыне... Во всех министерских назначениях он безусловно имел громадное значение... Он бывал у управляющего двором Марии Федоровны Шервашидзе... Он в этот период был занят доведенной им затем до конца крупной финансовой операцией по покупке, при содействии военного министра Сухомлинова, на акционерных началах в Бухаре и Хиве больших земельных площадей, прилегающих к речным артериям. Ко мне он был искренне в ту пору расположен, так как во времена моего директорства у него никаких дел в департаменте полиции не было, и он только пользовался бесплатными проездными билетами на предъявителя.

В конце апреля 1915 г. скончался у меня старший сын. Смерть его сильно нас поразила. По возвращении в Петроград, осенью, кн. Андронников, узнав о моем приезде, первый позвонил ко мне, прося зайти. Когда я пришел к нему, то от него я узнал, что за время моего отсутствия он близко сошелся с Распутиным, проник через него в особое доверие к А. А. Вырубовой, вошел в более лучшие отношения со статс-дамой Нарышкиной и что предстоят большие перемены в составе кабинета, которые могут повлечь за собой обратное мое возвращение к активной работе, и что почва достаточным образом

подготовлена, так как им сделано многое в мою пользу, с условием в будущем действовать с ним солидарно. Когда же я ему сказал, что Распутин, который был в это время на родине у себя, может потом пойти против меня под влиянием недоверия ко мне за прошлое и потому что при оставлении должности моей, когда мне передавали о его желании со мной познакомиться, я тогда по просьбе жены от этого отказался,— то Андронников меня успокоил тем, что все уже предусмотрено, и я охотно согласился.

Здесь же я познакомился с Тобольским епископом Варнавой, который был у князя во время своей борьбы с Самариным¹ по поводу канонизации мощей св. Иоанна Тобольского; сойдясь с ним близко, князь помог ему, пользуясь своим знакомством с сотрудниками газет, в печатании статей, освещавших это дело. Узнав затем поближе владыку и поняв многие стороны его души и характера, я искренно относился к нему и все время поддерживал с ним сердечные связи. Мне впоследствии приходилось видеть лиц, предубежденных против него за его связь с Распутиным, которые, познакомившись ближе с ним, резко переменили свое к нему отношение. Я не хочу этим сказать, что он не имел своих недостатков, но они поглощались очень многими хорошими его качествами. Выйдя из простой среды, не получив даже и среднего образования, он обладал от природы пытливым умом, наблюдательностью; хорошо ознакомившись, подобно старообрядческому начетнику, со Священным писанием и догмой, он не потерял связи с народом, знал, что нужно его пастве и его жизни. Образные собеседования его с народом влекли к нему сердца. Его незлобие и отношение к иноверцам создали ему на месте его служения глубокое к нему почитание со стороны последних. Его народный говор, уснащенный народными поговорками и умело примененными текстами Св. писания и примерами из жизни святых, давал особый интерес в собеседовании с ним.

Этим объясняется его умиротворяющее влияние в высоких сферах, где он тонко, дипломатично парализовал, не задевая Распутина, влияние последнего, что чувствовал

¹ Обер-прокурор Святейшего Синода.

Распутин. Вследствие этого при мне уже можно было наблюдать, что приезды еп. Варнавы нервировали Распутина; он подозрительно относился к нему, старался причинить ему затруднения в приемах в высоких сферах и всячески противодействовать сильному стремлению еп. Варнавы уйти из Тобольской епархии на Север. Но не могу умолчать, что, сделавши ту или другую владыке неприятность, Распутин через некоторое время старался чем-либо исправить ее. Так, например, даваемое обычно архиепископство при открытии мощей в епархии было заменено очередной звездой, но через промежуток времени, по настойчивым просьбам Распутина, владыке без его о том напоминания было пожаловано архиепископство.

К этому времени я уже познакомился с Распутиным, секретно от жены в конце 1914 г. в квартире кн. Андронникова и несколько раз с ним там виделся. Был два раза у него на квартире по Гороховой ул. По воскресеньям туда, после обедни, приезжала А. А. Вырубова пить чай в небольшом кружке избранных Распутиным лиц, и здесь я познакомился с А. А. Вырубовой. Распутин тоже был у меня один раз, когда я, воспользовавшись отъездом жены из Петрограда в Москву к матери и тем, что дети были в церкви на вечерней службе, пригласил его к себе на чай; но тем не менее отношения эти не были в ту пору тесными, так как и он, и я, и А. А. Вырубова друг к другу приглядывались. Мне было неловко чувствовать, что они понимают цель моего сближения, так как им тоже в это время было известно, что я до того не был сторонником Распутина... Единственно, что их примиряло со мною, это то, что в мое время жизнь Распутина была в безопасности, так как покушение на него, устроенное по инициативе Илиодора, случилось уже после моего ухода, при генерале Джунковском.

Когда Андронников мне передал о предстоящих переменах, то под строгим секретом он мне сообщил, что им еще задолго до этого, с лета, уже выставлена кандидатура А. Н. Хвостова, которого он сблизил и с дворцовым комендантом Дедюлиным, и с А. А. Вырубовой; что А. Н. Хвостов уже был вызываем во дворец государыней, произвел самое лучшее на нее впечатление, и

что теперь подготавляется благоприятная для него почва к приему у государя, что по всему успех назначения обеспечен... Действительно, скоро последовал вызов Хвостова к государю, особо милостивый прием с воспоминанием о его прошлой службе, сообщение о том, что его назначение состоится на днях, и согласие на проведение преднамеченной А. Н. Хвостовым программы в исполнение.

Как только назначение А. Н. Хвостова состоялось, на первом докладе его как министра было им испрошено согласие у государя на мое назначение, и до опубликования указа я официально не вступал в должность, но фактически уже приступил к ознакомлению с делами, так как безотлучное мое нахождение при А. Н. Хвостове, который мало знал состав министерства и обстановку министерского обихода, само собой ясно подчеркивало близость моего назначения.

ГЛАВА III

Общая характеристика Распутина.— Его прошлое.— «Гриша-прорицатель».— Богоискательские кружки и дворец вел. кн. Николая Николаевича.— Распутин и Николай II-ой.— Уроки магнетизирования.— «Воскрешение из мертвых» Вырубовой.— Разочарование Вырубовой.— Распутин накануне смерти.— Предчувствия Распутина.— Поклонницы Распутина после его смерти.— Мечты Распутина скрыться от мира.— Распутин и хлыстовщина.— Распутин и православие.— Основные черты его характера.— Судьба распутинцев.

Я лично близко подошел к Распутину уже тогда, когда его положение во дворце и сила его влияния на августейших особ настолько упрочились, что он считал себя как бы неотъемлемо связанным с высочайшею семьею узами средостояния не только в личной жизни их величеств, но и в сфере государственного правления. При этом надо иметь в виду и то обстоятельство, что если Распутин в редких случаях когда-либо и касался этого вопроса, то он всегда высказывался по этому поводу в самых

неопределенных формах; что же касается А. А. Вырубовой, то она никогда в разговорах со мною или в моем присутствии не приподнимала завесы над этой тайною. Но, наблюдая за Распутиным с 1912 г. с некоторыми перерывами, я лично пришел к следующим о нем выводам.

Распутин обладал недюжинным природным умом практически смотрящего на жизнь сибирского крестьянина, который помог ему наметить свой жизненный идеал, как только он начал ясно отдавать себе отчет в необходимости улучшить свои жизненные условия. В обстановке обихода своей крестьянской семьи Распутин этой возможности не видел, тем более что тяжелый и упорный труд земледельца его, привыкшего с ранних лет к праздношатанию по монастырям, к себе не привлекал. Поэтому Распутин пошел по пути своих склонностей, которые в нем развились под влиянием общения его во время странствований с миром странников и с монашеской средой. Общение это дало Распутину зачатки грамотности и своеобразное богословское образование, приноровленное к умению применять его к жизненному обиходу, расширило его взгляд на жизнь, развило в нем любознательность и критику, выработало в нем чутье физиономиста, умевшего распознавать слабости и особенности человеческой натуры и играть на них, и само по себе повело его по тому пути, который растворял пред ним страдающую женскую душу. Сильно чувствуя в себе с юных лет человека с большим уклоном к болезненно-порочным наклонностям своей натуры, Распутин ясно отдавал себе отчет в том, что узкая сфера монастырской жизни, в случае поступления его в монастырь, в скорости выбросила бы его из своей среды, и поэтому он решил пойти в сторону, наиболее его лично удовлетворявшую,— в тот мир видимых святош, странников и юродивых, который он изучил с ранних лет в совершенстве.

Очутившись в этой среде в сознательную уже пору своей жизни, Распутин, игнорируя насмешки и осуждения односельчан, явился уже как «Гриша-прорицатель» ярким и страстным представителем этого типа в настоящем народном стиле, будучи разом и невежественным и красноречивым, и лицемером и фанатиком, и святым и грешником, аскетом и бабником, и в каждую минуту актером, воз-

буждал к себе любопытство и в то же время приобретал несомненное влияние и громадный успех, выработавши в себе ту пытливость и тонкую психологию, которая граничит почти с прозорливостью.

Заинтересовав собою некоторых видных иерархов аскетического духовного мировоззрения и заручившись их благорасположением Григорий Распутин, под покровом епископской мантии владыки Феофана, проник в петроградские великосветские духовные кружки, народившиеся в последнее время в пору богоискательства, и здесь сумел быстро приспособиться и ориентироваться в чуждой ему до того новой среде, стремившейся вернуться к старомосковским симпатиям, но слабой духом и идею; оценил всю выгоду своего положения и, применив и к этой среде усвоенный им метод влияния, заставил остановить на себе внимание влиятельных представительниц этих салонов и заинтересовать своею личностью великого князя Николая Николаевича. Дворец вел. кн. Николая Николаевича для Распутина явился милостью, брошенной пророком Илией своему ученику Елисею, привлекшей внимание к нему высочайших особ, чем Распутин и воспользовался, несмотря на наложенный на него в этом отношении запрет со стороны вел. князя, после того, как его высочество, поближе ознакомившись с Распутиным, разгадал в нем дерзкого авантюриста. Войдя в высочайший дворец при поддержке разных лиц, в том числе покойного гр. С. Ю. Витте и кн. Мещерского, возлагавших на него свои надежды с точки зрения своего влияния в высших сферах, Распутин, пользуясь всеобщим бесподобием, основанном на кротости государя, ознакомленный своими милостивцами с особенностями склада мистически настроенной натуры государя, во многом по характеру своему напоминавшего своего предка Александра I, до тонкости изучил все изгибы душевных и волевых наклонностей государя, сумел укрепить веру в свою прозорливость, связав со своим предсказанием рождение наследника и закрепив на почве болезненного недуга его высочества свое влияние на государя путем внушения уверенности, все время поддерживаемой в его величестве болезненно к тому настроенной государыней, в том, что только в нем одном, в Распунине, и сосредоточены

таинственные флюиды, врачающие недуг наследника и сохраняющие жизнь его высочества, и что он как бы послан Прорицанием на благо и счастье августейшей семьи. В конце концов Распутин настолько даже сам в этой мысли укрепился, что он мне несколько раз с убежденностью повторял, что «если меня около них не будет, то и их не будет», и на свои отношения к царской семье он смотрел, как на родственную связь, называя на словах и в письмах своих к высочайшим особам государя «папой», а государыню «мамой».

В обществе моего времени ходило много легенд о демонизме Распутина, причем сам Распутин не старался никогда разубеждать в этом тех, кто ему это передавал или к нему с этим вопросом обращался, в большей части отделяясь многозначительным молчанием. Эти слухи поддерживались отчасти особенностями нервности всей его подвижной жилистой фигуры, аскетической складкою его лица и глубоко впавшими глазами, острыми, пронизывавшими и как бы проникавшими внутрь своего собеседника, заставлявшими многих верить в проходившую через них силу его гипнотического внушения.

Когда я был директором департамента полиции, то в конце 1913 г., наблюдая за перепискою лиц, приближившихся к Распутину, я имел в своих руках несколько писем одного из петроградских магнетизеров к своей даме сердца, жившей в Самаре, которые свидетельствовали о больших надеждах, возлагаемых этим гипнотизером лично для своего материального благополучия на Распутина, бравшего у него уроки гипноза и подававшего, по словам этого лица, большие надежды в силу наличия у Распутина сильной воли и умения ее в себе сконцентрировать. Ввиду этого я, собрав подробные сведения о гипнотизере, принадлежавшем к типу аферистов, спугнул его, и он быстро выехал из Петербурга. Продолжал ли после этого Распутин брать уроки гипноза у кого-либо другого, я не знаю, так как я в скорости оставил службу, и при обратном моем возвращении в Министерство внутренних дел проследка за Распутиным этих данных мне не давала. Но в этот последний мой служебный период при одном из моих разговоров с Распутиным об А. А. Вы-

рубовой, когда я касался железнодорожной катастрофы (между Петроградом и Царским Селом), жертвой которой явилась А. А. Вырубова, Распутин с большими подробностями и с видимой откровенностью рассказал мне, что своим, по выражению Распутина, воскрешением из мертвых А. А. Вырубова обязана исключительно ему.

По словам Распутина, несчастный случай с А. А. Вырубовой произошел в период сильного гнева на него со стороны государя после одного из первых докладов о нем генерала Джунковского, по оставлении мною должности директора департамента полиции, и поэтому сношения Распутина с дворцом были временно прекращены. О несчастном случае с А. А. Вырубовой Распутин узнал только на второй день, когда положение А. А. Вырубовой было признано очень серьезным, и она, находясь все время в забытьи, была уже молитвенно напутствована глухой исповедью и причастием святых тайн. Будучи в бредовом горячечном состоянии, не открывая все время глаз, А. А. Вырубова повторяла лишь одну фразу:

— Отец Григорий, помолись за меня!

Ввиду настроения матери А. А. Вырубовой решено было Распутина к А. А. Вырубовой не приглашать. Узнав о тяжелом положении А. А. Вырубовой, со слов графини Витте, и не имея в ту пору в своем распоряжении казенного автомобиля, Распутин воспользовался любезно предложенным ему графинею Витте ее автомобилем и прибыл в Царское Село в приемный покой лазарета, куда была доставлена А. А. Вырубова женщина-врачом этого лазарета княжною Гедройц, оказавшей на месте катастрофы первую медицинскую помощь пострадавшей.

В это время в палате, где лежала А. А. Вырубова, находились государь с государыней, отец А. А. Вырубовой и княжка Гедройц. Войдя в палату без разрешения и ни с кем не здороваясь, Распутин подошел к А. А. Вырубовой, взял ее руку и, упорно смотря на нее, громко и повелительно сказал ей:

— Аннушка! Проснись, поглянь на меня!..

И, к общему изумлению всех присутствовавших, А. А. Вырубова открыла глаза и, увидев наклоненное над нею лицо Распутина, улыбнулась и сказала:

— Григорий — это ты? Слава Богу!

Тогда Распутин, обернувшись к присутствовавшим, сказал:

— Поправится!

И, шатаясь, вышел в соседнюю комнату, где и упал в обморок. Придя в себя, Распутин почувствовал большую слабость и заметил, что он был в сильном поту.

Этот рассказ я изложил почти текстуально со слов Распутина, как он мне передавал; проверить правдивость его мне не удалось, так как с княжной Гедройц я не был знаком, и мне не представилось ни разу случая с нею встретиться, чтобы расспросить ее о подробностях этой сцены и о том, не совпал ли этот момент посещения Распутиным А. А. Вырубовой с fazою кризиса в болезненном состоянии г-жи Вырубовой, когда голос близкого ей человека, с которым она душевно сроднилась, ускорил конец бредовых ее явлений и вывел ее из ее забытья.

Объясняя себе таким образом всю картину происшедшего исцеления Распутиным А. А. Вырубовой, я ясно представлял себе, какое глубокое и сильное впечатление эта сцена «воскрешения из мертвых» А. А. Вырубовой Распутиным должна была произвести на душевную психику высочайших особ, воочию убедившихся в наличии таинственных сил благодати Провидения, пребывавшей на Распутине, и упрочить значение и влияние Распутина на августейшую семью. После этого случая А. А. Вырубова, как мне закончил свой рассказ Распутин, сделалась ему «дороже всех на свете, даже дороже царей», так как, по словам Распутина, не было той жертвы, которую она не принесла бы по его требованию. Действительно, как я сам замечал в особенности в последнее время, Распутин относился к своей августейшей покровительнице без того должного внимания и почтительности, какие следовало бы в нем предполагать за все милости, ему ее величеством оказываемые, по сравнению с А. А. Вырубовой, в которой он видел безропотное отражение своей воли и своих приказаний.

А. А. Вырубова по натуре своей была очень религиозна, в чем я сам имел возможность несколько раз убеждаться, но в Распутине, несмотря на то, что она не могла не видеть его некоторых порочных наклонностей,

находила твердую опору в своих душевных стремлениях. Когда я был у А. А. Вырубовой утром на другой день после убийства Распутина, до обнаружения его тела, примерзшего ко льду, как мне передавал потом Протопопов, еще живым, но находившимся в беспамятстве, брошенного с моста в полынью, то я видел по лицу А. А. Вырубовой, какая сильная душевная борьба происходила в ней от начавшего заползать в ее душу сомнения в отношении Распутина; этого чувства она не скрыла от меня, сказав, что не может допустить мысли, чтобы Распутин не предчувствовал своей смерти и не сказал бы ей об этом, тем более что в день его убийства она до прихода А. Д. Протопопова была вечером в 8 часов у Распутина, и он ей передал, что после Протопопова к нему должен заехать молодой князь Юсупов, чтобы отвезти его к себе в дом к больной жене для ее «исцеления». А. А. Вырубовой показалось несколько странным такое позднее приглашение князем Юсуповым к себе Распутина, что она ему и высказала, не зная того, что супруги князя в это время в Петрограде не было, и посоветовала Распутину отказаться от этого приглашения, объяснив ему, что если кн. Юсупов и его жена стыдятся открыто принять его у себя днем, то ему не для чего унижать себя перед ними и ехать к ним. Передавая об этом, А. А. Вырубова сообщила мне о своем недоумении по поводу того, что Распутин, дав обещание, не последовал затем ее совету, тем более что она настойчиво указывала ему, что, по ее мнению, в данном случае кроется другая цель, которую преследовал князь Юсупов, приглашая его ночью к себе в гости. Так как из слов Распутина она поняла, что кн. Юсупов особенно настаивал на том, чтобы ко времени его заезда за ним у него никого не было из посторонних, хотя бы и близких к Распутину лиц, кроме его домашних; ввиду этого она, А. А. Вырубова, узнав на другой день об исчезновении Распутина, сразу невольно поставила это обстоятельство в связь с таинственною обстановкою приглашения Распутина кн. Юсуповым к себе и укрепилась в своем подозрении после получения императрицей в тот же день, без всякого запроса со стороны ее величества, письма от кн. Юсупова, в котором он, ввиду распространявшихся в Петрограде слухов о причаст-

ности его к исчезновению Распутина, заверил честным словом государыню, что он накануне у Распутина не был, с ним даже по телефону не разговаривал и к себе Распутина не приглашал, между тем как это находилось в полном противоречии с тем, что она лично слышала от Распутина.

Но потом уже Симанович сообщил А. А. Вырубовой, что Распутин за три дня перед своей смертью был грустно настроен, находился в подавленном состоянии и попросил помочь ему советом в деле устройства им денежного вклада на имя дочерей, для чего они вдвоем секретно ездили в банк, куда Распутин и положил для каждой дочери несколько десятков тысяч, бывших у него в ту пору на руках, а затем по приезде домой Распутин велел затопить печь и вместе с Симановичем, несмотря на просьбы старшей дочери, сжег все письма и телеграммы, им полученные как от высочайших особ, так и от А. А. Вырубовой. В день же своего убийства Распутин повеселел, пошел в баню и вечером после отъезда А. А. Вырубовой надел свою лучшую новую шелковую верхнюю рубаху и новый костюм и, несмотря на убеждения Симановича никуда без него не ехать, успокоив его, настоял на его уходе, заявив, что он ожидает к себе А. Д. Протопопова.

Что же касается других искренне веровавших в Распутина его поклонниц, то после его убийства среди этих немногих его почитательниц, кроме А. И. Гущиной, серьезно заболевшей после его смерти, почти ни у кого не оставалось прежней веры в его духовную особливость; в этом мне пришлось убедиться из разговора моего с матерью М. Головиной при встрече с ней в воскресенье на масляной неделе у А. А. Вырубовой, причем г-жа Головина (одна из самых давних почитательниц Распутина) откровенно высказала мне свое разочарование в прозорливости Распутина, ввиду непредвидения им такой ужасной своей смерти, так как в последнее время Распутин уверял своих поклонниц (чему я сам раз был свидетелем во время одного из воскресных чаев у него на квартире в июне 1916 г., в присутствии А. А. Вырубовой), что ему положено на роду еще пять лет пробыть в миру с ними, а после этого он скроется от мира и от всех

своих близких и даже семьи в известном только ему одному, намеченном им уже, глухом месте, вдали от людей и там будет спасаться, строго соблюдая устав древней подвижнической жизни. Это свое намерение Распутин, как я понимал, навряд ли привел бы в осуществление, даже если бы он и не был убит, так как он довольно глубоко за последнее время опустился на дно своей порочной жизни.

Но Распутин ясно, по настроению государя, замечал близость наступления поворота в отношениях к нему со стороны его величества и заранее подготовлял себе почетный отход от дворца, указывая на пятилетний срок как на то время, когда наступит для наследника юношеский возраст, кладущий преграду гемофилии, внушавшей их величествам постоянную боязнь за жизнь его высочества и связавшей Распутина, в силу приведенных мною причин, с августейшей семьею.

Приобретя в лице А. А. Вырубовой послушную исполнительницу своих желаний и деятельную помощницу в деле укрепления своего влияния и значения во дворце, Распутин дерзко перешагнул черту заповедного ранее для него другого мира, укрепился в новой своей позиции и из Гриши превратился в отца Григория для своих почитательниц и всемогущего Григория Ефимовича — для лиц, прибегавших к его заступничеству, влиятельной поддержке, помощи или посредничеству.

В дополнение обрисовки личности Распутина считаю необходимым передать вынесенные мною из разговора с ним и наблюдения за ним свои впечатления относительно религиозной стороны его духовной структуры. Этот вопрос останавливал на себе мое внимание еще в бытность мою директором департамента полиции. Из имевшихся в делах канцелярии обер-прокурора Святейшего Синода сведений, переданных секретно мне директором канцелярии г. Яцкевичем, несомненным являлся тот вывод, что Распутин был сектант, причем из наблюдения причта села Покровского, родины Распутина, явствовало, что он тяготел к хлыстовщине. Переписка эта своего дальнейшего развития не получила и только повлекла за собою перемену причта и назначение взамен его нового духовенства, которое благодаря влиянию Распу-

тина было хорошо обеспечено, пользовалось его поддержкой и покровительством и считало Распутина преданным Церкви, вследствие его забот о благолепии и украшении местного храма, благодаря щедрым милостям не только его почитательниц, но и дарам августейшей семьи. Таким образом, официально установить (путем соответствующего расследования, на основании фактических и к тому же проверенных данных) несомненную принадлежность Распутина к этой именно секте не удалось, тем более что Распутин после этого случая был крайне осторожен, никого из своих односельчан не вводил в интимную обстановку своей жизни во время приезда к нему его почитательниц и филерное наблюдение к себе не приближал. Ввиду этого я принужден был секретно даже от филерного отряда и местной администрации и сельских властей, всецело бывших на стороне Распутина, поселить на постоянное жительство в селе Покровском одного из развитых и опытных агентов и приблизить его к причту. Из донесений этого агента, которые он, вследствие дружбы Распутина с местным начальством почтово-телеграфного отделения, посыпал окружным путем, для меня было очевидным уклонение Распутина от исповедания православия и несомненное тяготение его к хлыстовщине, но в несколько своеобразной форме понимания им основ этого учения, применительно к своим порочным наклонностям.

Познакомившись затем лично с Распутиным и заручившись доверчивым его к себе вниманием, я продолжал интересоваться духовным мировоззрением Распутина, укрепился в вынесенных мною ранее выводах. Поддерживая в обиходе своей жизни обрядовую сторону православия и беспапистско высказывая даже в присутствии иерархов свои далеко не авторитетные мнения по вопросам догматического характера, Распутин не признавал над своею душою власти той церкви, к которой он себя сопричислял; православное духовенство не только не уважал, а позволял себе его третировать, никаких духовных авторитетов не ценил даже в среде высшей церковной иерархии, отмежевав себе функции обер-прокурорского надзора, и чувствовал в себе молитвенный экстаз лишь в момент наивысшего удовлетворения своих болезненно-

порочных наклонностей, что мною и было засвидетельствовано в свою пору вел. кн. Николаю Николаевичу на основании точно проверенных данных. Мне лично пришлось, бывая на воскресных завтраках-чаях Распутина в ограниченном кругу избранных, слышать своеобразное объяснение им своим неофиткам проявления греховности. Распутин считал, что человек, впитывая в себя грязь и порок, этим путем внедрял в свою телесную оболочку те грехи, с которыми он боролся, и тем самым совершил «преображение» своей души, омытой своими грехами.

К той общей характеристике, которую я дал Распутину, мне остается добавить только несколько штрихов для обрисовки его личности. Распутин пренебрежения к себе и обид, ему наносимых, не прощал и никогда не забывал, а мстил за них до жестокости; на людей смотрел только с точки зрения той пользы, которую он мог извлечь из общения с ними в личных для себя интересах; будучи скрытным, подозрительным и неискренним, он тем не менее требовал от окружавших его безусловной с ним искренности и фальши в отношении себя не допускал; помогая кому-нибудь, он затем стремился поработить того, кому он был полезен; в своих выводах и решениях отличался упрямством и трудно поддавался переубеждению, идя на уступки лишь в тех только случаях, когда это отвечало его интересам; в своих домогательствах и в желаниях отличался поразительной настойчивостью и до той поры не успокаивался, пока не осуществлял их; умея носить на лице и в голосе маску лицемерия и простодушия, вводил этим в заблуждение тех, кто, не зная его (а таких было много, в особенности из состава правившей бюрократии), мечтали сделать из него послушное орудие для своих влияний на высокие сферы. Присматриваясь к судьбе тех лиц, которые искали в Распутине той или иной поддержки, я видел или печальный исход влияния на них Распутина и всей окружавшей его порочной обстановки, или фатальный для них позор, как последствие сближения их с Распутиным, но не в силу демонизма Распутина, а главным образом вследствие свойства тех побуждений, которые толкали их идти к Распутину и заставляли затем поступаться многим в ущерб своей чести и достоинству в исполнении желаний или, лучше сказать, требований Распутина.

Н. В. Железняк

ГЛУХИЕ ГОДЫ

(из воспоминаний)

От составителя. Миновала великая замятня, охватившая Великую Россию в 1917 году. В кровавом разладе рухнул тысячелетний мир. Разворошенный людской муравейник слепо искал упорядоченности и спокойствия — сила жизни неистребима.

И жила-была девочка в Москве, что родилась в 1915 году (первым ребенком) в семье, имевшей глубокие родовые корни. Мы ее знаем в Вологде как художницу и жену писателя Нины Витальевны Железняк. Знаем теперь, а прошлое...

...Свое первое опубликованное произведение «Полонез Г-моль» юный Фридрик Шопен посвятил графине Виктории Скарбек. Отец будущего знаменитого композитора ученый Миколай Шопен был гувернером и воспитателем у графа Фридрика Скарбека в имении Желязова Воля, где ныне в одном из сохранившихся флигелей создан музей (см. ж. «Ванда»,польск., 1979, № 3). Граф Ф. Скарбек, автор «Истории Варшавского княжества», занимает нас потому, что был он пра-прадедом Нины Витальевны. Дочь Скарбеков Виктория вышла замуж за Маврикия Боруцкого; их сын Иван женат на украинке Александре Матвеевне Воробьевской; род их продолжили четверо дочерей и трое сыновей, младший из которых Виталий — отец Нины.

...В галерее С.-Петербурга среди героев Отечественной войны 1812 года есть портрет генерала Властова Егора Ивановича (1769—1837), а в альбоме портретов — статья о нем. Это предок Нины Витальевны по матери. Бабушка ее — уже Карцова,— владевшая имением в Ярославской губернии, была замужем за полковником Ходневым Михаилом Дмитриевичем, он преподавал в корпусе. Их средняя дочь Вера — мать Нины.

Несмотря на лихолетье, семья традиционно сохраняла широкие родственные связи. «Мама очень боялась,— припоминает Нина Витальевна,— что нас запишут в «лишенцы», в документах родители писали, что они из «служащих», и «лишенство» обошло нас стороной». Впрочем, они и были из служащих — поместья, чины остались в далеком прошлом, а в «новом мире» пристраивались кто как мог, да и лишения обошли немногих.

Старший брат отца Владимир — земский деятель, позже — создатель Кустарного музея в Москве (упоминается в повести о Воронкове «Птицы на ветках», ж. «Наш современник»). Его сын Евгений — ихтиолог, профессор Московского университета, лауреат Сталинской премии. Сестра Антонина была замужем за начальником одной из железнодорожных станций близ Москвы, а их дочь Ольга Дмитриева — известнейший диктор Московского радио. Сестра Софья — жена главного инженера завода АМО, руководителя крупных строек, в т. ч. нефтепровода в Иране; она скончалась в 1976 году, а их дочь Инна вела на радио в Москве передачи на Париж. Сохранилась родня и с материнской стороны, и среди нее — двоюродная сестра Наталья Гергардовна Воропаева, бывший фронтовой врач, живет в Москве и часто бывает в Вологде и в д. Ивановское.

Какая связь времен, какая глубина истории!..

Отец Нины, Виталий Иванович, по недостатку средств образования не получил. Обаятельный человек, душа общества, со способностями режиссера и отличным драматическим тенором, он был и художником-любителем. Семью содержал он, занимаясь портретной ретушью для фотоартели. А впрочем, семья жила в квартире из пяти комнат в Денежском переулке (ул. Веснина), и у Нины была своя комната и пианино; гулять девочку водили в сквер у храма Христа Спасителя, еще величаво и, казалось, нерушимо стоявшего в первопрестольной. Мало-помаду жилье «уплотняли»: в квартиру подселялись и родственники, и чужие, пока комнат не осталось всего две.

А летами в двадцатые годы Нина со старшей сестрой жила на даче, на станции Ашукинка, в сторону Загорска, у родственников, а недалеко — знаменитое Мураново. Здесь собиралось множество молодой родни хозяйки. И в Москве

всегда был многочисленным родственным и дружеским молодой круг — сквозняков суворой поры они почти что не замечали.

Нина училась в девятилетке в Старо-Конюшенном переулке, а после семи классов по вечерам — в изостудии, в том самом доме, где когда-то был ВХУТЕМАС (а еще ранее — Училище живописи и ваяния), потом на курсах повышения квалификации художников книги и графики занималась под руководством Алякринского при музее ИЗО искусств им. Пушкина. Через два года, в 1937, принятая на подготовительное отделение графики ИЗО-института к Павлинову. Днями она занималась, как и отец, ретушью, чтобы заработать на краски и концерты, а вечерами закончила рабфак, кроме того, еще и занималась английским языком. Каждую неделю бывала она в театре или на концертах: слушала она оперы в Большом театре, пианистов Софроницкого и Гильельса, Флиэра и Нейгауза; довелось видеть ей И. Ильинского и М. Царева в театре Мейерхольда, Зинайду Райх в спектакле «Адриенна Лекуврер», видела «Дни Турбиных» во МХАТе; конечно, бывала и на художественных выставках, запомнила персональную Петрова-Водкина, уже тогда разруганного в печати...

И вокруг всегда множество молодежи, сверстников. Многие — некогда из состоятельных семей теряли в «уплотнениях» жилье, старые дачи, из-за знакомств нередко разом ломались складывающиеся карьеры. В это время — все к одному! — отец развелся с матерью (1935). И все-таки молодость брала свое — полная, насыщенная жизнь не давала задуматься и сознавалась как счастье, пока...

...Пока гром не грянул совсем с неожиданной стороны. В 1924 году сводная сестра, девятнадцатилетняя Татьяна (ее мать, первая жена отца, умерла молодой) вышла замуж за итальянца, начальника канцелярии посольства, здание которого было рядом, там же они и поселились. Деятельный и общительный человек, Гвидо охотно принимал московских родственников. Бывала у них лет с десяти и Нина с отцом, потом — в Тифлисе, куда Гвидо перевели и. о. консула, и на их даче в Коджорах. Правда, с восемнадцати лет мать запретила ей бывать у итальянской родни, но «связь с иностранцами» вскоре суроко припомнили...

Изгой: в Бутырской и на Лубянке.— Ссылка без лишения прав.— Мотыри. Шуйск. Вологда.— Война.— В. С. Железняк.— На улице Герцена, у Палиловых.— О Фадееве.— Николо-Пенье. 9 мая 1945.— Воспоминания В. С. Железняка: детство, юность, московские друзья.— В башне.— Чтение в музее Ф. М. Достоевского.— Друзья дяди Гиляя.— Командировки от «Красного Севера».— О Шолохове.— Фроловское. Кружевницы.— Путешествия в Москву и Ленинград.— Железняку В. С.— 60 лет.

I.

...Пришли в ночь со второго на третье декабря 1937 года, кажется, трое, обыскали обе комнаты и увезли папу и меня на улицу Дзержинского. Как пережила мамочка эту страшную ночь!..

На Лубянке меня обыскали, сняли отпечатки пальцев, сфотографировали (я старалась улыбаться) и отправили в камеру с нарами, где содержалось более сотни женщин (потом я узнала: от 110 до 130). Каждый день из этой подследственной камеры переводили после вынесения приговора в другие и в Бутырскую тюрьмы.

Здесь я просидела более месяца; три раза вызывали на допросы по поводу итальянцев. Первый следователь был груб, покрикивал, а второй — «культурный». Придраться, однако, было совершенно не к чему, и «тройкой» вынесли приговор: пять лет ссылки как СОЭ (социально-опасный элемент).

Некоторым узникам подследственной камеры дважды в месяц разрешали переводить деньги «на лавочку», мне почему-то один только раз. Я покупала сахар и сушки: супы были из очень кислой капусты, и я клала в них два-три куска сахара.

Сначала, как всех вновь прибывших, меня отправили под нары, потом — когда освободились места — перевели наверх. Я убивалась и плакала сутки, затем стала наблюдать окружающих. Вдоль трех стен и посередине камеры на нарах лежали или сидели женщины. Сидели и раскачивались: вперед, назад.

Немного знакомая мне по Кустарному музею в Леонтьевском переулке была продавщица лаковых изделий



О. К. Белецкая, мать В. С. Железняка. 1915 г.



С. П. Белецкий, отец В. С. Железняка. 1915 г.



Владимир Белецкий-Железняк. 1937 г.



Нина и Владимир Железняки. Начало 50-х годов



Нина Борукова. 1932 г.



Н. и В. Железняки. 1957 г.



Владимир Железняк в башне Цифирной школы Вологодского кремля. 1962 г.



В гостях у Железняка на улице Кирова писатели Александр Грязев и Василий Оботуров. 1980 г.



У своей избы. 1957 г.



Изба в Ивановском. 1982 г.



На лавочке летом. 1982 г.



Владимир Железняк в квартире на улице Горького. Фото Юрия Чернышева, конец 60-х годов

(там же зав. отделом кружев работала моя мама). Эту женщину посадили за связь с иностранцами, которые с ней знакомились, покупая изделия; ей дали пять лет ссылки, в Казахстан.

Вообще, из всего громадного числа женщин ссылку получили всего три человека, остальные — лагерь. Конечно, получившим ссылку все завидовали.

В камере было несколько групп женщин: женам расстрелянных мужей давали по восемь лет лагеря; группе беженцев — в основном из Польши — по десять лет, к ним примыкали также артистки Еврейского театра.

Нарочито особняком, ни с кем, кроме старосты, не входя в контакты, держалась группа латышек. Перед одной из своих женщин они преклонялись, она как бы возглавляла их. Мне сказали, что это — крупная профессиональная революционерка, прошедшая многие тюрьмы в Латвии. Когда нас приводили в большую общую уборную, где было, вероятно, штук пятнадцать унитазов и несколько умывальников, эта женщина раздевалась и обтиралась ледяной водой, делала гимнастику.

Еще одну знакомую лет сорока пяти увидела я в камере. Она была научным сотрудником музея ИЗО искусств им. Пушкина, где я занималась и рисовала греческие скульптуры. Сразу заметила ее зеленую шерстяную кофту, в которой она постоянно ходила по залам музея. Взгляд у нее рассеянный, как бы в себя, ее мне было особенно жаль. Она буквально с ума сходила, так как дома остался (по ее словам, «как ребенок») старый ученый — муж. «Он пропадет без меня, у него никого нет!» — горевала она. У нее оказались родственники в Европе, и она была уверена, что получит десять лет. После перевода в Бутырскую тюрьму я больше ее не видела.

Запомнились мне навсегда некоторые из жен репрессированных. Одна из них прошла вместе с мужем, командиром Красной Армии, всю гражданскую войну. Гибкая, смуглая, зеленоглазая казачка, она была единственной из заключенных, которую был следователь. Лицо оказывалось в синяках. Ей предъявляли сообщность с врагом народа — мужем и говорили, мол, «не может быть, что она лишь постельная принадлежность мужа». Женщина

боевая и малокультурная, казачка в ответ ругалась и, видимо, отвечала следователю как надо. Другая — была замужем за зам. наркома финансов Оболиным; полная, наполовину седая, наполовину рыжая женщина, она ни о чем не распространялась.

Нравилась мне сестра знаменитого военного деятеля Яна Гамарника: сероглазая, хрупкая, белокурая, белолицая полячка лет двадцати с небольшим достойно держалась, была спокойна. Сразу вспомнилась песенка Вертиńskiego — «Пани Ирена».

Очень старалась быть веселой очаровательная евреечка, жена какого-то крупного деятеля, похожая на цыганочку. С точеной фигуркой, с большими карими глазами и правильными чертами лица, она лихо пела цыганские песни и романсы, конечно, вполголоса, так как громко не разрешали.

В центре камеры артистка театра читала на еврейском языке монолог дочери короля Лира, роль которой она недавно играла. Перебежчица из Польши с рыжей косой и голубыми с поволокой глазами, она напоминала героинь Лиана Фейхтвангера; читала с пафосом, драматично.

Староста камеры — большая некрасивая решительная женщина, не смущаясь, вступала в пререкания с дежурившей за дверью стражницей, предъявляла различные требования. Стражницы были разные. Молодая — из уголовниц, с черными хмурыми глазами — была злой, другая — пожилая полная — наоборот, разговаривала по-человечески.

Назначались дежурные по камере — для выноса «параши», хождения в «лавочку» и библиотеку. Меня выбрали в «отделенные»: под моим началом находились двадцать с лишним женщин, лежащих (или сидящих) вдоль одной из стен. Я должна была раздавать всем деревянные ложки и металлические миски, запомнив каждую в отдельности, затем следить за очередью на иголки (их было только две) и нитки, решать споры своей «стенки». Сейчас мне кажется странным, каким спросом пользовались в тюрьме горбушки. Из двадцати «паек» черного хлеба, которые я получала для своего

отделения, с горбушками было шесть-семь, так что на них я устанавливалась очередь.

На Лубянке было два случая, потрясшие всех.

У нас в камере находилась девочка лет четырнадцати-пятнадцати, как говорили, дочка бывшего друга Сталина — Енукидзе; как самую младшую арестованную ее опекали. Как полагали опытные арестантки, ее сестричка, скорее всего, содержалась в этой же тюрьме. Стали под окном по батарее перестукиваться азбукой Морзе. А чтобы не-порядка не углядела в глазок смотрительница, женщины по очереди все время сновали между окном и дверью. Сначала узнали по беспроволочному «телеграфу», что арестована Наталия Сац и балерина Марина Семенова. Оказалось, что и другая девочка Енукидзе содержится здесь же, на Лубянке, и даже в камере рядом. Подозревали ее, начали разговор, но женщины вокруг заплакали, смотрительница ворвалась в камеру, схватила Енукидзе и уволокла ее. Больше мы ее не видели, но взрыв плача чуть ли не до истерик продолжался.

Второй случай произошел, когда женщины шли по широкому коридору к выходу на прогулку. В тюремном дворе все ходили по кругу, как у Ван Гога, только без цепей; впрочем, руки заставляли держать сзади. Перед самой дверью наша группа встретилась с толпой заключенных мужчин, входящих с прогулки (женщины и мужчины размещались на разных этажах здания). Одна из женщин увидела среди них своего мужа; они бросились друг к другу — стража растасила их в разные стороны. Плач подхватили женщины, в коридоре стоял просто отчаянный рев. Как электричество прошло... Нас загнали обратно в камеру, лишили прогулок; долго никто не мог успокоиться, как и при плачущем голоске девочки Енукидзе.

Наконец я узнала приговор: пять лет ссылки в Вологодскую область без лишения прав. Вскоре меня отправили в башню Бутырок.

Что-то изменилось в моем настроении, напала хандра, я отказалась от обязанностей «отделенной». К счастью, моей соседкой оказалась незнакомая ранее, очень умная и культурная женщина лет тридцати пяти по имени Амалия. Мы с ней нередко беседовали. Она высказала мысль, что в ЦК происходит какое-то вредительство

(модное тогда слово). «Не может быть столько врагов народа!» — была убеждена она, сама давнишняя партийка.

Амалия (была она, кажется, латышка) получила восемь лет лагеря и просила меня, когда я выйду на свободу (то есть на место ссылки), написать в Москву на адрес матери, с которой она жила, что она жива и здорова и, как только приедет на место назначения, напишет ей. Московский адрес просила не записывать, а запомнить. В первый же день прибытия в Шуйское (о чем пишу позднее) мы пошли на почту, купили конверты, и я отправила эту записку, подписавшись другим именем (уже не помню — каким, как договорились с Амалией). И вскоре забыла этот адрес и фамилию.

В Бутырской башне было очень тесно. Лежали в ряд, плотно на спине на нарах (как и на Лубянке), но электролампочки, очень яркие, спускались низко, и было плохо спать. До сих пор не могу засыпать при электрическом свете и не люблю узких переходов во дворах, если не видно выхода... Кроме того, в Бутырке негде было ходить, так как нары, упирающиеся в ниши, с другой стороны доходили почти до самой стенки.

Там я много читала. Прочла «Метаморфозы» Овидия, два тома «Дон Кихота», рассказы Лавренева и кое-что из русской классики. Не терпелось скорее выйти на волю, тем более, что у меня стало плохо с желудком. Водили к врачу, он прописал пшеничный хлеб вместо черного, который я получала последние десять дней. В общем, отсидела я ровно два месяца, когда меня вызвали «с вещами».

Помню, как везли нас в тюремной машине до вокзала. Я с интересом смотрела через решетку на афиши новых кинофильмов и концертов. В поезде посадили в купе с проституткой, убившей своего младенца. Солдат из охраны ей улыбался, разговаривал с нею. А на меня он смотрел как на страшную преступницу; сунул копченую рыбину, кусок хлеба и кружку воды через оконечко — и все молча.

В Вологду приехали ночью. Всех по выходе на платформу заставили присесть на корточки. Так и сидели, пока не подошли грузовики. Увидела здесь и отца. Повезли в тюрьму. Сначала нас запихали в комнатку

какого-то деревянного дома, где продержали до утра. Народу — уголовниц — было много, и я впервые в жизни заснула, стоя на ногах.

В камеру пересыльной тюрьмы отправили, когда стало светло. Там были нары и деревянный пол, чему я удивилась. Из-под нар вылезли две молодые женщины и позвали меня. Единственные здесь «политические», они очень хорошо меня приняли, налили кипятку с апельсиновой коркой, уже сильно выжатой (другой, увы, не было). Одна из репрессированных воложганок оказалась женой руководителя джаз-оркестра, другая — из служащих. Не знаю, что с ними стало потом.

Потребовав у дежурной бумагу с карандашом, я написала, чтобы меня немедленно освободили, так как имею свободную ссылку. Оказывается, папа писал тоже. Через день меня и отца вывели из тюрьмы к реке. Стоял сильный мороз, и ждали нас три лошади, запряженные в сани. Кроме отца, вывели еще шесть-семь мужчин, я оказалась единственной женщиной. Мы поехали по реке, вернее — пошли пешком, а узелки, у кого были, лежали в санях; у папы в тюрьме все украли.

Обута я была в резиновые боты, уже на другой день заболела и доехала до Шуйского, почти не вставая с саней. По дороге дважды ночевали в больших селах.

По приезде в Шуйское отвели нас в тюремную комнату при милиции, но отец, ссылаясь на мою болезнь, выхлопотал ночлег тут же, в одной из комнат без решеток, сам сидел рядом. Но до этого, как я уже писала, мы отправились на почту, где я послала письмо матери Амалии и телеграмму с письмом маме в Москву.

Возвращаясь в милицию, мы увидели, как по набережной проезжало несколько санок, нагруженных женщинами с детьми. Это были семьи репрессированных или расстрелянных украинцев, которые направлялись на жительство в дальние леса, где они должны были строить себе бараки и работать. Смотреть на эту вереницу несчастных было тяжело. Жители носили им пироски.

Надо сказать, что сопровождавшие милиционеры очень нам сочувствовали, со мной обращались даже ласково.

Позднее приходилось ходить в милицию «на отметку» каждые десять дней. А было мне тогда двадцать два года.

После ночевки в Шуйском снова на лошадях нас с отцом направили по реке за двадцать верст, в деревню Мотыри.

Поместились мы в большой избе. Меня поразило, что окна так высоко, а на «поветь» (я впервые услышала это слово) можно заезжать по «мосту» с улицы. В избе жили двое стариков — муж с женой Сопегины. У них была дочка, которая после школы поступила в педучилище. Потом она приезжала в Мотыри на каникулы.

Нам отвели комнатку с крашеным полом: две кровати, стол, стулья, комод. Ночью проснулись от шуршания, зажгли лампу и увидели, что стены покрыты черными тараканами. Зашла хозяйка, кое-как перебила их, кажется, что-то сыпала, и на следующие夜里 они не появлялись.

Утром нам показали на берегу штабеля дров. Их надо было разделять, дали двуручную пилу и топор. Я пилила с папой, потом он колол, а я складывала дрова.

У нас не было денег, и старуха кормила в долг. Через месяц нам пришла посылка из Москвы от мамы с продуктами, карандашами и красками, с кистями. Получили мы и денежный перевод. Рядом с селом был маслозаводик, и его директор продавал сливочное масло жителям. Мы тоже изредка покупали, и он учил нас, как надо масло солить (папа очень любил соленое). Впрочем, к лету этого деятеля посадили за воровство.

В Мотыри мы попали около середины февраля 1938 года. Позднее мне мама говорила, что, получив известие о Мотырях, родные не могли ни на одной советской карте найти это селение, и кто-то достал английскую карту, где были отмечены все деревни по Сухоне.

Акварелью нарисовала я избу, где мы жили, и баньки вдоль реки, а черным карандашом — весенний деревенский пейзаж. Потрясло меня зрелище ледохода, и хорошо помню раннюю весну, ручейки по деревне, а рядом — тайгу, куда я стала ходить, не углубляясь. Написала довольно большую картину «Леший», на проклеенном мешке, фон, конечно, — с натуры.

В Мотырях были только две фамилии у жителей — Сопегины и Москвины. Старик Сопегин был вздорным,



Дом Сопегиных в Мотырях

а его жена — молчаливой и послушной, очень доброй. Портрет старика Сопегина до сих пор у меня хранится. Он выполнен масляными красками на наждачной бумаге размером с машинописный лист. Краски в нее не впитывались, как на хорошем kleевом грунте.

Папа сразу начал писать в Шуйское с просьбой о переводе нас на жительство туда, и весной нам разрешили. Мы наняли лошадь с телегой и поехали, по дороге — в Шиченьге — едва не утонули. Не знаю, как и удалось доехать.

На Малой стороне Шуйского (на той же, где и Мотыри) сняли мы хорошую комнату в крайнем большом доме. Хозяйка, суровая и неразговорчивая женщина, грубо сколоченная, как мужик, была одинока. Отмечаться в милицию на набережной приходилось, переезжая Сухону; у перевозчика была большая лодка, человек на двадцать.

Папа договорился организовать в шуйской фотографии изготовление портретов, увеличенных с небольших снимков, и мы решили искать избу на главной стороне. Через

несколько месяцев освободилась целая избушка напротив пекарни.

Хозяин избы уехал с женой куда-то, сдав нам ее целиком со всем «содержимым». Там были две комнатки, русская печь с кухней. Воду папе приходилось брать из речки Шуи, спускаясь за пекарней по лесенке. За избушкой шел густой еловый лесок, где я потом собирала опят. С другой стороны — хорошая дорога, которая заворачивала в сторону от Шуйского, в другие деревни. И самой интересной для меня была речка Шуя. По этому берегу ее стояли красивые деревянные дома, по другому — их было немного, и дальше шли леса.

В местной библиотеке оказалось много старых приложений к журналу «Нива». Прочитала я пьесы Л. Андреева и другие вещи. Библиотекарь оказалась очень культурной женщиной и не побоялась общаться с нами.

Вскоре стали поступать в фотографию карточки для увеличения. Молодой фотограф, допризывник, был совсем неопытен: изображения получались расплывчатыми, неконтрастными, и мне приходилось фактически рисовать портрет 24×30 соусом, глядя в лупу, с маленького снимка. А папа считался заведующим фотографией и находился днем там.

Я написала два пейзажа на экране из бязи, в качестве фона для фотосъемки: один — на местную тему — зимний с елкой и с плетнем; другой — какой-то вычурный — с вазой, вроде крымского. Так мы стали понемногу зарабатывать.

Папа всегда сам ходил на рынок покупать свинину, от которой отрезал и солил шпиг. А я топила печку, варила обед (летом на таганке) и садилась за ретушь. Поздня работала, а затем бродила по окрестностям.

Летом 39-го года навещала цыганский табор, написала, опять же пользуясь наждачной бумагой, два этюда таборной жизни. Потом домой ко мне приходила молодая цыганка, и я, заплатив за позирование, написала ее портрет — по пояс раздетой (жалко, что он пропал).

Больше всего я любила ходить в леса вдоль Шуи. По берегам росла черная смородина, а по опушкам — грибы. Впрочем, хороших грибов было мало, и мы купили лодку, чтобы переезжать на ту сторону Сухоны.



В селе Шуйском

Я познакомилась с двумя ссыльными семьями. Семейство Дэге — это мать с двумя взрослыми дочерьми. Их выслали бессрочно, поскольку репрессированный отец был немецкого происхождения. Потом мать умерла, а девушек — Иру и Аллу — в начале войны угнали на Северный Сахалин.

С другой семьей я дружила больше. Мать потеряла мужа-лезгина, партийца и осталась с тремя дочерьми. Все три — несовершеннолетние, поэтому смогли позже получить в Вологде паспорта. Со средней из сестер, Рогнедой, мы ходили на Малую сторону, далеко в тайгу, каталась на лодке, а вечера она часто проводила у нас, играли на гитаре, слушали радио. Теперь она живет в Москве, замужем, имеет двух дочерей,孙女. Забегая вперед, скажу, что в послевоенные тяжелые годы она посыпала нам из Москвы сахарный песок и рис, чему мы были очень благодарны.

Однажды, пойдя в лес одна на Малой стороне, я зашла очень далеко и заблудилась — тот страх я не забыла до сих пор. Наступил закат, куда идти — не знаю; залезла на дерево, но ничего не увидела; вышла на какую-то лесную дорогу, которая привела на луг со стогом сена. К счастью, услышала гудок парохода. Он меня спас, пошла на него, прямо через лес. Километра

через три вышла к реке, далеко от Шуйского. Расплакалась от радости, а на красные грибы, из-за которых заблудилась, и смотреть не хотела. Больше в лес одна на ту сторону я уже не ходила.

Жили на Сухонской набережной в семье, давно высланной в Шуйское, двое мальчишек: Вася лет десяти и Миша лет тринадцати-четырнадцати (старшего призвали в армию в последний год войны и сразу убили). Вот с ними я тоже ездила на лодке, ходила в лес за грибами на Малую сторону. Поразило, что подберезовики и белые с желтой подкладкой росли в лесу на моховых кочках, у болота, в чаще, а не как в Подмосковье.

Зашли мы как-то в волшебное место. Вокруг, между деревьями и у оврага, росли мхи разных расцветок. Такого я никогда не видела: от светло-розовых, бордовых, желтых, оранжевых до голубых и зеленых оттенков. Вот бы такая красота всегда рядом! — но это разноцветье таилось глубоко в лесу, и туда мы больше ни разу не попали...

Папа был художником-любителем: его «Московский натюрморт», сделанный пастелью, и этюд с беседки маслом я храню до сих пор. Как-то директор школы попросил отца сделать для райисполкома к выборам большие портреты Ленина и Сталина. Натянули нам на подрамники бязь, размером в высоту метра три, и я с фотографий стала писать портреты сухой кистью. Очень удивились директор и райисполнковцы, что рисовала я, а не отец. Но у меня был навык по Москве: к праздникам я там подрабатывала рисованием, еще занимаясь в студии у Алякринского.

Потом отец договорился с директором школы (тогда там работал А. В. Смирнов, позднее перешедший в облоно в Вологду) поставить спектакль, привлекая самодеятельность. Отец уговорил зав. библиотекой на главную роль Лиды в пьесе Корнейчука «Платон Кречет». Не помню остальных артистов, но она играла очень прилично. Я была суплером, сидела в будке. Папа как режиссер всем руководил, он умел вдохновлять людей, его слушались. Для спектакля я написала маслом большой задник на сцену, какой-то пейзаж, где на переднем плане были березы. Спектакль прошел хорошо, повторился, но других пьес не ставили.

Я была в этой школе как-то на вечере с Рогнедой: ее любила учительница литературы. Много позже я узнала, что эта учительница — мать жены Василия Белова, Мария Васильевна. Рогнеда до сих пор держит с ней связь, пишет в Грязовец; держит она связь и еще с кем-то из шуйских жителей.

В Шуйское я выписала газету «Советское искусство». Читая о выставках, о конкурсе дирижеров, когда первую премию получил Мравинский, я очень тосковала по Москве. Столько интересного, а меня там нет! Помню шарж в газете на Д. Шостаковича, несущего 5-ю симфонию. Слушала все время музыку по радиорепродуктору. Читала Библию, которая осталась в избе от хозяев.

Летом 39-го приехала ко мне в Шуйское мамочка. Она плохо выглядела, совершенно поседела, а ей ведь и всего-то пятьдесят лет. Глаза были несчастные, никогда не улыбалась. Прожила месяц, потом снова побывала у нас через год. В 1940 году мы жили в Шуйском последнее лето. Тогда приехала навестить отца молодая его жена Людмила. Он снял для нее на шуйской набережной комнату, а мы с мамой остались в нашей избушке.

Мамочка сказала, как трудно было продавать мебель, комиссионки в те страшные годы были переполнены. С продажи пианино мама послала нам первые деньги и сама на них жила. Кушетку с пуфами и ковер взяла по дешевке знакомая. В маленькую (мою) комнату, которую ей оставили, мама запихнула книжный шкаф красного дерева (книги продала) на место пианино, трельяж отдала на сохранение хорошей соседке (впрочем, я, конечно, так и не зашла к ней за ним после войны).

Снова с мамочкой встретились мы уже в Вологде, когда перебрались туда.

Отец стал хлопотать о переводе на жительство в Вологду в 1940 г. Разрешили в начале 1941 года, ведь в следующем кончался срок ссылки. А полугодом раньше приехал хозяин избушки и попросил немедленно освободить ее, нам пришлось переехать снова на Малую сторону. Дом был большой, и мы заняли весь второй этаж —

две комнаты, хозяева жили на первом. Договорились, что готовить нам будет хозяйка. А зимой, получив разрешение, мы наняли лошадь с санями, погрузили сундук с одеждой, ящик со шпигом и покатили...

В Вологде я устроилась ретушером-портретистом. Сколько улиц мы обошли вечерами, прежде чем поселились у вдовы Волосковой Александры Александровны, на улице Клары Цеткин в одноэтажном домике. Комната была холодная, дверь в нее вела из кухни, а вместо окна — другая дверь прямо в огород (видимо, раньше там была веранда).

Весной приехала мама, а вскоре и Людмила с маленьким сыном Валерием. Отец нашел для них комнату на Пионерской улице, где они и поселились.

В воскресенье, 21 июня, я сажала рассаду цветов на круглую клумбу перед дверью в нашу комнату. Вдруг приезжает на велосипеде приятель Коли Волоскова, ребята только что закончили десятилетку.

— Слушайте радио! Война!

Потемнело у меня в глазах. Прослушали выступление Молотова. Сразу пришла мысль — мы с отцом погибнем, нас посадят снова, срок еще не кончился... И через три дня они пришли ночью на улицу Клары Цеткин вместе с отцом, которого забрали на Пионерской,— за его вещами.

Я отдала его зимнюю одежду.

Он удивился — зачем?

— Не сразу ведь отпустят,— сказала я.

Его загнали неизвестно куда, без права переписки. Реабилитировали посмертно... Несчастный отец, с его крепким физическим здоровьем и неуемным жизнелюбием, он мог бы прожить долго!

Страшные дни и ночи войны... К осени ничего из продуктов уже нельзя было достать. Ввели карточки разных категорий: 300 гр. хлеба — детям и пенсионерам, 400 — служащим, 600 и 800 — рабочим. Людмила с сыном Лериком переехала без спросу сразу к нам, хотя с мамой почти не разговаривала. Она устроилась экспедитором на железную дорогу, получала высшую категорию по карточкам, Лерика устроила в детсадик, где его все же кормили. Чтобы отоварить хлебные карточки, я стояла ночами в очереди в магазине горта. Иногда меня там сменяла

Милка. Хлеб мы делили аккуратно на четыре части поровну.

Вскоре меня послали на торфоразработки от артели фотопарикмахеров, там давали обед в столовой. А затем, уже в конце ноября,— на оборонные работы на станцию Дикая.

Зима наступила суровая, траншеи пришлось не копать, а бить кувалдой по лому, чтобы вырыть землю. Спали в больших бараках. По радио слышали, что немцы уже подошли к Москве. Однажды мимо Дикой проходил товарный поезд, остановился, везли арестованных из Ленинграда. Они имели страшный вид, умоляли поделиться хлебом. Я выходила из столовой, у меня была под мышкой сэкономленная буханка. Думая об отце, сунула ее одному из несчастных, он мне кинул кирзовую сапоги, поезд двинулся...

Так как я работала по-ударному, меня отпустили на один день в Вологду. Доехала в паровозе товарного состава, пустил машинист.

К тому времени маме от дистрофии стало совсем плохо; пошли нарываы по телу, одна нога стала распухать.

Обратно, чтобы доехать до Дикой, забралась на площадку товарняка, но поезд на станции не остановился, только замедлил ход. Пришлось прыгать в сугроб. Ночь была лунная. От сильного толчка при приземлении у меня из ноздри вылетел большой комок гноя (я страдала всю жизнь гайморитом). Ездила из Дикой в Вологду и второй раз, после того, как меня премировали 300 граммами сахарного песка. С какой жадностью мамочка сразу его скушала!

Немцы от Москвы отступили. В Вологде всех художников (а я поступила 2 февраля 1942 года в мастерские товарищества «Художник») прикрепили отоваривать продукты в буфет драмтеатра. Таким образом, стали получать по карточкам в небольшой очереди и другие продукты — крупу (обычно пшено), сливочное масло. Но мамочка не поправлялась. На рынке килограмм картошки стоил 130 рублей, так же и буханка черного хлеба. Белого давно и в помине не было, о нем тогда и не мечтали.

В мастерских «Художника» мы работали в подвале на улице Пушкина, рядом еще не было здания Дома связи. Туда я устроилась по рекомендации художника Ширякина, к которому ходила рисовать в студию на ул. Пушкина, в помещение школы, где преподавал С. Смирнов. (На том месте построено здание обкома партии.)

Познакомилась я с четой Смоленцевых, и Александра Ивановна свела меня в производственные мастерские, которые возглавлял эвакуированный художник Иоффе. Он учился в молодости в Париже и был чистым формалистом. Года через полтора Иоффе уехал, и директором мастерских стал Ф. П. Куропатников.

Мне дали писать на железках правила пользования походными кухнями, которые стал выпускать один из вологодских заводов. Приходилось сперва покрывать железки масляной краской кремового цвета, сушить, а затем уже писать десять или двенадцать правил. Там были слова «открыть задрайки», и поэтому мы называли эту работу «задрайками». Кроме меня, писали их еще, кажется, три допризывника. Никто из них в художники потом не вышел.

А в студии, которой руководил Ширякин, кроме Смоленцевой, работали еще более пожилые, чем я, художники — А. А. Никитина, Е. Васильева, преподаватель рисования в школе, замечательный человек и художник Иван Тарабукин — отец будущего поэта-сатирика. Жаль, что в конце войны он умер от болезни сердца. Ширякин нанимал натурщиков, и мы писали и рисовали их портреты, делали наброски фигур. Позднее в эту студию вошли пришедшие с фронта Киркиж из Ленинграда, Кулаков, Шварков, затем Воробьев, иногда посещала студию Е. Перова с отцом В. Перовым. В. Корбаков в 1941 году был столяром, затем ушел на фронт, в 1943 году вернулся раненным, а после войны поступил учиться в Художественное училище 1905-го года в Москве.

Дома было плохо, мама лежала, очень голодали, у меня весной от голода стала распухать кисть руки.

23 июля 1942 года умерла мамочка. Перед этим я вызывала врача, и она устроила ее в эвакогоспиталь на улице Лассала (ныне ул. Калинина). Мне не сказали, что она безнадежна. Утром я пришла в госпиталь, а в

окне санитарка-нянечка разводит руками. Я вся похолодела, ворвалась в госпиталь, кровать мамы была пуста.

Нянечка сказала, что умерла мама около шести утра, мед. персонала не было. Она очень просила кусочек белого хлеба, но санитарка сказала, что надо ждать часа завтрака... Потом мама начала кричать от боли, кричала сорок минут, никто не помог, потом скончалась. Я нашла ее совсем раздетой во дворе сарай на досках. Сказала, что пошла за одеждой, буду хоронить. (Умерших эвакуированных обычно свозили в общую могилу.)

Мы пришли с хозяйкой одеть мамочку в единственное сносное платье — темно-синее с мелким белым горошком. Помню только, что удалось купить гроб, оклеенный голубыми обоями, и мы с Александрой Александровной и Людмилой шли за гробом. Хозяйка добилась могилы около своих родных, почти напротив церкви на Горбачевском кладбище.

Позже я поставила белый крест, а через несколько лет художник Анатолий Наместников на серой мраморной плите выбрал даты, но еще года через три рядом кого-то хоронили и разбили эту плиту на три части.

После смерти мамы тетя Аля остатки вещей продала и раздала в Москве; в Вологду она послала малой скоростью кресло, резной шкафчик резчика Ворноскова, Венеру, статуэтку Льва Толстого и бюст Вольтера (который мы, к сожалению, продали собирателю Ларионову). А на квартире в Москве, когда мы навестили тетю Алю с Владимиром Степановичем, она передала мне много старинных открыток (фотографии Парижа, Дрездена, художественные) и главное — альбомы предков, начиная с середины XIX века.

Я до сих пор не могу проходить мимо дома, где умерла мамочка, хотя он имеет другой вид, там какое-то учреждение; стараюсь обходить подальше этот угол.

Вскоре Людмила Вячеславовна помешалась, и ее отправили в Кувшиново. Я осталась с Лериком, в садике его подкармливали. Навещала Людмилу в Кувшинове. Иногда она меня узнавала, иногда — нет. Но к осени ее под-

лечили и выписали. Она сразу через своего начальника на железной дороге устроилась ездить в Москву и однажды, захватив сына, попрощавшись со мной, уехала совсем. Там ее ждал, видимо, по рекомендации начальника, пожилой человек из торговой сети, который ее приютил, а позднее, кажется, оформил брак. Связи с ней в Москве не имею, даже Валерий не пожелал узнать меня, когда вырос.

А сын хозяйки Коля, потеряв в 1941 году два пальца на руке, в то время как его одноклассник погиб, вернулся. Коля поехал в Москву учиться в Институт кино по технике. Там он и остался, а потом его мать перебралась к нему. Сестра А. А. Волосковой живет в Вологде и, побывав в Москве у Александры Александровны, узнала, что Валерий поступил в Архитектурный институт, но бросил его и работает электриком. Сейчас уже нет в живых Александры Александровны.

...Осенью 1942 года я поняла, что в таком положении мне не выжить. В одну из бессонных ночей пришла мысль рисовать портреты с фотокарточек соусом. Почему не додумалась до этого раньше? Может быть, спасла бы маму?.. Пошла по улицам Вологды, в деревянные дома, подальше от центра. Стала понемногу вечерами и в воскресенье делать портреты, оформляла их в паспарту.

Однажды-таки постигла меня неудача: хозяйка не приняла портрет сына, карточка была маленькая, плохая. Поработав еще, снова отнесла, и снова она сказала, что не похож. Я брала за портрет два кило хлеба, муки или ржи. Вся горка у нее в доме была заполнена буханками, и я предложила отдать ей портрет за один килограмм. Она не согласилась, и я ушла ни с чем.

В эти тяжелые дни меня и молодую художницу Е. Перову вызвали в ПВО, чтобы направить на дежурство на крышах Вологды (немцы были недалеко, Тихвин обстреливали). Сначала повели нас к врачу. Женя благополучно прошла осмотр, а меня отклонили ввиду сильной дистрофии. Тогда Женя, посмотрев на меня раздетую, сказала: «Ну, Нинка, недолго ты протянешь».

Наступила весна 1943 года. Я решила больше по Вологде за карточками не ходить, а дождавшись лета, попытать счастья в деревнях. Кажется, дня на четыре



мне дали отпуск. Поехала поездом в Грязовец, а оттуда пешком по грунтовой дороге в сторону Плоского. Километров через десять свернула налево, заходя попутно в больших селах за карточками и отдыхая по дороге.

На возвышении за ручьем увидела я красивую деревню с действующей церковью и десятком домов. Села с этюдником против самого богатого дома, стала писать красками. Вышла дородная хозяйка, пригласила к себе; я пообещала отдать ей картинку. Она выставила мне чугун картошки, творог, молоко, затем самовар и мед, дала даже кусочка два хлеба. Для меня это был волшебный пир.

Взяла я у женщины карточку сына-фронтовика, чтобы сделать даром ей портрет через неделю. Собрала в этой деревне, которая называлась Николо-Пенье (от слова пень) еще три карточки,— так что через неделю обратно ташила целое богатство; кто-то просил заменить хлеб частично молоком, взяла и молока, а изо ржи дома приготовила кашу в русской печке...

Одно время у Александры Александровны на ул. К. Цеткин был на постое конник. Он приносил хозяйке овес, из которого она варила кисель. Очень издевался надо мной за мою худобу.

— Какая же ты женщина? Кожа да кости! Смотреть не на что! Умирать пора!

Его жестокость поражала меня. А я тогда была настолько голодна, что как-то сгрызла павшую ворону, предварительно сварив ее в чугунке... Но мяса в ней не было, одни жилы...

А теперь у меня были уже и хлеб, и молоко.

Месяца через два отеки на руке пропали.

Когда наступила зима, я уже не ездила в Грязовец, а садилась на поезд до станций Волоцкой или Бурдуково и шла куда глаза глядят, до деревень. Собирала снимки, ночевала и в воскресенье вечером — обратно.

В одной из деревень я не смогла унести кило четыре гороха и оставила в избе бедной женщины, заплатив ей за ночлег. Как же было мне обидно, что она съела весь мой горох за неделю. Я вернулась за ним, а там ничего уже не было. А ведь как трудно мне было добираться до деревень через сугробы снега, в морозы!

Помню такой случай. Получив аванс, я пошла на рынок. Он теперь не существует — там сквер, а через площадь ходят автобусы. А в войну стояли ряды столов, над ними навесы. Рядом толпился народ — в основном старушки, старики, подростки, иногда солдаты из госпиталей. Меняли на продукты что у кого было, продавали продовольственные карточки.

Я увидела за прилавком мужчину, продававшего маленькую фарфоровую чашечку, полную растопленного свиного сала. Просил 300 рублей. Я отдала весь аванс и ела это сало ежедневно по чайной ложечке. Зарабатывала я тогда 600 рублей в месяц.

В другой раз купила рабочую карточку на масло, так как часовщик, что работал на углу улицы Клары Цеткин, согласился починить мне ручные часы за карточку. Они были красивые, с перламутровым ободком, подаренные сестрой, но почти не ходили.

Часовщик сказал: «Механизм плохой, исправлю его недолго, больше месяца не прослужат, продавайте

скорей эти часы». А их увидела одна женщина, в дом которой я заходила собирать фотокарточки, и просила продать. Почему-то я не помню, что за них получила, а врезалась деталь, как хозяйка чистила лук, выбрасывая верхний слой луковицы. Хотела я попросить у нее очистки, но постеснялась: тогда в Вологде лука и за деньги нельзя было достать. «Какая богатая женщина», — невольно подумалось мне.

Вечерами я иногда ходила в кино и драмтеатр. Почти рядом, на улице Клары Цеткин, располагался в здании бывшей, кажется, лютеранской церкви клуб. Называли его «коробочкой». Зал всегда был полон подростков и стариков.

Бывала и в кинотеатре им. Горького, расположенному в бывшей церкви. А в театре (где сейчас ТЮЗ) репертуар был большой и разнообразный, пожилые артисты хорошие, вспомнить хотя бы Казарина. Ставили от классических иностранных и русских пьес до современных. Назову особо запомнившиеся — «Лукреция Борджа», «Обрыв» (по роману Гончарова), К. Симонова «Парень из нашего города» с молодым Сафоновым. Ходила всегда одна, ни подруг, ни друзей у меня не было. Художники жили замкнуто или группами, бывала изредка лишь в семье А. И. Смоленцевой.

Со Смоленцевой мы ходили на пивзавод рисовать этикетки для витамина. Этот витамин — густая, сладкая паста темно-коричневого цвета — не продавался, но нам как-то дали по пол-литровой баночке. Он был сытым, но от него расстраивался желудок, если съешь много. Вместе и порознь мы с ней ходили также по госпиталям развлекать раненых. Я рисовала их портреты и дарила им.

Однажды, идя в госпиталь к зданию бывшей гимназии, где ныне политехнический институт, увидела такую сцену. Пленные немцы мостили площадь, вдруг из госпиталя выскочили несколько раненых на костылях и начали бить ими пленных. Немцы завопили, подняли руки, но сопротивляться побоялись. Через несколько минут санитары увели упирающихся раненых, и все затихло.

В другом госпитале (где сейчас железнодорожная больница) мне предложили нарисовать большой, до потолка, портрет Сталина. Это было перед праздником

7 Ноября. За портрет вручили потом буханку хлеба — незабываемый момент! Ширякин давал мне задания писать гуашью плакаты ТАСС с опубликованных в газетах сатирических рисунков на темы войны, Гитлера в идиотском виде и другие. Рисовала на больших листах бумаги, придумывая цвета, делала обводку тушью, а внизу — короткую надпись, которая была в газете. Висели «Окна ТАСС» на площади, где сейчас памятник Ленину.

В те страшные голодные годы после гибели родителей я была совершенно сломлена духовно. Отдушиной являлись поездки в деревни, общение с природой, которая давала силы и успокоение, хотя бы на недолгое время. Но в дальнейшем судьба оказалась ко мне милостивой: я встретила свое спасение в лице замечательного человека — писателя Владимира Железняка.

В 1943 году мы работали еще в подвале на Пушкинской улице. Приемщица — вдова художника Сысоева Анна Александровна, пожилая, но очень веселая, вечно что-то напевала, так как в молодости даже училась пению в Италии. (Умерла она, прожив около ста лет, в Минске, где жил ее сын — архитектор, лауреат Госпремии.)

Бывал у нас в подвальчике миниатюрист А. И. Брягин, работавший в музее. Как-то зашел он вместе с человеком лет за тридцать, в галифе, с прямой выправкой, похожим на военного,— лицо у него было очень интересным. К нему подбежал Корбаков, говорил, что зайдет вечером... Этот человек, оказывается, недавно стал членом СХ как искусствовед. Заходил он к нам не однажды, и всякий раз я всматривалась, чувствовала, что это человек чем-то замечательный, и захотела с ним познакомиться.

Осенью как-то сказала Володе Корбакову:

— Сведи меня к Владимиру Степановичу Железняку...

Корбаков взял меня с собой, когда пошел навещать Владимира Степановича на улицу Герцена, 76. Домик был однэтажный, принадлежал двум хозяйкам. В передней части жила бывшая высланная по религиозным делам Бекова с хромой дочкой, в задней квартире № 2, что выходила во двор с огородом,— Прасковья Ивановна Палилова, которая раньше была рабочей на железной дороге. Снейжила дочь с сынишкой, ее муж был на фронте. Владимир Степанович жил у нее с

1938 года, после ссылки в Вологду в 1936 году. Сослан он был на три года.

Народу у Палиловой обитало много. В большой комнате жила и своя семья и снимали койку медсестра и рабочая льнозавода, а рядом, в маленькой комнате, у кухни жила еще одна квартирантка. Так что Владимир Степанович имел только угол в крошечной кухне сбоку от русской печки. Рядом у окна стояли столик и табуретка. Мимо ходила квартирантка к себе в комнату.

Днем в большой комнате, кроме хозяйки, никого не было, и можно было сидеть на диванчике.

Но когда мы пришли с Володей Корбаковым, пришлось устроиться в кухне. Володя выспрашивал у Владимира Степановича что-то о философах конца XIX века, потом говорили о Леониде Андрееве. Владимир Степанович был очень интересным собеседником и, как я поняла, эрудитом по многим вопросам гуманитарных наук.

После этого вечера я старалась одна приходить на улицу Герцена, так как меня раздражали сумбурные и бездоказательные споры Корбакова и гораздо интереснее было просто слушать Владимира Степановича.

В одно из первых посещений мне запомнилось, как Владимир Степанович чистил крохотные, с ноготь, картофелины, которые лучше было бы сварить в кожуре. Он делал это так старательно и изящно, что я вдруг почувствовала нежность к этому человеку. А что, если... Я была еще дистрофиком, неполноценным человеком в 1943 году.

Два месяца, с декабря 1943 года, я приходила к нему слушать его рассказы о жизни в Москве и Киеве, об истории и, главным образом, стихи. Он тогда писал стихи и некоторые читал мне. Сидели на диванчике...

И вдруг он мне говорит, что хотел бы кое-что мне сказать, но не знает, как я это восприму, и поэтому не скажет.

Я сказала: пусть говорит, не сомневается. Он сделал мне предложение быть его женой.

Решили праздновать свадьбу 23 февраля 1944 года в день Красной Армии. Дело в том, что к квартиранткам ходили офицеры из близлежащего госпиталя, которые шли на поправку, а также их друзья, служившие в Вологде.



Портрет В. С. Железняка в гимнастерке, Х. М. 1970

Они обещали принести на свадьбу спиртное. Я продала все свои продуктовые карточки и купила на рынке половину маленького барашка.

Пригласили на свадьбу друзей Владимира Степановича — художников А. Брягина, Н. Ширякина, из музея — А. И. Федорова и Е. Н. Федышину. Были офицеры. Пили за окончание войны.

Со старой квартиры я перед этим привезла шуйский сундук, который поставили в угол вместо его раскладушки, вещей никаких не было у обоих. Я ходила в какой-то рухляди, на ногах — мужские бурки, сзади в щели из подошвы вылезала подложенная солома, на голове шапка-кубанка. Видик был — ой-ой! И Володе из всех родных только двоюродная сестра Таня Дуроп послала в Вологду синее байковое одеяло (которое я до сих пор храню) и кое-что из одежды.

Узнала потом, что свататься ко мне советовал Железняку и Александр Иванович Брягин. Расписались мы 18 марта 1944 года. У Володи не было официальной бумаги о разводе, хотя бывшая жена была уже замужем за другим, и мы со страхом шли в загс...

Буквально через несколько дней после свадьбы Владимир Степанович сказал мне, что хочет диктовать мне цикл русских новелл, которые задумал. Села в кухне на табуретку за столик напротив окошка, а он полулежал на сундуке.

Первой продиктованной новеллой был «Изуграф» (изограф), которую он сперва назвал «Одиночество». Я была в восторге. Через три-четыре дня появилась «Царевна Ксения», затем новеллы о Гермогене, Кутузове, Алексее Орлове, Иване Третьем. На удивление было, как человек с тяжелыми головными болями мог писать прекрасные вещи!

А голова у Володи так болела, что он тую затягивал ее узким шарфом. Избавиться от головных болей помог ему известный в Вологде невропатолог-психиатр Листов. Направление к врачу устроил Брягин, поскольку тоже у него лечился. Листов прописал лекарство, предупредив, что этот яд можно достать только в госпитале.

Медсестра достала лекарство по рецепту с несколькими печатями (большую часть в нем составлял стрихнин). Спасибо Листову — головные боли у Владимира Степановича стали редки.

«Диктоваться», как он говорил, было для меня счастьем. Его сосредоточенный, углубленный в себя взгляд в это время я никогда не забуду. Я поняла, что он не только интересный человек, но и серьезный писатель. Он создал новый стиль для русских новелл, так еще никто не писал! Я восхищалась его трудолюбием, работоспособностью.

Кажется, в конце 1944 года знакомый по музею научный сотрудник Венедикт Павлович Горбунов как-то зашел за нами, чтобы свести к своей знакомой, высланной старушке Дарье Михайловне Мусиной-Пушкиной, чтобы почитать ей какую-нибудь новеллу. Она жила на Советском проспекте с сестрой Ольгой Михайловной и была поражена, прослушав «Царевну Ксению». Сказала:

— В молодости я знала Антона Павловича Чехова, и я счастлива, что в конце жизни познакомилась с Вами... Новелла написана белым цветом, это удивительное произведение...

Конечно, мы были растроганы такой оценкой, тем более, что в то время в Вологде никто, кроме А. И. Федорова и А. А. Резухина, не знал его как писателя.

Александр Иванович был много старше Владимира Степановича. До революции он закончил Духовную академию, был философом, эрудитом по церковным делам и, заходя к нам на кухню, много беседовал с Владимиром Степановичем. Для «русских новелл» советы по специфическим деталям церковной обрядности были неоценимы. Изредка заходил и А. И. Брягин, но чаще они встречались в областном музее, где одно время Владимир Степанович занимался охраной и учетом памятников архитектуры и живописи. Еще до меня в Устюжне он брал на учет старинные деревянные домики.

Другим человеком, который в те сороковые годы сразу оценил В. Железняка, как писателя, был ревизор облисполкома Алексей Алексеевич Резухин. Познакомились они где-то в районе, в командировке. Резухин был неподкупным, честным человеком, и ревизованные очень опасались его.



В Вологодском кремле

Мать Резухина была первой женщиной-фармацевтом в Вологде. Прожила за 90 лет. Она была религиозна (ее отец был протоиереем) и настоятельно советовала сыну идти в священники.

У Алексея Алексеевича был прекрасный баритон, и он считал, что у него два выбора: идти учиться на артиста или же — в священники. «Боюсь, что в артистической среде сопьюсь,— говорил он — лучше буду пастырем».

А. Резухин закончил духовную семинарию и стал настоящим пастырем, честным, умным, убежденным в своем призвании. Служил в Туле, потом — в Богородицке. В Вологду приезжает редко.

Благодаря Владимиру Степановичу Резухин познакомился с молоденькой сотрудницей областного музея Лидой, которая стала женой Алексея Алексеевича на всю жизнь, родив ему пять детей.

Летом 1945 года к нам на кухню явилась командированная из Москвы (не знаю, по каким делам) писательница Анна Гарф. Владимир Степанович читал ей новеллы.

— Вы сидите на мешке с золотом! — воскликнула она.— Вы замечательный писатель.

Через несколько дней она уехала.

Поначалу в Вологде Владимира Степановича никуда не принимали на работу, с трудом удавалось изредка поместить в местной газете какой-либо очерк или статью. Опубликовал он очерк и о дочери хозяйки Груне Палиловой. Печатали еще под псевдонимами. Пришлось искать защиты у А. А. Фадеева, и в 1940 году Владимир Степанович написал ему письмо: жить не на что, никуда не принимают на работу. Александр Александрович ответил ему в Вологду и вызвал в Москву, сообщив об этом по телефону секретарю обкома партии по идеологии Клишину.

Встретился Владимир Степанович с Фадеевым на его даче. Рядом была дача В. М. Молотова. Конечно, эти дачи охранялись, и когда В. С. шел по шоссе от остановки поезда не раз из кустов выныривали люди в зеленой форме, проверявшие у него документы. Это тем более неудивительно, что одет был Железняк в лыжный костюм: другой одежды он попросту не имел.

Фадеев угостил В. С. пивом (привезенным только что В. М. Молотовым из Европы) и хорошо с ним поговорил. Предложил перевести его в другой город, где существует Союз писателей, и даже сделать ответственным секретарем Союза.

— Можно в Воронеж,— сказал он.

Владимир Степанович не согласился:

— Пусть лучше останусь в Вологде.

— Ну, тогда я позвоню туда, чтобы Вам подыскали работу.

В Москве Фадеев устроил В. С. бесплатные талончики на обед в Дом литераторов, но когда Железняк зашел туда, многие старые знакомые делали вид, что не узнают, отворачивались.

Вдруг он услышал голос Всеволода Вишневского:

— Кажется, Володя Железняк? Идите к нам за столик, мы тут с Юрием Олешей.

Обоих Владимир Степанович знал. Они предложили

ему свои талоны, но В. С. сказал, что Фадеев их ему устроил. Поговорили. Кое-кто после этого в столовой стал с ним здороваться.

А позднее, заехав в Вологду, Вишневский говорил одной из дам, имевших отношение к культуре (не то из театра, не то из управления культуры), что он знает Железняка, который живет сейчас в Вологде как хорошего писателя.

После встречи летом 1940 года А. Фадеев позвонил в Вологду т. Клишину. Владимира Степановича приняли литсотрудником путейской газеты «На стройке» — Вологда-Архангельск.

Там, на вторых путях, на станции Плесецкая Владимир Степанович видел работающих репрессированных людей, основной контингент строителей. Писал о них очерки. В. С. было тяжело на все это смотреть, и вскоре он ушел оттуда, поступив в музей по охране памятников.

Позднее Железняк обращался к Фадееву в 1954 г., когда написал пьесу «Олечка», и в 1956 г. Фадеев обещал попытаться устроить постановку пьесы в Малом театре. А «Новеллы о Достоевском», часть которых была написана до 1956 года, Александр Александрович хотел предложить в «Новый мир», но, увы, буквально вскоре после этого письма¹ он ушел из жизни.

На улице Герцена, 76, в домике Прасковьи Ивановны Палиловой В. С. жил с 1938 года. При нем потеряла мужа хозяйка, ушел на фронт, а затем, вернувшись, умер зять. В. С. много занимался с сыном Груни Палиловой Гошой. Став инженером после института, Игорь ни разу не навестил Владимира Степановича.

А Груня вышла замуж за вдовца с тремя детьми, поставила их на ноги, они любили ее как мать.

Когда я водворилась на улице Герцена, Владимир Степанович мне сказал, что ему необходим для работы крепкий чай:

— Ничего мне не надо, только бы был чай!

Легко сказать — пачка чая на рынке стоила буханку хлеба!

¹ Письма А. А. Фадеева сданы в областной архив Вологды, где у Железняка имеется личный фонд.

После свадьбы я продолжала ездить на поезде в деревни за фотокарточками фронтовиков, с которых рисовала портреты 24×30 , вставляя их в паспарту, и, вероятно, доставала чай, меняя на хлеб. Помню, варила кашу изо ржи в русской печке; кашу ели с молоком, а иногда с льняным маслом, что приносила с льнозавода одна из квартиранток. Но кончилось это трагично.

Как-то с ночной смены, вылезая из-под ограды завода, она попала на оголенный провод, и утром нашли ее обугленный труп.

Владимир Степанович до меня не платил за угол хозяйствке, отдавая ей продуктовую карточку ИТР как член СХ, и, вероятно, она подкармливала его. При мне мы столовались уже отдельно. Карточку ИТР в конце 1944 года ему заменили на «литерную Б», так как Америка и Канада стали посыпать нам продукты. Незабываемы мгновения, когда вскрывались банки с тушонкой (американская тушонка была в литровых круглых жестяных банках и более жирной, чем канадская,— в двухлитровых кубических); когда можно было съесть сразу несколько кусков сахара, и мы даже меняли сахар у хозяйки на картошку.

Я перестала ездить в деревни и делать портреты.

В конце июля 1944 года я взяла отпуск с добавочными днями за свой счет (на месяц) и повезла Владимира Степановича за Грязовец, в Николо-Пенье.

От Грязовца мы пошли пешком по шоссе, около двадцати километров. Я шла босиком. На полдороге увидели, как пленные немцы мостят шоссе. Делали они это аккуратно, подгоняя камни. Увидя нас, некоторые бросили работу. Запомнила из них двоих. Пожилой, седой, с благородным лицом мужчина посмотрел на нас с интересом, внимательно. Другого я мысленно охарактеризовала эсэсовцем — столько злости было у него во взгляде: молодой, высокий, здоровый, смотрел он на нас с ненавистью.

Красивые гористые места.

Деревня Николо-Пенье стояла на высоком берегу Куломы. Навестив там моих знакомых, мы пошли по их

совету на другой берег через мостик, в деревеньку, где осталось всего три дома. Два из них были заколочены, в третьем жила Евстolia с сыном-школьником, она-то и сдала нам большую комнату. Печку она не топила, и я готовила пищу на костерке, ставя кирпичи. Брала за рисование портретов — картошку и молоко, яйца и хлеб. Потом пошли грибы, в основном подосиновики. Неподалеку, на Ростиловском маслозаводе, нам продали с полкило чудесного сливочного масла, какого мы раньше и не пробовали.

Достопримечательностью этих мест был Павло-Обнорский монастырь, километрах в двух-трех. Мы провели там почти целый день. Посередине монастырского двора — высокая насыпная горка, на ней росли высоченные ели. Замечательная выдумка монахов! Ах, через десяток лет все эти ели вырубили, остался голый холм странного вида. Там, в монастырских зданиях, поначалу обитали несовершеннолетние правонарушители, а позднее — пионеры. Стало называться это селение Юношеским.

(В 1985 году мне очень захотелось побывать там, вспомнить молодость. Я уговорила соседку по Ивановскому В. А. Дмитриеву, и мы отправились на автобусе от Маркова в сторону Плоского. От шоссе до Юношеского пришлось идти по новой дороге через лес четыре километра. С нами был и внук Дмитриевой Алеша. Сфотографировала я старую березу, где мы отдыхали с Железняком в 1944 году, постройки монастыря, холм, на котором кое-где по бокам выросли молодые ели.)

Возвратившись из Николо-Пенья в августе 1944 года в Вологду, я стала брать из мастерских товарищества «Художник» работу на дом. Надо сказать, что с 1944 года отпала необходимость в «задрайках», мне разрешили делать маслом на больших холстах картины сrepidукций. Это были, главным образом, натюрморты.

Больше всего я написала «Сиреней» Кончаловского, затем — натюрморты Хруцкого, сама предлагала увеличить со старинных открыток пейзажи художников начала XX века, например, Горбатова, работавшего в стиле Жуковского. Так что я была счастлива находиться дома и писать маслом в большой комнате Палиловых.

Железняк продолжал диктовать мне русские новеллы

и в 1944, и в 1945 годах: «Кабинет-министр» (о Волынском), «Как хороши, как свежи были розы» (о Тургеневе), «Композитор» (о Мусоргском), о Куприне и Льве Толстом. Начаты были в 1945 году и новеллы о Достоевском, которые писались на протяжении почти сорока лет.

Рано утром 9 мая 1945 года нас разбудил громко звонивший и стучавший лейтенант Анатолий — друг квартирки Нины, жившей рядом с кухней. Явился с бутылкой спиртного, с немецкой палочкой, подобранный еще в войну на одном из вокзалов Германии, и черным цилиндром.

— Война кончилась! Ура!

Конечно, весь дом вскочил, начали целоваться, распечатали бутылку. Посидели с Анатолием на кухне — он любил поболтать с Володей, и соседка даже ревновала его.

Заходили к Володе на улицу Герцена кое-кто из молодежи. Особенно любил его студент пединститута Николай Паутов, который впоследствии стал учителем истории на родине, в Корбанге, и создал там народный музей. Он был лучшим другом поэта А. А. Романова, его земляком. Погиб в начале 80-х годов, уже после 75-летнего юбилея Железняка (он тогда был у нас на улице Кирова), погиб трагически — при пожаре.

В те первые годы нашей жизни Володя много рассказывал мне из своего прошлого, о том, что бабушка его по фамилии Давыдова — внучка знаменитого Дениса, а дедушка — генерал Дуроп. В детстве и юности Володя перечитал всю библиотеку деда, военную историю, историю геральдики и т. д. Он знал досконально все знаки отличия, знал, какие русские полки и в какие годы носили определенную форму, знал историю русских чинов, названий служащих. В общем, был в прошлых веках, как у себя дома.

Отец — большой деятель последнего царствования — Степан Петрович Белецкий намеревался сделать сына военным историком, видя этот его интерес.

Об отце он тоже рассказывал. Говорил, что это был

обаятельный человек, умевший расположить к себе даже противников. Например, был такой случай: к Степану Петровичу пришел студент высказать ему нeliцеприятные вещи, но через некоторое время покинул его кабинет, переменив мнение о сенаторе. Белецкий был умным дипломатом: присутствовал, например, при открытии синагоги в Самаре, и его речь покорила евреев. Он познакомился с будущей женой Ольгой Константиновной в Ковно, где служил у губернатора. Там он изучал фольклор и написал книгу «Сказки Привисленского края». Быстро шел по служебной лестнице. В Ковно его заметил П. А. Столыпин, перевел вице-губернатором в Самару, с 1909 года С. П. уже в Петербурге — вице-директор департамента полиции, затем, после гибели Столыпина — директор. А перед самой войной 1914 года, ввиду дворцовых интриг, переменил службу, стал возглавлять Красный Крест.

На квартиру в Петербурге к Белецкому иногда заходил кое-кто из крупных деятелей в служебном порядке и останавливался всегда перед бюллетенем на стене, который выпускал тринадцатилетний сын сенатора Белецкого Володя. В газете сообщалось — куда выехал сенатор, кто у него был и т. д.

Наконец Степан Петрович увидел это произведение сына, устроил ему выговор вплоть до наказания, и выход бюллетеней прекратился. У Володи были брат и сестры. Брат умер в 1915 году, старшая сестра Наташа покончила с собой в Киеве, а младшая жила там до 1983 года и переписывалась с ним.

Мать у Володи была красивой женщиной, и муж ее обожал, как и всю свою семью. Когда Белецкому предложили занять пост директора Госбанка с громадным содержанием, Ольга Константиновна уговаривала его: ей хотелось, чтобы он ушел с прежней должности. Жили они скромно, на сравнительно среднее жалование, муж не воровал, хотя у него были в несгораемом шкафу неподотчетные средства. Как рассказывал Владимир Степанович, отец любил власть и говорил, что когда-нибудь будет премьер-министром.

Мать, как и бабушка Ольга Ивановна, любила вкусные, сладкие вещи, они ходили в кофейни Петербурга



Санкт-Петербург

кушать пирожные, а если к ним привязывался Володя, то О. И. всегда предупреждала — «не зови меня бабушкой» (она выглядела очень молодо).

Услышала я от Володи и о том, как после ареста отца он увидел в газете, идя по улице, сообщение о расстреле царских чиновников, в том числе Белецкого.

Дело Белецкого вел старый большевик Н. В. Крыленко. Он сообщил перед этим Ольге Константиновне, что Белецкого ждет недолгое тюремное заключение, так как он не замешан ни в каких сделках, воровстве и т. д. Но — увы! — покушение на Ленина в 1918 году перемешало все карты. Царских чиновников перевели в

ведение военного трибунала, так как был объявлен красный террор.

Мать в то время работала сестрой милосердия в госпитале. А что делал Володя в это время — описано у Владимира Степановича в рассказах «Оловянные солдатики» и «Бобрик».

Мать пошла вскоре на прием к А. М. Горькому с просьбой, чтобы семье дали пропуска уехать на юг, где в Пятигорске на ее имя Белецким была куплена дача. Двинулись все туда, распродав по дешевке вещи в Петрограде. Мать уступила дачу в пользование детскому учреждению, а сама потом занимала небольшую часть комнат. Позднее дача так и досталась безвозмездно государству.

Надо сказать, что уже в Пятигорске в 1920 году Володя много печатался в газетах «Красный Пятигорск», «Красный Терек». Работал он тогда экскурсоводом, а печатать его стал Борис Горбатов, с которым он там познакомился.

Вскоре семья переехала в Киев, где Володя изучал живопись, фрески в соборах — затем это отразилось в повести «Пассажиры разных поездов», написанной в 1931 году.

Занимаясь в Киевской библиотеке, юноша собрал большой материал о декабристах и написал целый труд. Он поехал в Москву, рассчитывая на Институт красной профессуры. Посмотрели там это сочинение — и приняли автора сразу без экзаменов. Но, идя по московским улицам, Володя увидел объявление о приеме на ВГЛК им. Брюсова. Показав там бумажку о приеме в Красную профессуру, Железняк получил добро, только был обязан сдать экзамен по истории. По билету он получил вопрос — «Концы Великого Новгорода» и рассказал много по этой теме. Его приняли.

В Москве он стал жить на Малой Бронной у семьи Дуроп (Иван Дуроп был родным братом его матери), где и познакомился с двоюродной сестрой по тетке — Ксенией, на которой женился.

Иван Дуроп, дядя Владимира Степановича, был выдающимся человеком: закончил с золотой медалью лицей, знал многие языки, в советское время стал одним из

организаторов Уголовного розыска — как юрист, затем занимал видный пост в «Экспортхлебе». Исключительный был собеседник. К нему на Малую Бронную заходил в гости потолковать Павел Антокольский.

Володя тогда еще жил у дяди. У Антокольского научился он по линиям рук определять характер человека и его будущую жизнь (затем — и по картам). Тот относился к предсказаниям серьезно, как к науке. Володя очень уважал его как поэта и человека. Любил он в те годы и стихи Бориса Пастернака. Знаком был с ним мало, только встречался в столовой Союза писателей на улице Герцена. Пастернака печатали редко, и Владимир Степанович записывал его стихи в маленькую записную книжку. В Вологде потом — тоже. Просил это делать и меня, если в газетах появлялось что-либо Бориса Леонидовича. Помню стихи «Все нынешней весной особое...». В подражание Пастернаку молодой Железняк начал носить на лбу закругленную прядь, которая осталась у него с тех пор на всю жизнь. Молодой Владимир Белецкий решил взять псевдоним «Железняк», услышав от младшего брата отца — Александра, что в роду у них был знаменитый руководитель (вместе с И. Гонтой) Крестьянской войны на правобережной Украине в 1768 году против панского гнeta Максим Железняк. Называлось восстание «Коливщина». После подавления восстания был сослан в Сибирь.

Писательские дела в Москве у Железняка пошли хорошо. Написав в 1930 году повесть «Она с Востока», он понес ее в альманах «Недра». В этом издании публиковались только крупные писатели — Алексей Толстой, В. Вересаев, Андрей Платонов, Б. Пильняк. А тут вошел в редакцию альманаха молодой человек в подвязанных веревочкой ботинках, так как подметки отставали, спортивном костюме. Ему сухо объяснили, что ему лучше было обратиться в другой журнал, не столь серьезный.

Он увидел развалившегося в кресле Алексея Толстого, ковры и, робя, все же просил прочесть повесть.

— Зайдите через месяц.

Через месяц повесть еще не прочитали, но вскоре ему сказали, что она будет печататься в книге 18 альманаха за 1930 год. Оказывается, повесть очень понрави-

лась В. В. Вересаеву, и старый писатель после этого стал как бы курировать молодого. Приглашал его на квартиру, чтобы поговорить с ним и покормить (он получал академический паек). Потом, заметив, что Железняку не дается описание обстановки жилья, стал запирать его на ключ в своем кабинете, давая задания: «Опишите эту комнату». Вересаев командировал Володю в Ленинград, где тот должен был собрать кое-какой материал для его книги о Пушкине. Там он работал в Пушкинском доме и в библиотеке им. Шедрина, где познакомился с М. Зощенко. В свободное время Железняк зашел к вдове писателя В. Гаршина Надежде Михайловне.

Дело в том, что Владимир Степанович первым в советское время написал и опубликовал в газете большой очерк о Всеволоде Михайловиче, поэтому Надежда Михайловна с большой радостью приняла Железняка. Она много рассказала тогда ему о муже и о последнем дне его жизни, когда тот выбросился в пролет лестницы. С ним были часы, и Гаршина подарила их (треснувшие и остановившиеся в момент падения) Володе. Эти часы Владимир Степанович снес потом в Пушкинский дом. Позднее, в Вологде, написал он о Гаршине пронзительную новеллу...

От альманаха Владимир Степанович взял командировку на Украину, чтобы увидеть ход коллективизации, и стал писать роман о художниках, где были и главы о периоде 29-го года на Украине. Роман назывался «Пассажиры разных поездов», его опубликовали в «Недрах» (№ 20, 1931).

Роман «Пассажиры разных поездов» Вересаеву понравился не очень, но когда в 1934 году в «Энамени» появился рассказ «Оловянные солдатики», Вересаев, встретив своего подшефного, сказал:

— Этот маленький рассказ — большая литература...

Позднее, когда Железняк уже сидел в тюрьме, в 1935 году, следователь уведомил его, что за него хлопочут рабочие трампарка и писатель Вересаев. У девушек трампарка Володя вел литературный кружок, выпускал газету «За здоровый трамвай».

Тяжело было Владимиру Степановичу прочесть некролог Вересаева в начале войны. Он долго плакал.

В годы учебы на ВГЛК В. С. Железняк познакомился с известным литературоведом Иваном Никаноровичем Розановым. Володя приходил к нему на квартиру побеседовать, посмотреть редкие издания книг, иногда оставался у них на обед и чаепитие. А библиотека Ивана Никаноровича была грандиозная, он советовал Володе написать художественно-документальную повесть о своем предке Денисе Давыдове.

— Пользуйтесь моей библиотекой, вы найдете много нужных для книги материалов.

Сидя на диванчике у Палиловых, рассказывал В. С. о своей дружбе с писателем Юрием Домбровским, который учился на младшем курсе ВГЛК. Он был талантлив и оригинальничал: на столе у Домбровского стоял череп и висело изречение: «Оставь надежду — всяк сюда входящий». Юрий любил собирать вокруг себя шумную компанию, был остор на язык. В тридцатых годах его отправили в лагерь, он оттуда сбежал и снова арестованный отхватил еще десять лет. А между тем, его мать, доктор биологии, была лауреатом Сталинской премии. В лагере Домбровский потерял все зубы; второй раз бежал из лагеря — срок прибавили, а потом его отправили на проживание в Казахстан.

Там и написал он роман «Обезьяна приходит за своим черепом». В одном из журналов, куда он послал его, роман разругали (не опубликовав), вернее, автора — как политически подозрительного человека. После этого его выгнали из университета Алма-Аты, где он преподавал литературу, и знакомые перестали с ним здороваться.

Домбровский послал роман В. Каверину — тот прочел и совместно с М. Шагинян написал ему о нем восторженный отзыв, одновременно настаивал в СП, чтобы опубликовать «Обезьяну...». «Обезьяна» выходит в 1959 году в издательстве «Советский писатель», позднее — повесть «Хранитель древностей» («Новый мир», 1964), а затем «Смуглая леди» — новеллы о Шекспире (1969 г.). Автора вызывают в Москву Жданов и Александров (министр культуры). Домбровскому выплачивают аванс за «Обезьяну», который он тут же и спускает с при-

хлебателями, сумев купить только велюровую зеленую шляпу.

Мы с Железняком приехали в Москву и встретились с Домбровским (он получил комнату) как раз в это время. Домбровского можно было заслушаться, настолько блестяще, остроумно он рассказывал о своем пребывании в Москве, читал стихи.

Рассказывал Володя и о своем друге по ВГЛК Сергеем Морозове. Тот еще в юности держался очень солидно, человек эрудированный, выдающийся, он ставил в тупик преподавателей. Морозов интересовался русскими философами, написал труд об Аполлоне Григорьеве, однако в то время никакое издательство не взялось бы опубликовать его, на что он и не рассчитывал.

Когда в 60-х годах мы были у Морозова дома, в Москве, он как-то сказал:

— Ты пишешь, Володя, для заработка о кружевах, а мои «кружева» — это статьи о фотографии.

Даже в Китае в шикарном издании вышел альбом статей С. М. о фотографии как искусстве. Сам он не брал в руки фотоаппарата, но считался знатоком-теоретиком и входил в редколлегию журнала «Советское фото», куда потом рекомендовал и снимки вологодского фотографа П. Мошкова. Основное в литературном наследии Сергея Морозова — это его труды о С. Прокофьеве и И. Бахе, изданные в серии ЖЭЛ, а заказанную ему книгу о Шостаковиче написать не успел — он скончался в 1983 году.

Во времена юности дружил Железняк еще с двумя литераторами. Вместе ходили пить пиво, до которого Володя в ту пору был большой охотник, удостоился даже эпиграммы:

Железняк не от слова железный,
Железняк никогда не плавится.
Но скажи ему — хочешь выпить?
И он тотчас в пивную отправится.

Эти двое были поэты — Ярослав Смеляков и Сергей Васильев.

О «Ярке» Смелякове Володя говорил много хорошего, а Васильев сыграл в его судьбе неблаговидную роль. Смеляков, как и В. С., был сослан, но после лагеря на

Севере вернулся в Москву, прославился и стал даже лауреатом.

А Сергей Васильев женился на бывшей жене Владимира Степановича Ксении, которая после ареста Железняка от него отказалась. Впрочем, Владимир Степанович говорил, что последние месяцы у него с женой были уже нелады и назрел разрыв. Прижив от Васильева дочку, Ксения разошлась с ним. А у Железняка еще раньше появилась от Ксении (в 1931 году) дочка Ванда, которой было около пяти лет, когда его выслали из Москвы. Какие-то гроши он на нее посыпал из Вологды через сестру Таню Дуроп, он ведь очень мало зарабатывал, пока снова не стали выходить книги.

После развода с С. Васильевым Ксения послала Ванду в Вологду (девочка заканчивала десятилетку) летом 1948 года. Музей организовал тогда экспедицию в Устье-Кубенское для собирания предметов старины. В ней участвовали работник отдела истории А. А. Миров, реставратор Н. И. Федышин и нас трое (вместе с Вандой). В Устье-Кубенском мы прожили более недели. Собирали этнографические вещи, смотрели места раскопок, я делала зарисовки, а Владимир Степанович много времени проводил в мастерской кружевоплетения, где изучал устьянские, особых узоров кружева.

Потом мы поехали за несколько километров втроем по речушке, наняв лодку, в деревню Фелисово на фабрику рогового промысла. В цехе было, как в аду, воняло распаренными коровьими рогами, стоял пар, духота. Но жители предпочитали работать там, а не в колхозе, где они получали по 100—200 граммов на трудодень. В Фелисове я нарисовала с натуры несколько рабочих за продукты, главным образом яйца. В лес мы в Фелисове не углублялись, так как там водились гадюки.

Вернувшись в Устье, на пароходе уже добирались в Вологду.

Только через тридцать пять лет после этого я узнала, что Ванда приезжала тогда с предложением к отцу сойтись снова с матерью. Видимо, чтобы не травмировать меня, Владимир Степанович мне никогда не говорил об этом. Он и в Москву не вернулся с предоставлением площади, когда это стало возможным после 1956 года. К этому



Гаврииловский корпус Вологодского кремля

времени Вологда стала для Владимира Степановича родным городом. А Ванда приехала сюда после этого лишь на похороны отца.

Материальное положение после войны было у нас тяжкое. Построив для областного музея на голом месте два отдела — исторический и художественный, Железняк был уволен под предлогом перевода художественного отдела в картинную галерею.

Но о музее — по порядку.

Когда военные, временно занимавшие помещения музея, выехали из него осенью 1945 года, дирекция предложила В. Железняку создать в освободившихся залах отдел истории, при этом обеспечив нас жильем в башне Кремля. Он, понятно, согласился.

Комната на третьем этаже (первый этаж был полу-подвальным), большая (28 метров) и светлая, располагалась в башне старинной Цифирной школы. Голландская печка с плитой в углу у двери, но никаких других удобств там, конечно, не было. Сначала с дровами приходилось плохо, я возила их с базара, покупая саночкиами, потом уже — возами. Приходилось носить дрова на верх по темной лесенке. Колонка с водой находилась далеко, напротив здания пединститута, за Госбанком. (В самом музее проведен водопровод и сделано отопление гораздо позднее.) Приходилось нанимать музейную уборщицу, чтобы носила наверх дрова и по два ведра воды через день. Жилье, таким образом, обходилось нам недешево. Но комната была теплая, особенно когда мы поставили добавочно у окна, выходившего на парк ВПВРЗ, еще кирпичную печку, также с плиткой.

А вид из окон был удивителен: одно выходило на Софийский собор и колокольню, два других — на Соборную горку и реку Вологду. Прожили мы там 19 лет — с 1945 по 1964 год.

Своей мебели, кроме сундука, у нас не было, и музей дал в пользование маленький столик, который стал письменным, этажерку, табуретку, развалюху-гардероб и широкую, длинную старинную лавку со спинкой из выточенных балясин. Ее мы поставили к стене за обеденным столом, который купили у знакомых за шесть рублей. Купили и старую железную кровать с матрасом. А года через два-три обзавелись с газетных гонораров на базаре самодельной горкой за 23 рубля. Стулья купили на «Царевну Ксению», опубликованную в «Вологодском комсомольце», называвшемся тогда «Сталинская молодежь». Я несла их из хозяйственного магазина на рынке, и музейщики говорили: «Железняки купили стулья!». Это было событие.

...В первые годы я работала дома, делая всякие диаграммы с картинками гуашью. Тогда начиналось увлечение в стране всякими выставками: сельскохозяйственными, промышленными и т. д. Область старалась похвастать своими достижениями. Продолжалось это лет пятнадцать, но в пятидесятых годах меня посадили за работу над портретами сухой кистью. Делала портреты Ленина, Сталина, членов Политбюро, позднее стали поступать



Башня Цифирной школы

заказы из школ на портреты писателей-классиков и ученых.

Приходилось самой натягивать на подрамник бязь для 25-30 портретов в месяц (80×60), затем грунтовать kleem с белой гуашью, накладывать трафарет портрета, проколотый точками, и рисовать в растирку масляными красками.

Иногда попадали ко мне заказы и масляной живописи на холсте портретов Ленина. Эти оплачивались втрое дороже, то есть пятнадцать рублей вместо пяти. Два-три раза в месяц портреты принимал худсовет, а затем в конце месяца — цензор. Только через несколько лет я научилась писать портреты быстрее. И у меня после сдачи их в конце месяца оставалось свободных дня два-три, которые я использовала для творческой работы.

Всесело занятый музейной службой, Владимир Степанович поначалу не мог плотно сесть за письменный стол. Тогда мы решили, что терять времени нельзя и надо хотя бы попытаться пристроить «Русские новеллы». Мы послали их в Ленинград, в журнал «Звезда», и какова же была наша радость, когда получили замечательный отзыв о них профессора В. В. Мавродина и литературного редактора журнала О. Спектора (24 ноября

1945 г.). Но вскоре — страшное разочарование: выступил Жданов с критикой (мягко выражаясь) Анны Ахматовой и Михаила Зощенко, обрушился на ленинградские журналы «Звезда» и «Ленинград», в портфелях которых лежат «ненужные» советским людям произведения.

«Ленинград» закрыли, «Звезду» прижали, и остались не опубликованными в течение десятилетий «Русские новеллы» В. Железняка... Правда, в местных газетах они постепенно по одной печатались. «Изограф» появился в альманахе «Литературная Вологда» (1956), в нем же в 1959 году — новеллы «Кабинет-министр» и «Парадиз». Новелла «Как хороши, как свежи были розы» увидела свет в 1958 году в Архангельском альманахе благодаря Евгению Коковину. Он приезжал для связи с писателями Вологды, познакомился и с Железняком, провел у нас, кажется, два вечера. Новеллы о Ф. М. Достоевском также понемножку появлялись в вологодских газетах.

Опубликованные в газетах новеллы о Федоре Михайловиче В. Железняк послал в московский музей писателя. Тогда директором там была Галина Владимировна Коган. Она и пригласила его в музей-квартиру Достоевского, чтобы устроить литературный вечер — чтение автором новелл о Федоре Достоевском. Надо сказать, что несколько раньше нас посетил в Вологде ученый Владимир Лобанов. Он заверил, что если Железняк согласится на вечер, он приведет туда кое-кого из специалистов по Достоевскому. 15 февраля 1957 года вечер состоялся. Владимир Степанович читал свои новеллы, сидя за столом писателя Федора Достоевского. Народу было немного, комната небольшая. Кроме Владимира Лобанова, помню знаменитого профессора-психолога Журавского, знатока Достоевского. Они и некоторые другие держали записные книжки с авторучками, но по мере чтения ручки откладывались. Присутствующие были захвачены новеллами. Раскрыли дверь в другую комнату, там тоже появились слушатели, стояли, не двигаясь...

Счастливейший день нашей жизни: такого успеха мы не ожидали! Директор и слушатели решили написать протокол выступления и послать письмо в Вологодское

книжное издательство, которым руководил тогда В. М. Малков, с предложением издать эти новеллы. Увы, книга «Последние годы Федора Достоевского» увидела свет только четверть века спустя, к 80-летию автора (но и тогда Г. В. Коган поддержала заявку письмом). За год до смерти Владимир Степанович держал в руках самую дорогую для него книжечку — дело всей его жизни.

Первым опубликованным в Вологде произведением Железняка стал изданный в 1947 году областным музеем путеводитель по городу — «Вологда». Это была и первая книга о городе в советское время, в расширенном виде переизданная в 1963 году. А в первые вологодские годы было написано, помимо стихов, несколько прозаических произведений. Историческое повествование «Под двуглавым орлом» было в основном готово уже тогда и принято к изданию с положительной рецензией Е. Коковина, но «застяло» в издательстве, так что автору даже пришлось возвращать аванс. В 1942 году была написана пьеса «Мечи и кресты» из эпохи Александра Невского. Она была одобрена в Москве, но так и не была поставлена.

В пятидесятых годах и позже в Москве ученым секретарем Союза художников СССР работал Виктор Михайлович Лобанов. Он был женат на дочери Гиляровского и жил в квартире писателя в Столешниковом переулке. Вокруг Виктора Михайловича образовалась группа творческой интеллигенции, поклонников ляди Гиляя. В нее входили писатели Владимир Лидин и Александр Зуев, искусствовед и литературный критик Н. И. Замошкин, артист художественного театра Юрий Ларионов. Все они приезжали в Вологду и заходили к нам в башню. В дальнейшем В. Железняк постоянно переписывался с этими людьми, но, к сожалению, Н. И. Замошкин вскоре умер. Лидин писал Владимиру Степановичу до самой смерти и не однажды навещал нас в Вологде. Ларионов не раз приезжал с артистами МХАТа, которые выступали с концертами. Посещал нас в башне приезжавший из Москвы искусствовед Николай Николаевич Третьяков (племянник знаменитого П. Третьякова), с которым В. С. в дальнейшем многие годы переписывался.

С середины пятидесятых годов появляется множество статей В. Железняка в местных газетах. А. В. Круглова



Улица в Тотьме

он вытащил из забвения в связи с работой над Достоевским. Открыл для широкого круга читателей Феодосия Савинова — автора песни «Слышу пенье жаворонка», и поэта Василия Сиротина, который написал стихи «Улица, улица...», тоже ставшие песней. Писал он о Лескове и Гаршине, о других писателях — известных и забытых, об ученых-краеведах и художниках...

Редактором газеты «Красный Север» в то время был замечательный человек Константин Николаевич Гуляев. Он очень хорошо относился к Железняку, не боялся печатать его, ссыльного, несмотря на «предупреждения» из Союза художников председателя С. В. Кулакова. Гуляев не только печатал то, что предлагал В. С., но и давал ему командировки по области в разные районы.

Запомнилась командаировка в вожегодские леса, к лесорубам. Тогда не было электропил, и лес рубили топором, пилили. Работали там в основном высланные украинцы. Я даже нарисовала портреты двоих из них. Из Вожеги мы ехали на санях в мороз. На обратном пути с нами были самодеятельные юные артисты. Они рассказали, что когда добирались в леспромхоз, с ними ехала собачонка. Она иногда бежала за санями. И ее



У Рыбинского моря. Село Мякса

догнал волк и растерзал. Очень ребята переживали за этот случай.

Ездили в мае мы на Рыбинское водохранилище, в Мяксу. Как-то провели день на искусственном песчаном острове у рыбаков. Ловились громадные щуки, но, увы, когда катер запаздывал их забрать, рыбакам приходилось сотни килограммов закапывать в песок: погода тогда стояла неимоверно жаркая. По другую сторону острова — громадный сухой сосново-еловый бор в воде. Как скелеты руками, перестукивались деревья ветками без хвои. Страшная картина! Не пожалели затопить прекрасные боры и луга! За сеном жители, еще державшие скот, ездили на другой берег рукотворного Рыбинского моря.

В Череповце, который в то время был еще славным, небольшим городком с красивым парком, мы познакомились с директором местного музея К. К. Морозовым и в дальнейшем держали с ним связь. Как-то летом поехали мы в Харовск и познакомились с журналистом и коллекционером марок и медалей Степаном Морозовым, удивительным по увлеченности человеком.

В результате таких поездок публиковались газетные очерки, накапливались впечатления. Особенно содержа-

тельной для В. Железняка оказалась поездка в знаменитый колхоз «Аврора» Грязовецкого района. Она дала ему материал для будущей «Повести о творчестве», над которой писатель активно работал в 1955 году, и тогда же отдал ее в книжную редакцию. Редактор С. В. Викулов устроил обсуждение, а вернее — осуждение. Резко выступил В. В. Гура, а редактора К. Гуляева, который одобрял повесть, как нарочно (?) не оказалось (был в командировке), и еще кто-то громил повесть. Ужасный был разнос! Конечно, издавать отказались.

В отчаянии пришла мысль написать в Вешенскую М. Шолохову. Но это письмо написала Михаилу Александровичу я, не показав его Владимиру Степановичу, я не скрывала его происхождения.

Очень скоро пришла телеграмма: «Высыпайте рукопись». Мы послали, и, не задержавшись, она вернулась обратно с осторожными карандашными пометками писателя на полях. В письме было написано, что он считает возможным издать книгу с некоторыми редакторскими правками рукописи.

Жаль, что Владимир Степанович стер замечания Михаила Шолохова после исправления рукописи, так как у нас не было денег на новую машинопись. Помню только восклицания М. Шолохова против некоторых слов главного героя-художника. Он писал: «Ф. Д!». С тех пор до своей смерти Шолохов постоянно присыпал Железняку письма и телеграммы к праздникам (находятся в Госархиве и областном музее). В облисполкоме, ознакомившись с письмом Шолохова, видимо, очень удивились и посоветовали Малкову печатать повесть, которая и появилась отдельным изданием в конце 1956 года. Но ее многострадальный путь не закончился. В «Литературной газете» какой-то вития И. Окунев издавательски обрушивается на повесть. Железняк пишет протест в газету. Ему в ответ сообщают, что после инцидента этот критический боец отстранен от занимаемой должности. Надо сказать, что в защиту «Повести о творчестве» выступил известный московский искусствовед, сотрудник Академии художеств СССР Михаил Сокольников. Он назвал фельетон «заушательским» и «пасквилем» и высоко оценил книгу, послав вправление Вологодского отделения

Союза советских художников поздравление В. С. Железняка с книгой (2.VIII—57 г.).

В пятидесятых годах Владимир Степанович работает, помимо новелл и статей, над очерковой книгой о художнике Верещагине. В издательстве В. Малков ему сказал, что Верещагин — величина всесоюзного и даже международного масштаба, и поэтому, чтобы напечатать о нем книгу, нужно разрешение Министерства культуры СССР. Недолго думая, Владимир Степанович пишет письмо министру культуры Александрову о том, что Верещагин — уроженец Вологодской области, и просит разрешение издать о нем книгу в Вологде. Министр довольно быстро ответил, и Малкову пришлось издавать книгу. Она вышла в 1959 году.

...Ах, какая это была мука унизительная, как только речь заходила о необходимости что-либо издать! Но без гласа начальства вчерашнему политическому ссыльному было и шагу не сделать в печать. Ведь перед самостоятельным решением в страхе цепенел едва ли не каждый издаватель, а на подхвате у них хватало и добровольных блестителей советской идейности.

В летние месяцы — в мой отпуск — мы уезжали из Вологды.

Смотрительницей и уборщицей в художественном отделе музея работала Антонина Антонова. Ее мать жила в деревне Фроловское Вологодского района, в своей избе. К ней-то и предложила свезти нас Тоня. В начале пятидесятых годов еще не было шоссе на Грязовец, поэтому мы шли в деревню пешком через леса километров шесть-семь от поезда, со станции Волоцкое.

Деревня оказалась очень красивой. Местность холмистая, но Фроловское стояло почти в низине, ближе к речке Комеле. Всего одна улица, около пятнадцати домов. Электричества не было. Тогда там было еще два колодца, но воду на самовар чаще брали из речки, казалась вкуснее. Отвели нам комнатку.

С матерью Тони жили две другие дочери-колхозницы. Одна из них — бригадир. Работали целыми днями, а получали по 150—200 граммов хлеба на трудодень. Кормил



Ферапонтово

огород, и у кого был — скот. Два лета подряд мы там жили. Я любила ходить за грибами, водились в основном подосиновики. Владимир Степанович предпочитал беседы со стариками, а старики были интересные, читали они книги, газеты и обо всем — свое дельное суждение. За километр от Фроловского — бывшая усадьба, с парком и аллеей, Неверовское. Туда мы ходили через день за хлебом в маленький магазинчик, имея на руках соответствующую справку на снабжение. Ходили вдоль речки и не могли на нее налюбоваться...

Следующие два лета мы жили в Ферапонтове. Сначала у бывшей послушницы Любови Кирилловны Легатовой (она работала там с 1929 года), в монастырской келье той церкви, где фрески Дионисия. Тихая и светлая была

старушка, а когда она умерла в 1948 году, вместо нее смотрителем монастыря стал вернувшийся с войны инвалид Валентин Иванович Вьюшин. Вставлял он стекла в побитые оконца и во всем старался, как мог, наводить там порядок. Больших ставок тогда не было, и он оплачивался как сторож.

В Ферапонтово в первый раз мы шли от Кириллова пешком девятнадцать километров, а на следующее лето наняли телегу с лошадью. Кириллов и Ферапонтово, тогда еще совершенно запущенные, поразили нас монументальностью и каким-то особым лиризмом, очарованием вечности. Несколько позже Владимир Степанович написал для «Красного Севера» большой очерк о фресках Дионисия, до моды на которого было еще так далеко...

Соседями через стенку в первые годы проживания в башне были у нас эвакуированные из Ленинграда О. И. Георгиевская и О. П. Феодосьева, мать и дочь.

Обе работали в облисполкоме. Мы подружились с ними. Они были благодарными слушателями произведений В. С. Через несколько лет мать с дочерью возвратились в Ленинград, и в их комнате поселилась директор областной библиотеки Анна Георгиевна Серебренникова с сыном Колей. Вместе с другими ребятами из башни: Игорем Растворгусовым, Толей Наместниковым, сыном художника, и Витей Тихоновым, сыном музеяного фотографа,— они приходили смотреть к нам телевизор. Мы купили «Рекорд — I» с гонорара за книгу «Художник Верещагин» в 1959 году. Тогда это было целым событием.

В башне нас посещали хорошие люди: друг В. С., известный фотопроттер, участник войны Ю. Чернышев, уже упоминавшиеся А. И. Федоров, А. А. Миров, который бывал чаще других, старый врач Николай Александрович Ренатов. Заходили пожилые художники Н. Ширякин и В. Тимофеев, который жил в Соколе.

Ширякин с самого начала, еще до моего замужества, относился ко мне ласково (я посещала его студию с 1942 года), он верил, что из меня выйдет художник, считал, что в моих тогдашних слабых этюдах есть «душа и чувство цвета». Сам Ширякин создал ряд хороших портретов и пейзажей в Кириллове, а Тимофеев писал лирические пейзажи.

Художник-миниатюрист из Мстера А. Брягин также заходил в башню, рассказывал о том, как он реставрировал «Троицу» Рублева, живя в Ленинграде. Позднее В. Железняк написал о Брягине очерк «Мастер тонкой кисти».

Брягин однажды рассказал любопытный эпизод из музейной жизни. Он сделал макетик дома Сталина, где тот жил в ссылке в Вологде до революции. Подошел директор музея, который организовывал в те годы разные антирелигиозные выставки — Философ Павлович Куропатников:

— Нужно у дома поставить шпиона из полиции.

— Не выдумывайте...

На следующий день Брягин увидел приклеенную фигуруку из пластилина у дома Сталина. Художник разозлился, убрал ее. Завтра она снова появляется. Брягин схватил и шмякнул ее об пол, но Куропатников не успокоился и в третий раз слепил шпиона за Сталиным. Брягин опять убрал фигуруку, и на этом инцидент закончился.

Ф. Куропатников иногда заходил к нам в башню. До революции он был великолепным гвардейским портным в Петербурге, а после стал управлять культурой в разных городах, даже в Ясной Поляне, бывал и чекистом. Он говорил, что якобы спас вологодские колокола, когда их хотели снимать, чему я не очень верю. Куропатников был большим фантазером и часто приписывал себе то, чего не было. С каждым годом он прибавлял несуществующие подробности о встречах с Луначарским и о том, как он видел Ленина. Как-то Куропатников рассказывал, как он раскулачивал попа. Зайдя в дом священника в Кадниковском уезде, велел поставить самовар.

— Вот попьете последний раз чаек из самовара, так как я его реквизирую.

За чаем он объяснял священнику с семьей его мракобесие и пагубную роль для народа. Потом их забрали и увезли.

Между тем, Куропатников никогда не думал о собственном благополучии, и главное для него была «деятельность» на революцию. В Софийском соборе он поставил маятник Фуко, мечтал устроить в Вологде обсерваторию.

рию в бывшей церкви. В то же время начал уничтожать у Софийского собора могилы архиереев, и только благодаря телеграмме Брягина в Москву это безобразие прекратилось. Куропатников заказывал мне для музейной экспозиции акварели (например, переход наших войск через Днепр — по газетному фото). Попросил написать его портрет маслом, что я и сделала. Потом портрет стоял у его гроба, а теперь находится в фондах музея. Вот и такие «типы времени» открыла нам Вологда.

Навещала нас в башне Капитолина Васильевна Исакова — самая знаменитая художница по кружеву, директор кружевной школы и автор первого в стране учебника по кружевоплетению. Она иногда приводила с собой девушек-кружевниц, и они становились нашими друзьями.



Портрет кружевницы К. В. Исаковой
Х. М. 1961

Многие из них потом бросили кружевоплетение как профессию и разъехались по области, выходя замуж. Двое из них — Гая и Валя — до сих пор пишут мне из районов открытки, Рита — из Вологды.

Я рисовала некоторых девушек для молодежной газеты к статье В. С. о них, потом делала их портреты маслом. Есть у меня с Гали и портрет в технике монотипии, так же, как портрет молодой художницы по кружеву Эльзы Хумала. Исакову я писала маслом.

Разговоры с кружевницами, с К. В. Исаковой, которую легко можно узнать в образе Басовой, послужили Владимиру Степановичу материалом для работы над повестью «Кружевное панно». Он написал ее к 1960 году. На рецензию В. М. Малков отдал повесть И. Д. Полуянову, который вскоре пришел в башню и сказал, что хоть девушки в повести хороши, но «Кружевное панно» в общем не годится для печати.

«Кружевное панно», над которым Владимир Степанович работал еще и в 1969 году, вышло в свет в сборнике 1979 года, который включал и повести о художниках — уже упоминавшихся «Пассажиров...» и «Осенний мотив» (над ним писатель работал в 1970—1979 годах), эта последняя вещь и дала название сборнику.

Здесь же, в башне, сразу после переезда, в 1946 году, Владимир Степанович написал две первые римские новеллы — «Цезарь и Петроний» и «Лик Венеры». К доработке их он вернулся спустя почти десять лет, а опубликованы они только после смерти писателя в сборнике «Одергимые» (1986). Как-то раз я спросила Владимира Степановича:

— Отчего же вдруг ты надумал римские новеллы писать?

— Вовсе не вдруг, — возразил он. — Еще в юности я многое прочел по истории Рима, серьезно изучал древность. А писать, действительно, «вдруг» натолкнула фраза Пушкина: «Цезарь путешествовал...» Чего бы, кажется, в ней, а вот уже завязка...

Тогда я поняла, что и во многих своих повестях В. Железняк следует лаконизму Пушкина, ищет динамики

и характерности, погружаясь в былое, все равно — римское или российское.

Последним годом пребывания в башне рождена «Повесть о жизни Василия Сиротина». Тогда же создавались русские новеллы о Петре I, о Софье Андреевне, Белинском и Чернышевском, о Фете и другие.

В те пятидесятые годы, живя в башне, в свободные от работы в мастерской дни летом и осенью я часто отправлялась по городу с этюдником. Писала небольшие этюды в Кремле, на Соборной горке, писала реку Вологду и старинные домики по обеим набережным, а в плохую погоду ставила натюрморты, делала портреты. Работала пастелью и маслом. Но в 1963 году со мной случилось несчастье: идя в мастерскую, я упала (это было в конце мая) и сломала левую руку.

Пользоваться этюдником с забинтованной рукой я уже не могла, а свободного времени было много, так как я



Набережная VI Армии. К., тушь, белила. 1967

бюллетенила сорок дней. Тогда Владимир Степанович посоветовал мне рисовать городские пейзажи карандашом, а затем переводить в тушь, чтобы можно было их опубликовать в газете. Я сходила в «Красный Север» к ответственному секретарю, которому ранее часто приносила статьи Железняка. Николай Осипович Бриш сказал мне, что для газеты рисунки должны иметь только два цвета — черный и белый, никаких полутонов.

Первым опубликованным рисунком был уголок Вологды для лирического репортажа В. Железняка «Белые ночи»: карандашный рисунок я перевела в тушь пером, без пятен. Так и пошло. Стали давать заказы, иногда сразу по нескольку «городских» рисунков под шапкой «Из альбома художника». Но большинство рисунков я делала как иллюстрации к статьям, очеркам и новеллам Владимира Степановича.

Позднее, в 1972—74 годах, В. Железняк дал в «Красный Север» очерковую серию «Пешком по Вологде», которую я иллюстрировала. Там были такие названия: «Здесь начинался город», «Прилуки», «Вот он, наш Кремль», «Заречье» и т. п.

В 1979 году в Вологодском отделении СЭКИ работал редактором Н. Коньков, бывавший у нас еще в башне. В сборнике «Дорогие сердцу места» он опубликовал как названные очерки Железняка, так и «Историю особняка», «Литературные места Вологодской области».

С нами Коньков познакомился, еще будучи студентом пединститута (с него я потом рисовала портрет Сиротина для повести в сборнике «Отзвеневшие шаги»). Земляк поэта Александра Романова, из Сокольского района, историк Коньков держал связь с В. Железняком до последних лет его жизни, всегда навещал нас даже при кратких наездах из Архангельска, а потом и из Тобольска.

В Москву за годы нашей жизни мы ездили с Владимиром Степановичем шесть или семь раз. Выезжали по командировке Союза художников на юбилей Сурикова, затем с сотрудниками областного музея, среди которых была Надежда Ивановна Растрогуева,— по местам Рубleva

в дни празднования его 600-летия. В один из приездов были в музее им. Пушкина на просмотре Дрезденской галереи, которую привезли из павшей Германии, перед тем, как отправить ее туда обратно после реставрации картин.

В один из первых приездов мы целый день проторчали в Министерстве культуры, ожидая утверждения планов перестройки интерьера Воскресенского собора для художественного отдела, который Владимир Степанович открыл. Кроме того, в Вологду тогда направляли ряд картин из запасников для отдела, среди них чудесный Поленов. И еще раз мы были в Москве по поручению областного музея — посетили внучку Можайского, чтобы взять у нее кое-какие вещи и документы, принадлежавшие изобретателю.

В Москве мы останавливались на квартире двоюродной сестры Владимира Степановича — Татьяны Дуроп. В первый приезд, когда они жили еще на Малой Бронной, я познакомилась с родными Володи — Ольгой, сестрой Татьяны, и семьей брата Славы. Когда-то Слава, возвращаясь с фронта в Москву через Вологду, навестил нас на улице Герцена. Два раза в наши наезды в Москву мы останавливались у моей тетки Галины Михайловны — тети Али. Мы навещали в Москве еще трех моих теток и дочку Владимира Степановича Ванду. Она жила с матерью и своей сводной сестрой, дочерью С. Васильева — Галей.

Ночевали мы в конце сороковых годов и у художника Василия Николаевича Сигорского, давнего приятеля Владимира Степановича. Они познакомились еще во время войны в Вологде. Здесь Сигорский провел свою юность, тут же одно время отбывал службу в армии. Они с Н. М. Ширякиным и рекомендовали В. Железняка в Союз художников как искусствоведа. Тогда был еще институт кандидатов в СХ, но Владимира Степановича приняли в 1943 году, минуя кандидатство. Вероятно, повлияло и то, что подписывал прием в Москве известный художник Георгий Георгиевич Ряжский, автор «Делегатки». Он вел семинар на ВГЛК по искусству, который посещали всего несколько студентов; ими он весьма дорожил, а среди них самым аккуратным посетителем лекций был В. С. Железняк.

Будучи продолжателем традиций Дейнеки в графике, В. Сигорский делал литографии и станковые листы как гуашью, так и в другой технике. Излюбленны им были московские городские пейзажи с обязательным введением фигур москвичек. Пока Сигорский не купил большую двухкомнатную кооперативную квартиру на улице Беговой, они с женой ютились в деревянном домишке без всяких удобств на окраине Москвы. Там мы и ночевали в первый приезд, а позднее — и в новой квартире. Как я уже писала, в Москве мы посещали Юрия Домбровского и дважды в разных квартирах — Сергея Морозова.

Удивительно умный человек, Морозов был истинный философ. Владимир Степанович уставал иногда вникать в связь его рассуждений и потом говорил мне:

— Он слишком умен для меня, хоть я его и люблю.

Письма Морозова в Вологду всегда по несколько раз перечитывались, настолько были они интересны. Морозов был идеалист, как во многом и Железняк, и это сближало их. Жизнь не была благосклонна и к Сергею, он нередко утешал Володю словами:

— Скажи спасибо, что мы живы и можем работать в такую-то эпоху...

Бывали мы в гостях у приятеля по ВГЛК Николая Матвеевича Халафянца, женатого на враче Виктории Ивановне. Они жили на улице генерала Ермолова. Хлебосольный армянин, он во время войны работал прокурором и познакомился с «делом» Железняка 1935 года, рассказал кое-что. Халафянц написал труд-воспоминание о ВГЛК, старался издать его, но рано умер.

Посетил В. С. на Арбате журнал «Москву». Предложил редактору Е. Е. Поповкину «Кружевное панно». Тот передал рукопись Б. С. Евгеньеву. Евгеньев как член редколлегии пытался опубликовать повесть, но безуспешно. В дальнейшем с Евгеньевым возникла постоянная переписка.

Приезжали в Вологду трое художников из Палеха. С ними В. С. много разговаривал, рассказал о Вологде, о ее достопримечательностях, и художники были в восторге. Была неожиданностью для нас присланная ими к следующему Новому году лаковая дощечка. Там были на-

писаны золотыми буквами благодарственные слова и в виньетке — рисунки села Палеха с церковью.

Последнее наше посещение Москвы было, кажется, в 1973 году. Остановившись у Дуропов, Владимир Степанович созвонился по телефону с писателем Виктором Авдеевым, и мы приехали к нему на улицу Красноармейскую. Они дружили в молодости. Еще начинающим писателем, после беспризорничества, Виктор зашел в газету, где Володя работал, показать свои опусы. Будучи ответственным секретарем, он его напечатал. Затем Авдеев пробился к Горькому, и тот помог ему. Стали выходить книги, написанные о детских годах, почти ежегодно; он получил Сталинскую премию за «Гурты на дорогах».

У Авдеева была прекрасная большая трехкомнатная квартира, хорошо обставленная, кабинет ломился от книг. Встретил он нас с женой Лидой великолепно. Стол был изысканный: какие-то заливные, что-то в тесте, салаты, икра и прочее, домашние пироги, торты, вина.

Не предупредив Володю, Авдеев пригласил на этот пир Сергея Васильева. Тот явился, когда мы сидели за столом, с каким-то необыкновенным вином из Европы. Несмотря на сделанное веселье и все старания Виктора, разговор не налаживался. Васильев сводил к тому, что «не стоит вспоминать прошлые размолвки из-за женщины». Тогда Володя напомнил, как, будучи в отчаянном положении, он писал ему из Вологды с просьбой помочь хоть что-нибудь напечатать; Васильев заявил, что он этого письма непомнит. Вскоре Васильев ушел, сославшись на какие-то дела. Впрочем, до этого я еще успела показать там в маленький аппаратик цветные слайды с нашего ивановского домика.

— Да это же простая деревенская изба! — небрежно обронил Васильев, а Виктору снимки понравились.

— А какие вокруг пейзажи, какая тишина и красота! — говорила я.— И в избе жить очень хорошо и удобно.

Поскольку было уже поздно, нас уговарили ночевать.

Кроме Москвы, мы с Владимиром Степановичем ездили два раза в Ленинград. Там нас «курировал» Константин Иванович Коничев.

О нем надо рассказать. Уроженец Вологодской области, Коничев начал как журналист, в Архангельске



Деревня Ивановское

возглавлял одно время издательство, затем перебрался в Ленинград, там и умер в 1974. В Вологду он ездил часто, заходил к нам еще в башню. Это был очень широкий человек, любил делать подарки, в том числе и мне, был исключительным рассказчиком. А как литератор? Впрочем, В. Железняк считал удачной лишь первую книгу его — «Деревенскую повесть».

Любили Коничева Викулов и Малков, который постоянно издавал его. Надо сказать, что после разрешения министра опубликовать очерк Железняка о Верещагине Малков уговорил Коничева быть редактором книги (для «подстраховки»). Позже Коничев опубликовал объемистую повесть о Верещагине, в которой Железняк обнаружил множество ошибок, ляпов, и потешался над «гостино-дворским» языком аристократов. В свою очередь, К. Коничев отрицательно относился к историческим новеллам В. С. и в «Красном Севере» советовал их не публиковать.

А в Ленинграде Константин Иванович устроил нам номер гостиницы и познакомил нас с двумя литераторами; были это литературовед Александр Дымшиц и его младший друг Дмитрий Молдавский. Дымшиц свел Железняка по телефону со своим приятелем из «Ленинградского альманаха», и в № 15 в 1959 году там опубликовали очерк о поэте Сиротине «Загубленный талант». До самой смерти Дымшиц вел переписку с Железняком, и, вероятно, сначала благодаря его влиянию в журнале

«Звезда» публиковались рецензии на все выходящие книги Железняка. А Молдавский сам посыпал рецензии на его книги в вологодские газеты. В Ленинграде мы были приглашены на обед к Молдавским (без Коничева). Писала я эти строки, а в Ленинграде тогда умер Дмитрий Миронович (сентябрь 1987 г.) — узнала об утрате, приехав в Вологду из деревни. Очень жаль этого умного и доброго человека.

Когда мы приехали в Ленинград вторично, нам пришлось для ночевок снять угол у уборщицы гостиницы. Заходили мы один раз к Коничеву на квартиру, после того как он нас поймал на Невском проспекте, и мы вместе пошли в блинную.

В Ленинграде Владимир Степанович показывал мне места Достоевского, ходили мы в Русский музей и Эрмитаж. Я ведь не была там с юности — ездила сразу же после окончания школы на пятидневную экскурсию в Ленинград из Москвы.

Своеобразно складывались отношения Владимира Степановича с издателем В. М. Малковым. Считая себя другом Железняка, Владимир Михайлович навещал нас нередко.

Я всегда удивлялась, что смелый ротный командир, прошедший ужасы войны, стал чиновником и боялся печатать Железняка. Может быть, потому что ссылочный да еще с таким (!) родителем, может быть, не знал цены его прозе? За многие годы своей издательской деятельности Малков издал пять-шесть небольших книжек В. Железняка. Как-то на литературном вечере В. В. Гура сказал об «Отзвеневших шагах»: «Опять брошюра, а не книга...» А он тоже тогда в издательстве был влиятелен. Художников Малков любил. Мои работы Малков смотрел с удовольствием и кое-что понимал в графике. Он согласился выпустить мои рисунки по Вологде буклетом-альбомчиком. Много раз приходил, делал замечания, думал: годятся ли предложенные мной сюжеты по архитектурным памятникам города? Наконец, сказал, что опубликует их, если я получу одобрение у архитектора В. Баниге. Я сходила к тому в реставрационную мастерскую, и Баниге одобрил рисунки.

Небольшой вступительный текст написал В. Железняк

(Малков доверял ему в этом как искусствоведу и краеведу). Альбомчик вышел в два цвета. Позднее, в 1971 году, таким же форматом был опубликован и буклете о литературных местах Вологды (12 рисунков и один на обложке). Я благодарна Малкову за это, так как он провел все, не обращаясь в Союз художников, где рисунки «зарезали» бы. О литераторах Вологды дал текст, конечно, тоже Владимир Степанович. Рисунок из альбома «На Бобришном Угоре» (А. Яшин) был помещен в «Литературной России» со статьей Д. Молдавского.

Приближалось 60-летие Железняка, которое решили отмечать в музее пораньше: осенью 1963 года — к 40-летию творческой деятельности (а не 4 января 1964 г.).

До этого знакомые и друзья решили хлопотать для нас о благоустроенной квартире. Организовал коллективное письмо начинающий историк и искусствовед Лев Дьяконицын. После моих настойчивых упрашиваний, наконец-то, подписал это письмо и Г. И. Соколов — директор музея. Там было уже с десяток подписей.

В это время начали строить пятиэтажки, которые называли «хрущевками». Жители мечтали получить квартиры хотя бы в этих кирпичных домах, жилой фонд в Вологде пришел в упадок. Для нас хлопотали о двухкомнатной отдельной квартире, но пообещали лишь однокомнатную.

Юбилей прошел очень тепло. Пришло много поздравлений. Я сидела за круглым столиком рядом с В. С. На столе большой букет цветов. Выступали председатель СХ Корбаков, Дьяконицын, Викулов, Г. И. Соколов, артист Дворца культуры железнодорожников Бадаев. П. Мошков — фотограф и самодеятельный артист — сделал ряд снимков этого события, выступлений ораторов. Он замечательно прочел с некоторым сокращением рассказ «Изограф», а артистка драмтеатра — новеллу «Как хороши, как свежи были розы» из Архангельского альманаха.

От составителя. Из кремлевской башни Владимир Степанович и Нина Витальевна перебрались в однокомнатную квартиру за



Вологда. На улице Кирова

рекой в ноябре 1964 года. Вот уже и прожили москвичи в Вологде более четверти века, и родным стал им этот северный город. Позже, в 1977 г., переехали они ближе к центру — в двухкомнатную квартиру на улице Кирова. Быт сложился устойчиво и определенно, с обязательными выездами на все лето в д. Ивановское, в тесном кругу друзей.

Самыми продуктивными стали для них эти годы. Серия повестей из русской истории, опубликованных в книгах «Голоса времени» (1976) и «Лихолетье» (1979), «Осенний мотив» (1982), повести о художниках и свод новелл о последних годах Федора Достоевского — итог работы писателя В. С. Белецкого-Железняка. С «Отзвеневших шагов» (1968 г.) Нина Витальевна стала оформлять для Северо-Западного издательства книги Владимира Степановича (обложки, заставки, иллюстрации). Всего оформила пять книг. Множество натюрмортов, пейзажей вологодских и ивановских, портретов писателей, широко выставлявшихся на выставках,— плоды труда художницы Н. В. Железняк. Впрочем, все это делалось уже на наших

Н. В. Железняк

глазах, хорошо знакомо почитателям русского слова и родной истории, любителям живописи и графики.

Вряд ли молодые люди Владимир Железняк и Нина Борукская в Москве первой половины тридцатых годов могли представить себе такой вариант своего будущего. А встреча была возможна и тогда — мир тесен.

...В начале пятидесятых годов Владимир Степанович привел жену в дом на Малой Бронной, где жили его двоюродные сестры Таня и Оля. Так ведь здесь же, поразилась Нина Витальевна, двадцать лет назад жила, выйдя замуж в семью профессора Горностаева, ее двоюродная сестра Маргарита (племянница отца, дочь его сестры)! Там и по сию пору обитает ее сын Герман. Оба нередко бывали в этом доме и вполне могли бы встретиться в юности! Но не в эти счастливые для них времена, а гораздо позже — волею драматических обстоятельств — нашли они друг друга и свою судьбу.

Востину, неисповедимы пути Господни...

1986—1987 гг.



ПУТИ ХУДОЖЕСТВА НЕИСПОВЕДИМЫ

**О ТВОРЧЕСТВЕ: РАЗМЫШЛЕНИЯ,
ШТРИХИ, ИТОГИ**



Василий Оботуров

СЛУШАЯ ВРЕМЯ...

**невластное над мужеством, совестью и подвижническим
творчеством**

...В квартире Железняков Владимира Степановича и Нины Витальевны уютно и покойно. Есть что-то от музея: старинные книги, конечно же, рядом с современными и среди них — солидное собрание Достоевского и литературы о нем, сочинения об искусстве и многочисленные альбомы; изделия палешан, дымковские, каргопольские, филимоновские игрушки, северная резьба по кости и богоявская по дереву, предметы старинного обихода и ремесла, картины. Писаны картины Н. В. Железняк, и тут, наряду с излюбленными ею букетами цветов и натюрмортами, деревенские пейзажи с избой в деревне Ивановское, где многие годы Железняки жили летами, городские виды возрожденной из тлена вологодской древности со старыми деревянными особнячками и величавыми соборами... Все это живет и дышит как выражение характеров, многолетних пристрастий и интересов хозяев — писателя и художницы.

Здесь, в тесноватой и тихой квартирке на улице Кирова, на подоконниках которой еще издали, со двора, видны густые кактусы, бывали многие друзья Железняков — краеведы, писатели, художники, журналисты. Для них открывались книжные шкафы, чтобы извлечь редкую книгу, ящики, хранящие документы и письма писателю. Только вот незаконченные рукописи Владимир Степанович не торопился обнародовать, и многие из них покоялись, скрытые, ждали своего часа...

I

Уже с 1926 года очерки, статьи и рассказы молодого литератора печатаются в журналах «Экран», «Друг детей», «Крестьянка». Серьезным литературным дебютом В. Железняка стала повесть «Она с Востока», которая с одобрением В. В. Вересаева опубликована была в альманахе «Недра» (1930, № 18). Произведения молодых здесь публиковались редко, и можно себе представить успех молодого писателя, у которого в этом же альманахе уже через номер публикуется новая повесть «Пассажиры разных поездов» (1931, № 20). Заинтересованное внимание вызвал и рассказ «Оловянные солдатики» («Знамя», 1934, № 11).

И теперь, спустя многие годы, очевидно, что интерес к первым пробам В. Железняка в прозе был вполне оправдан.

Сюжет повести «Она с Востока» откровенно заявлен уже в самом названии. Молодой археолог Константин Гронин, работая на раскопках в Средней Азии, встретил семнадцатилетнюю туркменку, студентку Алек Шахнадьядрову. Вернее, услышал сначала ее песню, в которой почувствовал открытый, непосредственный ее характер, смелое стремление к новой жизни. И вскоре Гронин увозит Алек в Москву, где становится ассистентом профессора Гаврилова и поселяется с молодой женой в доме на Гранатном переулке, у дяди.

В этом тихом переулке жизнь складывается по-своему драматически.

Дядя Гронина, Николай Ардашонович, военспец, преподаватель тактики — колоритная фигура из уходящих типов. Фронтовик и фаталист, он здесь родился, прожил жизнь, а пришло время — спокойно принял новое, хотя — ох, как не по времени! — и дороги ему чашки гарднеровского производства. Жена его по характеру — вполне генеральша, причем и привычек своих не оставившая, но о прошлом «вспоминала без сожаления, как что-то очень далекое». Их дочь Энинда, окончившая консерваторию, живет в Милане, завершая вокальное образование. И, наконец, последний обитатель дома — племянник генеральши Аркадий Давыдов «с большими видами на будущее и туманными в настоящем».

Свое время молодой Железняк почувствовал вполне и типы схватил своеобразно и уверенно, разом создав напряженную ситуацию. А впрочем, в этом доме царит устойчивый размеренный быт, благодушие, и нет, кажется, никаких мученических вопросов. Вот разве Аркаша с пути сбился, распутничает и пьянистует, так ведь это поэт двадцати пяти лет от роду. Он было увидел свет в образе Алек, и она к нему с интересом отнеслась, но тут же и брезгливо отвернулась. А Гронин между тем преуспевает и жаждет скорее стать профессором — удача ему улыбается.

Что же Алек?.. Музеи и выставки скоро ей привлекались, и все внимательнее присматривается она к окружающим. За семейным столом она «молчалива, и ее глаза, спрятавшись на дно прабабушкиной чашки, тоже молчали». Быт с маленькими выпивками, мещанскими радостями ее не устраивает. Примечателен такой эпизод: неунывающий Николай Ардальонович тащит своих полюбоваться ледоходом на Москве-реке. Алек смотрит, как «грязные льдинки лениво проплывают по вздувшейся реке», — не восхитил ее ледоход. «Нет, некрасиво!» — просто и открыто говорит она, смеясь, и это как-то разом снимает наигранные восторги.

Ради ли всего этого ехала она в Москву с Грониным?.. Перед нею постепенно открывается мелочность Кости, никчемность Аркадия. Она же натура деятельная и стремится к делу, которое и находит с помощью комсомольского райкома в заводском клубе среди молодежи. А этого уже не хочет Гронин, и в его сопротивлении Алек не может не видеть отзыва восточных обычаяев, ею отвергнутых навсегда. И что же будет?..

В. Железняк оставляет своих героев на распутье. Повесть его, намеченная лишь в основных контурах, точна по психологическому рисунку, может быть, излишне жесткому, интересна деталями быта той поры. Иногда В. Железняк откровенно информационен, например, сообщая, так сказать, анкетные данные о своих героях, — описательности он избегает... Несколько экзотичный сюжет (впрочем, типичный для той поры) дал возможность молодому писателю показать сложность складывания новых общест-

венных отношений в семье. И этим повесть В. Железняка характерна в литературе начала 30-х годов.

В повести «Она с Востока» сказались не только поиски своего пути в прозе молодым писателем, но и своеобразные особенности литературы тех лет. Например, голос автора звучит здесь время от времени открыто, но не так, как, скажем, в лирической прозе 60-х годов. Вот, скажем, в жизни героев все определилось, утряслось вроде бы, и автор вдруг заговорил о своем ремесле беллетриста-романтика, сознавая, что «проза жизни нормального, средних качеств и способностей гражданина — мелкая и будничная, и мой романтизм похож на панночку- ведьму, оседлавшую гоголевского бурлака Хому Брута,— и я, автор, оседланный своей панночкой, мчусь, мчусь устало и знаю — еще далеко бежать...».

А вот к концу происходит размолвка более глубокая, чем может показаться. Разгневанный Гронин «прямо, не сгибая спины, замаршировал игрушечным солдатиком к оскалу гостеприимных ворот зеленого особняка», оставил Алек на улице. И снова голос автора, обвиняющего: «Игра подходит к концу. Как в домино, складываются цифры, но только утерял одну табличку, на ней последняя запись».

Заметим здесь чуть ли не кокетливую значимость каждого слова (и образ «игрушечного солдатика», марионетки, неспособной подняться над мещанским бытом, и «оскал гостеприимных ворот»...), и уже не надо иной концовки, кроме той, что есть: Алек, ночные звезды и надежды... Не с Грониным же их связывать, надежды!

От этой, несколько вызывающей манеры В. Железняк отказывается уже в рассказе «Оловянные солдатики».

В эти годы В. С. Железняк продолжал сотрудничать в газетах, был членом МАПП. И вдруг — крутой поворот: в 1936 году ему предложили на три года переехать в Вологду.

— Но почему?

— Говори спасибо, что легко отделался...

«По социальному признаку» могло быть, в самом деле, и круче.

В северном старинном городке Владимир Железняк активно изучает памятники культуры и народного изобразительного искусства. Он объездил с этнографическими экспедициями всю область, участвовал в организации художественного и исторического отделов музея. В 1943 году в качестве искусствоведа В. Железняк принят в Союз художников.

С тех пор девятнадцать лет Владимир Железняк вместе с женой художницей Ниной Витальевной прожили в башне старинной «цифирной школы» в комплексе Вологодского кремля. «Каждое утро,— позже писал он,— меня будили куранты звонницы и голуби, а летом — стрижи, а перед окном возвышался величавый Софийский собор. Собор вошел в мое сознание настолько эримо, что даже теперь, на новой благоустроенной квартире, нет-нет да и мелькнет в окне белопенная София и явственно зазвучат куранты...».

Реальный этот образ в то же время и символичен: он как бы означает собою смысл, содержание жизни писателя Владимира Железняка. В эти годы определился и отчетливо сложился его интерес к народному искусству, к прошлому Вологды и славной нашей истории. Издавна занимают его и вопросы художественного творчества.

Чрезвычайно плодотворным оказался постоянный интерес Владимира Железняка к прошлому Вологодчины, к истории и культуре края. Познания его в этой области не только фундаментальны, они художественно освоены: за сухой строкой документа он умеет видеть живых людей в непосредственности их душевых движений. Пришло это не сразу, а с постепенным накоплением и освоением материала.

Еще в 1947 году, к 800-летию нашего древнего города, появилась книга В. Железняка «Вологда», второе издание которой, значительно дополненное, увидело свет в 1963 году. Это богатая фактическим материалом книга, строго обоснованная документами, отмеченная чувством современности.

«Восемь с лишком столетий существует Вологда, но мало кто знал о ней даже в прошлом веке,— пишет В. Железняк.— Слышали немногие, что есть где-то в

обширном лесном и озерном крае старинный русский город, где выплатаются чудесные кружева, вырабатывается особо вкусное масло да сохранились прекрасные, редкие по своей красоте и изяществу памятники русского зодчества».

В разделах «Страницы истории», «Памятники зодчества и стенной росписи», в очерках о Дионисии Глушицком и В. В. Верещагине и раскрывается своеобразие края, его истории и культуры. И вполне справедливо В. Железняка назвали одним из тех людей, «которые не только горячо, но активно, деятельно любят свой город, свой уголок земли. Они помогают ему расцветать и хорошеть, эти люди раскрывают перед нами видимые и невидимые богатства родного края, душевые красоты родного народа, воспитывают любовь к родной земле, вкус к изучению ее прошлого и настоящего» («Звезда», 1963, № 10).

Книгой о Вологде работа В. Железняка по истории и культуре края не завершилась, а вступила в новый этап. Уже в следующем году совместно с Л. Ф. Дьяконицким он выпускает альбом «Художники Вологодской области» (Ленинград, 1964). В последующие годы в соавторстве с Н. В. Железняк созданы буклеты «Памятники архитектуры Вологды» (1970) и «Литературные места Вологодской области» (1971). Но главное в другом: рождаются книги исторических миниатюр, рассказов, повестей «Отзвеневшие шаги» (1968), «Родное» (1973), «Голоса времени» (1976), «Лихолетье» (1979), «Зарницы над Русью» (1983), в которых Владимир Железняк находит себя как самобытный художник. С ними к писателю приходит и признание.

Привязанность писателя к родному краю поняли и приняли его читатели, о чем и пишут ему в своих письмах. В десятках писем к Железняку уже по поводу выхода книги «Голоса времени» немало интересного, а прежде всего то, что объясняет как-то успех писателя. Пишут самые разные люди — школьники и деятели искусства, пенсионеры и ученые,— и все они сходятся в одном. Это единое чувство — признательность писателю, уважение к его работе, патриотическое значение которой несомненно.

Когда-то, эвакуированная из блокадного Ленинграда, жила в вологодском музее О. П. Феодосьева и сейчас вспоминает Вологду в своем письме из города на Неве. «Столь приятно и интересно было «побывать» в древней Руси,— пишет она,— столь живо все написано, видишь действующих лиц, чувствуешь эпоху». О чувстве истории, ощущении воздуха времени, ярком и точном видении писателем людей пишет и Ю. В. Ларионов, артист МХАТа, друг семьи Гиляровских, который отмечает и соответствие оформления книги ее характеру (как и другие книги писателя, эта тоже оформлена художницей Н. В. Железняк).

Самобытной считает книгу Владимира Железняка искусствовед, заслуженный деятель искусств РСФСР М. П. Сокольников. Он подробно рассуждает о книге и об отдельных произведениях писателя: «...Какой большой запас знаний и наблюдений о вологжанах, какие серьезные научные изыскания! И ко всему — ласковая любовь к России, к ее северному центру... Теперь уже после Вас будут на Руси Советской знать Дмитрия Плеханова и других изографов российских».

«Голоса времени» В. Железняка благожелательно принята и в писательской среде. Теплым письмом откликнулся автор романа «Хранитель древностей» Юрий Домбровский. «Хорошо, просто и очень-очень ново»,— так он отзывался о сочинениях своего старого однокурсника, отмечая, что «книга оформлена с великолепным чувством вкуса, такта и стиля». Дружески отзывались на выход книги Михаил Шолохов, Владимир Лидин, Валерий Дементьев, Дмитрий Молдавский и многие, многие другие.

Первые опыты художественного освоения истории Владимиром Железняком относятся еще к военным годам. Отвечая на запросы сурового времени, в 1942 году написал он пьесу «Мечи и кресты». Гордая страница воинской славы русского оружия — Ледовое побоище — и образ Александра Невского как нельзя болееозвучны эпохе. И можно только жалеть, что в трудностях военного времени подготовительная работа по постановке пьесы не могла быть доведена до конца. В 1944 году написан блестящий рассказ «Изограф», правда, опубликованный позднее и уже неоднократно.

В 1947 году В. Железняк предложил журналу «Звезда» цикл «Русские новеллы», о котором высоко отзывался профессор Мавродин. «... Это блестящие этюды из истории нашей Родины,— писал он.— Они живы, увлекательны, художественны. Каждая из них имеет собственный взгляд на того или иного деятеля русской культуры. С ним можно не соглашаться, но это уже дело вкуса...». Однако, по стечению обстоятельств, новеллы тогда не увидели света, а писатель продолжал между тем работу в избранном направлении.

Волынский и граф Орлов, Петр I и Иван IV Грозный — деятели разного масштаба и значения проходят перед нами. Чаще всего, о ком бы ни шла речь, мы видим былое Вологодчины. Оно открывается за воеводством в Вологде свирепого сатрапа царя Алексея Михайловича Тишающего — Леонтия Плещеева. Оно — в страданиях царевны Ксении, дочери Годунова, заточенной в Горицкий монастырь. Оно и за поступками Ивана Грозного в Вологде, имевшего на этот город особые виды. Осязаемо поданные писателем черточки быта приближают к нам прошлое, дают почувствовать его живой дух.

В своих новеллах и миниатюрах В. Железняк всегда немногословен. В лаконичности его чувствуется немногоречивая точность летописи, с которой хорошо уживается динамизм. В смене картин, в активном развитии событий вольно и смело проявляются герои в их основных качествах, в резких контурах, всегда соответствующих эпохе.

Отмечая недостатки художественной прозы на темы истории, В. Канторович отмечает и такие произведения, авторы которых находят свой путь, умея в языке почувствовать самый дух эпохи. Наряду с книгами В. Иванова («Императрица Фике»), М. Юрасова (повесть о Ремизове), В. Канина («На тропе Батыевой»), критик называет и книжку В. Железняка «Отзвеневшие шаги» («Вопросы литературы», 1971, № 4).

Историческая проза В. Железняка обладает вполне определенными особенностями. Доподлинное знание разнообразного материала и убедительность психологических характеристик. Простота, сдержанная ясность и вместе с тем способность немногими, отнюдь не архаическими, средствами передать колорит изображаемой эпохи. Картины

ность живо детализированных сцен, вольно сочетающихся с хроникальной сухостью изложения...

Все это создает ту форму, которую принято у нас называть документально-художественной прозой, и чувствует себя в ней В. Железняк свободно и уверенно. И творческой базой для него стала история и культура родного края. Но ведь история Вологды — не замкнута областнически, она — часть славного прошлого России. При этом местные, локальные явления В. Железняк умеет видеть в тесной связи с целым и, будучи всегда строго документальным, лиричен в любви своей к Вологде. Отсюда во многом своеобразие материала произведений В. Железняка, их языка и интонационного строя.

3

Естественно было Владимиру Железняку обратиться к жизни и труду молодых художников в те давние тридцатые годы, когда он сам был молод. А в старости, на восьмом десятке, что привлекало его в образах героев, не перешагнувших порога юности?

Как и тогда, в повести «Пассажиры разных поездов» (1931), теперь в произведениях «Кружевное панно» и «Осенний мотив», в «Повести о Василии Сиротине» и цикле новелл о Достоевском, создававшемся с конца 1945 года, влечет старого писателя неуспокоенность молодости, дух искания, сама нетерпимая к пороку юношеская бескомпромиссность.

Писатель-историк достигает образного эффекта времени и силою искусства возвращается в молодость. Возвращается зрелым и умудренным, чтобы доверительно беседовать с юными, обладая той убедительностью, какую дают только годы.

Сейчас, оглядывая ретроспективно путь писателя В. Железняка, есть смысл обратить внимание на то, какие личности издавна привлекали его внимание. Художник Василий Верещагин и вологодские кружевницы, Белинский и Некрасов, Достоевский и наш земляк Александр Круглов, к сожалению, ныне почти неизвестный, поэт-семинарист из Вологды Василий Сиротин и совсем забытые изографы седой старины...

Какая странная, на первый взгляд, портретная галерея! Но нет в ней ничего нарочитого: культура народа складывается из многих и многих деятелей, чей удел в истории очень неравнозначен. Что делать, кто-то из прошедших свои пути забыт, но не было бы великих без тех, бывших в упоминании. И сам писатель В. Железняк — звено меж ушедшими и живущими, в котором воплотилась жажда творчества, дух поиска и неуспокоенности, стремление внести справедливость в слепой поток истории.

Без активной позиции писателя нам было бы никогда не преодолеть фатальности времени — в нем воплощается сознательная воля творить историю. Этой волей заражаются от писателя теперь уже многочисленные его читатели, наши современники и творцы завтрашнего дня.

Что же дано им взять, нашим современникам, из музея дре́вностей, любовно собранного и обработанного Вл. Железняком?

Заметим — уже повесть «Пассажиры разных поездов» посвящена художникам. Трудное время, путанные судьбы, во многом нам неприятные герои — переломная эпоха сказалась в них своеобразно и колоритно. Я даже напомнил бы для сравнения «Голубые города» и «Гадюку» А. Н. Толстого, «Зависть» Ю. Олеши, например. А ведь молодой Железняк в своей повести и по материалу, и по своей жизненной позиции вполне оригинален и своеобразен.

Становление художника в условиях коренным образом меняющейся действительности 30-х годов, поиск молодым героем положительного идеала показаны остро, бескомпромиссно, в деталях точных, убедительных и сейчас для нас во многом неожиданных.

Конечно, и теперь далеко не все люди обрели духовное совершенство (ах, если бы так!), но обращает на себя внимание здоровая нравственная целеустремленность В. Железняка в своей ранней повести, неустанное желание разобраться в трудных судьбах. И пусть он кое в чем не сумел передать без излишней усложненности изломанную психику некоторых героев, но путь он нашел верный.

Новая повесть о художниках появилась в сложное, переломное время, четверть века спустя, и не сразу была

принята. Интерес к рукописи проявил М. А. Шолохов, благожелательно рецензировали ее писатель Лев Никулин, члены-корреспонденты Академии художеств В. М. Лобанов и М. В. Алпатов. И вышла книга под названием «Повесть о творчестве» (1956).

... Художник Леонтьев приезжает в колхоз, чтобы лицом к лицу с реальной жизнью создать картину о современности. Перед нами проходят разные люди — художники, колхозники, партийные работники. Немало в повести живых своеобразных сцен и характеров. Интересен образ звеньевой льноводов Нади, чей портрет пишет Леонтьев.

Сюжет осложняется их личными отношениями, которые перешли границу просто деловых. Назревает драма жена-того человека, оставившего свою семью в Ленинграде. Твердою волею Нади положен неумолимый предел. Она поняла, что эта любовь — «лишь творческое воображение, распаленное, быть может, моей глупостью».

В. Железняк интересно открывает творческую лабораторию художника. Заметим, первая половина 50-х годов характерна усилением внимания к проблемам творчества (кстати, чуть раньше был опубликован роман Всеволода Иванова «Вулкан» об архитекторах). И Владимир Железняк, показывая художника в работе, выступает против ходульности, схематизма, иллюстративности. В этом он был из первых, может быть, потому, что глубже многих других чувствовал традиции. Это ведь весьма примечательно, что писатель-искусствовед Железняк также одним из первых в «Повести о творчестве» оценил по достоинству древнерусские фрески.

Историко-культурные сведения, которые, не скучаясь, дает в своей повести В. Железняк, всегда интересны, но не всегда пластично вписываются в ткань повести, несколько излишне ее загромождают. Это отметил в своей рецензии еще Дмитрий Молдавский, который, не избегая критических замечаний, благожелательно оценил «Повесть о творчестве» («Вологодский комсомолец», 27 июня 1957 г.).

К слову, Д. Молдавский и позже с интересом следил за творческой работой В. Железняка. Так, высоко оценивая его очерк «Художник Верещагин» (1959), критик

отмечал, что писатель «с большим художественным тактом вводит нас в духовный мир художника, показывает особенности его видения мира» («Вологодский комсомолец», 20 июня 1959).

В самом деле, небольшой по объему очерк В. Железняка о Верещагине, показывая вехи жизненного и творческого пути большого русского художника, открывает нам в единстве духовный облик его и творческую манеру. Внимательно проследил автор и связи В. В. Верещагина с родным ему русским Севером — эта тема Железняку особенно дорога.

К творчеству В. В. Верещагина Железняк обращался и позже в статье «Художник-баталист — солдат мира» (1967). А искусство северян, которое занимало и Верещагина, знает Владимир Железняк как большой знаток. В этом убеждают, например, и его обстоятельные статьи «Старина-матушка» о деревянном зодчестве («Север», 1969, № 9) и «Вологодское кружево» («Нева», 1960, № 3).

Статьи В. Железняка о народном искусстве — не только свидетельство его эрудиции, но и тонкого проникновения в психологию художественного творчества в демократической среде. И все-таки о статьях можно бы умолчать, если бы они не явились своего рода или подготовкой к художественной работе самого писателя, или уже ее следствием, завершением.

Верность идейного выбора хорошо иллюстрирует уже «Повесть о творчестве», но во многом только иллюстрирует. А вот в повестях шестидесятых-семидесятых годов «Кружевное панно» и «Осенний мотив» интересно намечены персонажи — писатель нашел в нашей современности образы людей нравственно здоровых, идеино убежденных, творчески ищущих. В них важны и оригинальны мысли В. Железняка об ответственности художника за свое святое дело, о соответствии духовного облика творца его замыслам, о новаторстве и традициях в искусстве.

И вот ведь, заметим, что интересно: читаешь повести под общей обложкой, а под одной датой — 1930 год, под

другой — 1961. Тридцать лет! А что за ними для писателя, как нам-то, читателям его, понять? Вдумчивому читателю — не так уж трудно: в одном случае писал Железняк о своих молодых ровесниках конца 20-х годов, а в другом — он не стал перепрыгивать границу времени — пишет о новой молодости, глядя на нее со стороны, но с любовью, участием и уважением (а ведь, бывает, как любят старшие — или старые? — поворчать на молодежь).

Речь в повести ведется от имени пожилого дяди Коли, в котором, зная близко самого писателя, узнаю его, но и, отдаю должное, вижу черты обобщения: дядя Коля — это не Владимир Степанович, но человек ему по духу близкий. Он немножко старомоден, чуть приторен в своем отношении к молодым кружевницам, несколько наивен в восприятии жизненных явлений.

Писатель — любой, если он действительно талантлив, — всегда глубже своего героя. Вот в этом сопоставлении и кроется, на мой взгляд, художественный ключ к повести «Кружевное панно».

И здесь я позволю себе обратить внимание на такие строки в повести, как и остальные, подчеркиваю, высказанные в прямом обращении к слушателю от имени дяди Коли, по поводу покушения на жизнь девушки. Прочел как-то наш рассказчик одну юридическую книжку... «Там все предусмотрено: и анкеты, и здоровье обвиняемого, и, в частности, психическое состояние его, и образ жизни. Так и должно быть. Но зачем там поставлена оговорка, что «не следует вторгаться в такие сферы интимной жизни обвиняемого, которые не имеют отношения к расследуемому преступлению и причинам, по которым обвиняемый его совершил?

Тут мне, профану в юридических науках, мерещится загвоздка. Тут мне кажется...».

И опять слышатся здесь наивные и дотошные, своевольные и упрямые герои Достоевского. И в манере высказывания, и в стремлении до конца, до последней истины докопаться. Да ведь где же докопаться «профану в юридических науках», — отсюда повесть кое в чем звучит наивно. Но не будем торопиться наивность эту ставить в упрек автору, писателю: он ведь сумел в своего героя воплотиться — чуть нас в заблуждение не ввел. Однако

таким вот образом герой-повествователь получает художественную убедительность.

Обрел дядя Коля живую жизнь в повести В. Железняка — и все остальные герои тоже. Ах, как они хороши, девушки бригады кружевниц, Люда так даже иногда неправдоподобно положительна... Но ведь это любующийся на молодых взгляд старого искусствоведа, дяди Коли,— кто же в таком случае за сентиментальность упрекнет, кто же посмеет высказать укоризну за мелодраматизм детективной истории... Художественная правда всегда находит свои пути, и нашел ее в своей повести В. Железняк.

Нет необходимости пересказывать сюжетные повороты, которые волнуют рассказчика. Важно, что в современности, не затушевывая темных сторон, писатель увидел свет нравственного идеала, возможность духовного взлета, надежность дружбы ровесников и взаимопонимания отцов и детей. Это не так уж и мало в наш век, зараженный «нигилятины», когда многим так настойчиво хочется навязать мысль об антагонизме поколений. Подобная мысль В. Железняку чужда, хотя то, что касается жизненных антагонизмов, он давно и хорошо понял, исходя из своего долгого опыта, понял во многом и истоки антагонизмов.

В этом отношении супротивнее и глубже повесть В. Железняка «Осенний мотив», близкая предшествующей по теме, но более углубленная в мир профессионально художнический. Припомним «Выбор» Ю. Бондарева, роман известный, вызвавший споры,— там отражена среда столичной художественной элиты со всеми ее не всегда благородными страстями. Свою повесть В. Железняк написал гораздо раньше и оставался на почве провинциальной жизни.

Меня это сравнение не пугает — нет нужды масштабы писательских дарований в данном случае вымеривать. Важно другое: сопоставление дает понять, что всегда и везде своекорыстие, низость помыслов, стремление подавить талант силой власти, силой другого авторитета — безнравственны. А безнравственность в деле искусства в конечном счете неизбежно ведет к поражению того, кто доискивался успеха нечистоплотными средствами. Таковы логика искусства и его глубинный смысл.

Можно было бы говорить о многих персонажах повести. Что стоит, например, чиновник от художества Виктор Евсеевич Амбаров, «Витя»?.. Кто знает среду работников искусства, легко найдет таких рядом, узнает, как и их прихлебателей... А между тем В. Железняк спокоен в своей манере письма, даже снисходителен — сатирический пафос не по нему. Да и зачем? У творческого человека всегда есть своя вера в справедливость и свое достоинство.

Веру в святость истинного искусства и высокое достоинство человека умеет внушить своим читателям-собеседникам Владимир Степанович Железняк. Впрочем, «умеет» не совсем то слово — ему всею жизнью дано право на откровенность. А откровенность человека, много познавшего в мире искусства и среди людей, обращается сокровенностью, самым дорогим даром в искусстве слова. И сокровенное В. Железняк обретает в своих произведениях, не прибегая к новомодным изыскам, оставаясь простым и доступным любому читателю.

Неискушенным в искусствоведении людям повести В. Железняка о творчестве внушают уверенность в себе: не будьте самонадеянны — и святое искусство вам откроется. Человеку, занявшемуся эстетическими новациями, если он еще способен к здравой самооценке, писатель даст понять неновую (как все вечное) мысль: великое и святое всегда обнаруживает себя в простом.

Демократизм Владимира Железняка непосредственен, поскольку пришел от жизни. Гражданственность его убедительна, потому что нет за ней лукавства и нередкого еще в литературе стремления «показать кукиш в кармане». Нравственные и эстетические представления писателя тверды и определены в своей ориентации на традиции русской классики, испытанные временем...

Да, я вел речь о последней повести В. Железняка «Осенний мотив» и не заметил, как перешел к обобщениям. В ней, действительно, сконцентрировался тот дух творчества, который вел писателя многие годы. Вел своим, порою незаметным для окружающих, путем и вывел к тем главным проблемам, которыми живет наше время. А время всегда требует живой работы.

Своеобразие В. Железняка — историка культуры —

отчетливо проявилось в его повести о Василии Сиротине «Неистовый семинарист». Документальная в своей основе, она впервые рассказывает о судьбе вологодского поэта-семинариста, автора песни «Правая-левая, где сторона...», о котором до сих пор было известно очень немногое.

Я бы сказал, что по своему характеру это повесть бытовая. Нет в ней крупных исторических деятелей и не идет речь о значительных исторических событиях. Но повесть исторична самим духом своим, стремлением писателя воспроизвести бытовой уклад, отношения своих героев так, как он их представляет характерными для того времени — первой половины XIX века.

Обстановка передается скрупульезно, но точно, чаще всего — через восприятие главного героя. И это придает описаниям живость, непосредственность действительной жизни. Мы легко можем пройти, если захотим, теми улицами, где ходил Сиротин, попасть в архиерейский сад, что зовется теперь парком ВПВРЭ, или в церковь Дмитрия Прилуцкого, что на берегу реки Вологды, где часто бывал герой.

Сын мелкого церковного служителя, сам семинарист, человек беспокойный, думающий и дерзкий, пробующий силы в сатирических стихах, молодой вольнодумец не в почете у начальства, хотя кое-кто понимает, что он талантлив. Но ходу ему нет, и не удалась даже личная жизнь — любимая вышла замуж за богатого старика. Это и рождает трагическое мироощущение, которым пронизаны слова песни «Правая-левая...»

Жизнь Василия Сиротина — жизнь неудачника поневоле, потому что ему выпала редкая удача — родиться талантливым. А не характерен ли такой итог? Железняк отвечает утвердительно: судьба крепостного художника Тюрина, о котором повесть упоминает вскользь, не слаше... Писатель удачно передает остроту ощущения бесправности и бесперспективности жизни этих талантливых людей в старой чиновничьей Вологде.

Удачно сочетающее беллетристическое повествование с элементами исследования, В. Железняк достигает исторической достоверности. Повесть неровна композиционно, но этому есть свое оправдание: далеко не все известно о жизни несчастного поэта, даже не ясно, где и как он

окончил дни свои. И писатель верно сделал, что не пошел по пути домысливания. Тот финал, что нам известен, говорит сам за себя: пропал человек...

Работа писателя над образом бывшего поэта-семинариста вызвала общественный резонанс. Известно, что после семинарии Василий Сиротин был назначен приходским священником в Усть-Сысольский уезд, и Коми-республиканская газета «Красное знамя», откликнувшись с уважительным вниманием на повесть В. Железняка, обратилась к своим читателям с предложением продолжить поиск писателя из Вологды и найти новые материалы о поэте (14 октября 1970 года).

5

Книга писателя о Ф. М. Достоевском, о последних годах его жизни — самая поздняя в творчестве Железняка. Тем не менее, она созидалась во время почти всей (и долгой!) творческой жизни писателя. Наверное, мысль о ней родилась еще на семинаре Леонида Гроссмана, в котором занимался В. Железняк, учась на Высших гослиткурсах.

С конца войны появляются первые новеллы писателя о Достоевском, который стал для него любовью на всю жизнь, деятельной любовью. Отдельные рассказы исподволь появлялись в периодике, радуя своеобразным и точным видением героя. «Настенька», «Вологодский ученик Достоевского», «Курсистка» и многие другие новеллы запомнились читателям. Они приближали к нам духовный образ великого писателя, оказались явлениями оригинальными, по-своему неповторимыми.

Надо заметить, что до сих пор образ Достоевского как проблема художественная отпугивает писателей своей сложностью, которой не убоялся В. Железняк. И вот теперь сложился цикл новелл, объединенных в одну книгу (кстати, и за ее рамками еще остались вещи, достойные внимания). Впечатление оказывается еще более отрадным, а работа писателя — полезной и необходимой.

Интересно взглянуть на библиотеку писателя только в этом ее разделе — книги Достоевского и о Достоевском. Тут и собрание сочинений великого писателя (1956—59 г.

изд.), и «Дневник писателя» еще дооктябрьского издания, воспоминания жены писателя Анны Григорьевны (тоже старого издания) — лишь недавно они вновь переизданы, книги Л. Гроссмана — не только биография в серии ЖЭЛ, но и довоенная летопись жизни и творчества писателя, новейшие исследования творчества Достоевского и редкие книги о нем.

Да, в самом деле, В. Железняк — большой знаток жизни и творчества Ф. М. Достоевского, но не значит ли это, что он просто компилятор, который добросовестно излагает давно известное? О, вовсе нет, хотя и такой путь в литературе возможен и вовсе непредосудителен.

Нет нужды говорить, как сложна личность Ф. М. Достоевского, как противоречиво в течение многих десятилетий оценивалось его творчество. Теперь многое в оценках гениального писателя «утряслось», многое становится на свои места. И взаимопониманию с Достоевским, наряду с такими исследователями его творчества, как, например, Г. Фридлендер, Ю. Каракин, Ю. Селезнев, способствовал своими новеллами и В. Железняк.

Конечно, В. Железняк всегда предельно точен: он художник-документалист. За его страницами можно найти первоисточник, тем более теперь, когда издано полное собрание сочинений Достоевского.

Допустим, в новелле «Бурлаки» («На художественной выставке») речь идет о посещении Достоевским выставки передвижников, о Куинджи, Репине и других художниках. Заглянем в «Дневник писателя» за 1873 год, и в статье «По поводу выставки» мы найдем те же суждения Достоевского, которые легли в основу новеллы Железняка. Будучи точным в основном, писатель-биограф уже свободно (но опять же на почве точного знания историко-литературных фактов) ведет сюжет, вводит портреты писателей А. Ф. Писемского, Д. В. Григоровича, воссоздает бытовой фон. И сколько же пришлось поднять материала, прочесть, перечувствовать, чтобы ожили для нас люди той поры и само Время.

Уже в этом В. Железняк художественен — у него свое видение эпохи. Документальная основа не должна подавлять писателя-биографа, и В. Железняк свободен в вымысле. Правдивость и типичность вымышленных персо-

нажей обусловлены тонким пониманием душевного мира самого Достоевского, его концепции человека.

Свое видение прорывает завесу времени и позволяет Железняку понять то, что недоступно никаким мемуарам. Читаешь «Настеньку», «Курсистку» — ну где они, такие женщины, в дневниках ли, письмах Достоевского? Нет их, таких, а в достоверность их верится абсолютно.

Срабатывает чувство времени, свободно проявляется острое и точное ощущение атмосферы всего творчества Достоевского. Потому-то Железняк создает вымышленные образы, равные по достоверности образам личностей исторических и, может быть, по художественной обобщенности еще более значительные. Хотя, впрочем, как же так: Настенька значительнее Григоровича? Ну и что же? Словесность ведь не равнозначна истории, у них цель одна — утверждение человека, а средства разные.

Рассказы «Настенька» и «Курсистка» привлекают своеобразием позиции В. Железняка, выбором героев. Ситуации чем-то напоминают романы Ф. Достоевского: резкой расстановкой персонажей, нередко — их полярностью, напряженностью идеиного диалога. И этим самым Железняку удается убедительно воссоздать и общественную атмосферу времени, и духовный облик любимого им с давних пор писателя.

Цикл новелл о Достоевском, наряду с образом самого писателя, создает целую галерею портретов деятелей русской культуры, сановников того времени и родственников писателя. Для каждого героя Железняк нашел необходимо точные штрихи, умея добиться ясности общественно-политической характеристики. При этом его персонажи живут в новеллах действительной жизнью в гибкой лаконичности психологического рисунка.

Успех приходит, наверное, потому, что сам В. Железняк так постиг пафос Достоевского-художника, так про никся его гуманистической идеиностью, что смело идет вслед за своим великим героем. Нет, ему не достанутся лавры эпигона: умея по-достоевски понять душу простого, обиженного жизнью человека, он пишет по-своему, просто и непритязательно, избегая психологической усложненности. И он прав: каждый писатель может состояться

только в формах, ему свойственных,— зачем же рядиться в одежды великих...

В последнее десятилетие Владимир Железняк успешно работает в жанре исторической повести, тогда как до недавнего времени в его творчестве преобладали рассказ из отечественного прошлого и миниатюра. В повестях находит писатель живое дыхание истории, вполне осваивается с характерами людей, умело — в немногих деталях — воспроизводит быт. Несомненно, исторические повести — вершина творчества писателя.

Для В. Железняка сквозная тема — рост национального самосознания русских людей из разных слоев общества, что в условиях тяжких исторических потрясений претерпевало суровое испытание. То, что писатель во многом идет от местного, вологодского, материала, усиливает его художественные позиции, поскольку дает возможность показать не только «верхи», но и «глубинку». Больше всего влекут Железняка или переломные, или малоизвестные страницы русской истории.

Начало XVII века («Смутная пора») уже во многих сочинениях было предметом художественного изображения. Владимир Железняк в повести «Лихолетье» находит свой поворот темы, поскольку избирает точку видения из провинции: материал во многом организуется вокруг вологодского мастера-иконописца Ареева.

Радует в повести «Лихолетье» лапидарная краткость и резкость портретов, особенно исторических. Интересно очерчены образы Василия Шуйского, Скопина-Шуйского, Басманова, царицы Марфы. Но самая заметная удача — образ Лжедмитрия I: в нем В. Железняк видит умного государственного деятеля и человека по натуре своей русского, но запутавшегося в сетях интриги. А уже «тушинский вор» рисуется как фигура прямо противоположная, далекая каких бы то ни было национальных интересов.

Переломные эпохи открываются В. Железняку в их противоречивости, которую исследует он без предубежденности и «натяжек», которые в сочинениях на подобные

темы очень и очень нередки. Думается, как раз повесть «Россия на гауптвахте» — большая удача писателя.

Время недолгого царствования Павла I, отразившееся в беллетристике мало и лишь опосредованно, писатель рисует в двух направлениях: он показывает, с одной стороны, дворянский и дворцовый быт, а с другой — жизнь крестьян и солдатской казармы. Обе линии пластично связаны через образы императора Павла и офицера из податных Павлова, причем тот и другой своеобразно открылись художнику.

Быстрая карьера бывшего крепостного, солдата Ивана Павлова — это отражение качеств императора. Для него свойственна страсть к казарменной муштре, но и примечательны потуги, пусть безрезультатные, облегчить положение податного сословия. В своеобычности характеров рисуются люди и других сословий, будь то крепостная Дуняша или помещик-однодворец Назаров, вялый и сомневающийся Александр I или вероломный граф Пален.

При всем этом густа событийная сеть повести. Уместно появляется на ее страницах Суворов, любопытны страницы об индийском походе казачьего атамана Платова. Железняк не гнушается и прямых политических монологов, например, о положении в Европе и Наполеоне, о присоединении Грузии и экономических выкладок о состоянии крепостного хозяйства. Конечно, повествование по этой причине несколько «сушится», но ощущение времени становится объемнее.

Издавна занимает В. Железняка образ Ивана IV Грозного — предмет для многих историков и литераторов привлекательный. Писатель обращается к малоизвестным страницам: это самые ранние годы будущего самодержца («Зарницы над Русью»), когда правительницей была его мать Елена Глинская, и начало царствования Ивана IV в пору его первого, счастливого брака («Анастасия — царица Московская»).

Казалось бы, В. Железняк особенно интересуется частными сторонами дворцовой жизни, но через них-то и даются ему характеры. Особенно интересен Иван, сначала — нежный, привязчивый мальчик, любящий свою мать и любимый ею; потом юноша своеенравный и грубый, в котором эти черты стремятся закрепить бояре,

его опекуны; наконец — умный и расчетливый государственный деятель, счастливый семьянин. Характер открывается в развитии, и любая перемена в нем строго мотивирована.

Обаятельны женские образы в повестях В. Железняка: это и Ксения Годунова в повести «Лихолетье», и Елена Глинская, и царица Анастасия. «Значение женщины в русском обществе до Петра Великого остается совершенно загадкой в ученом смысле», — писал некогда В. Ф. Одоевский в «Русских ночах» («Наука», Л., 1975, стр. 182). Она, эта загадка, не очень разъяснена и ныне.

У В. Железняка мы видим характеры женщин поистине русских (Ксения, Анастасия), доброта и участие составляют их силу и определяют ум. Отсюда и та роль, которую они незаметно играли в государственной жизни. Бог весть, как бы повернулось правление Ивана IV, не будь отравлена его мать Елена Глинская, не скончайся его первая жена еще в молодости, до тридцати лет...

Понятно, что повести В. Железняка не во всем безупречны, но их недостатки — это, в сущности, достоинства, доведенные до предела, до утраты чувства меры. Можно отметить страницы, изложенные предельно сухо, вставные эпизоды, занявшие излишне много места. Вместе с тем, иначе и трудно, почти невозможно работать писателю-документалисту. И недостатки его, другими словами, есть лишь издержки собственной художественной манеры.

Кропотливо разысканный документ в областном архиве, картина неизвестного художника, извлеченная из запасников музея, или другой подобный случай — все послужит к тому, чтобы прошлое оживало в воображении и под пером писателя Владимира Железняка. И немало забытых страниц из отечественной истории стали, благодаря ему, нашим неотъемлемым достоянием.

* * *

Более полувека творческой работы и полные восемь десятилетий жизни — сроки солидные. В последние годы Владимир Железняк как бы открыл второе дыхание,

работал продуктивнее, чем раньше. Хотя, впрочем, и раньше сделано очень и очень немало...

...А в квартире Железняков на улице Кирова, которую и сейчас не забывают надежные друзья, кажется, все остается по-прежнему. Только встречает их не Владимир Степанович, с тихой, слабой улыбкой поднимающийся с кресла, а портреты его. Еще молодого, сорокалетнего — в прихожей, и в переднем углу над креслом — такого, каким знали мы его в последние годы...



Михаил Шолохов (и другие)

ГОЛОСА В НЕМОТЕ

Письма, ставшие судьбоносными
в жизни ссыльного

От составителя. В последнее время мы многое узнали про те глухие годы, когда человека срывали с места, от родных людей и привычных дел, и разгоняли — кого по лагерям, иных — на поселение, а то и на вечный покой. Масштаба насилий не представляли до недавнего времени и те, кто в сознательном возрасте пережил эти годы. Сколько миллионов судеб сокрушено! А ведь каждый человек — венец творения, неповторимая личность, и что же им пришлось пережить... Кому — недели и дни под пытками перед расстрелом, кому — годы жалкого прозябания.

Может быть, впервые трагедия вымирания с великой скорбью и достойным мужеством основательно выражена в романе Ирины Головкиной (Римской-Корсаковой) «Побежденные» («Наш современник», 1992, № 1—9). Это — горькое свидетельство очевидца, утратившего всех своих близких. Такого же порядка явление и записки Н. В. Железняк «Глухие годы». И ей, и Владимиру Степановичу полной мерой довелось испытать бездомность, холод, голод — в среде, к которой не были они приспособлены, в людях, порою и добрых, но тем не менее чужих.

И все-таки с самого начала в густом, казалось бы, вовсе непроницаемом мраке брезжил для них лучик пусть не надежды, но хотя бы живого сочувствия. Нина Витальевна встретила душевную поддержку уже в тюрьме, от подруг по несчастью. Еще интереснее осветился драматический узел в судьбе В. С. Железняка: вмешательство В. В. Вересаева и... рабочих трамвайного парка предопределило вдруг не самый жестокий исход судьбы молодого писателя (об этом — заметка Н. В. Железняк, открывавшая нашу подборку писем). А ведь «за проис-

хождение» расстреливали детей чиновников да генералов более мелкого ранга, нежели С. П. Белецкий.

И в последующие годы, казалось бы, безнадежного прозябания и безвестности (о нет, только в «органах» не забывали, хотя особо и не тревожили в надежной изоляции) нет-нет да и прорвется слово взаимопонимания, поднимется рука поддерживающая. Тому свидетельство — письма, выбранные нами, 1955—1964 годов. А более ранних и быть не могло: кто бы осмелился писать ссылочному сыну расстрелянного сенатора тогда, когда люди и подумать-то откровенно боялись.

Но в первые годы ссылки не отказался поддержать ссылочного писателя А. А. Фадеев (об этом пишет Нина Витальевна в своих записках). И спустя уже почти двадцать лет происхождение В. С. Железняка вызывало страх среди многих окружающих. Не удивительно, что так скучно издавали В. С. Железняка до середины семидесятых годов, скрывая страх, изыскивая «художественные» мотивы отказов. Но ведь лукавство открывается в конечном счете: написанные ранее «Пассажиры разных поездов», «Кружевное панно», другие повести и многие рассказы со временем увидели-таки свет!

Как удалось выстоять писателю В. С. Белецкому-Железняку, знает только Нина Витальевна, чья бесконечная верность, безунывшое долготерпение были опорой писателя все те долгие годы. А для нас пусть кое-что приоткроют хотя бы немногие письма. Эти голоса в немоте дали им силу выжить несколько глухих десятилетий.

Н. В. ЖЕЛЕЗНЯК

(В. Белецкий-Железняк и В. В. Вересаев)

После опубликования первой повести («Она с Востока») в альманахе «Недра» (1931, № 18) Владимиру Железняку предложили командировку на Украину, чтобы увидеть ход коллективизации и написать для сборника повесть. После командировки Володя написал роман «Пассажиры разных поездов» — о судьбах интеллигенции и обывателей, а вовсе не по крестьянскому вопросу. Вышел роман в 20-м альманахе «Недра» 1931 года. Вересаеву вещь понравилась меньше, чем первая (ее переиздали с большими купюрами, назвав «повестью», в Северо-Западном издательстве в 1982 году).

Железняк между тем решил устроиться на постоянную работу. С 1931 года он является литсотрудником всесоюзной газеты «За пищевую индустрию», а с 1933 по 1935 год — зам. редактора многотиражной газеты Краснопресненского трамвайного парка «ЭЗТ» «За здоровый трамвай». Там его попросили вести на общественных началах литературный кружок для рабочих парка. Познакомился он с кондукторами, девушками-вагоновожатыми, другими трамвайщиками. Они любили его рассказы о русских писателях, о русской истории. А в газете стали появляться Володины очерки и статьи о его новых знакомых и товарищах. Рассказ «Преступление вагоновожатого Ильюшина» удалось напечатать в № 11 журнала «Молодая гвардия» в 1933 году.

К 1934 году у Железняка был написан рассказ «Оловянные солдатики», основанный на воспоминаниях о детстве в голодном Петрограде 1919 года.

— Этот маленький рассказ есть большая литература! — многозначительно сказал Вересаев молодому коллеге.

Однажды, когда Володя зашел на квартиру к писателю, тот сказал:



В. В. Вересаев на фоне ВГЛК

— Я бы Вам посоветовал уехать из Москвы года на два. Мог бы устроить в одну из экспедиций, например, на Новую Землю. Поезжайте, не пожалеете... Новые впечатления и встречи — это вам пригодится для дальнейшей работы.

...Удивительный был человек Вересаев, неподкупной прямоты и честности. Обо всем он имел собственное, несмотря ни на что, мнение. Принципиально, выходя на улицу, надевал свое старое генеральское обмундирование (он был участником русско-японской войны 1904—1905 годов), за это его многие осуждали, но таких уж он был.

Прислушаться бы Володе к словам старого писателя, угадать что-то несказанное за их непонятной скрупульностью. А ему не хотелось уезжать из Москвы так далеко. Он заканчивал историческую повесть о русских императорах «Голубые озера», в «Никитинских субботниках» читал свою документальную повесть «Пространство в тысячу шагов», ее надо было устраивать в печать.

— Напрасно, напрасно, пожалеете потом... — Викентий Викентьевич был немногословен.

Так и случилось. В 1935 году Железняк был арестован. Ему предложили выехать из Москвы на три года в ссылку. До этого пришлось посидеть и в одиночке, а затем в общей камере.

Предложили выбрать для ссылки один из трех русских городов. В Самару побоялся ехать — там в начале века отец служил вице-губернатором. Остановился на Вологде. Оказалось, что о его освобождении хлопотали, как сказал следователь, В. В. Вересаев и рабочий класс, те самые «трамвайщики».

Больше встречаться с Викентием Викентьевичем Владимиром Степановичу не пришлось. Как он плакал, когда в 1945 году прочел в газете некролог о его смерти! Это было в Вологде, на улице Герцена, 76, у Палиловой.

В 1989 году областной музей открыл у себя выставку, посвященную 85-летию ушедшего из жизни писателя Владимира Железняка. В одной из витрин стояла фотография его дорогого учителя, старшего друга — Викентия Викентьевича Вересаева, сыгравшего столь неоценимую роль в его судьбе.

1. В. М. ЛОБАНОВ

11 марта 1955

...повесть¹ Ваша мне понравилась, она легко читается, люди в ней живые, нашенские, говорят на настоящем, крепко настоенным прошлым, языком Тургенева, Гоголя, Гончарова. Вы их хорошо разместили в жизненной ситуации, и поэтому они подкупают своей естественной простотой.

Отдельные шероховатости я легонько отметил карандашом... Только в одном я не согласен с Вами — это эпилог. Он схематичен, написан, как мне кажется, чтобы «закруглить повесть», чтобы благополучно разделаться с героями, рассадив их по углам, найти какое-то место в жизни. В нем нет той теплоты того Вашего голоса, который так хорошо чувствуется во всем предшествующем.

О новеллах напишу отдельно, поскольку это вещи самостоятельные и по своему внутреннему строю, и по ритму, и сюжетной направленности...

Ваш В. Лобанов.

2. С. В. ВИКУЛОВ

13 октября 1955

Уважаемый Владимир Степанович!

Я с сожалением узнал о том, что вчерашнее наше собрание² так плохо сказалось на Вашем здоровье.

Лобанов В. М.— член-корреспондент Академии художеств, заслуженный деятель искусств; письмо дается в сокращении.

¹ Речь идет о будущей книге «Повесть о творчестве», пережившей многие мытарства.

Викулов С. В.— известный русский поэт, родом из Белозерья, с 1961 года — ответственный секретарь Вологодской писательской организации, с 1966 года — редактор журнала «Наш современник».

12 октября 1955 года состоялось собрание, в котором приняли участие С. В. Викулов (тогда руководитель областного литературного объединения), директор Вологодского книжного издательства В. М. Малков, критик В. В. Гура и другие литераторы. Собравшиеся обсудили, а вернее — осудили, «Повесть о творчестве» В. Железняка, и руководило им выступлениями не столько литературное чутье, сколько страх перед социальным происхождением автора, страх, многие годы отравлявший жизнь писателю.

Знаю, что Вы обижены на меня и как на председателя собрания, и как на критика. Признаю, что Ваши обиды не безосновательны: я и председатель плохой, и критик неважный. По дороге домой я с огорчением припомнил, что, говоря о недостатках повести, в пылу сумбурной полемики совершенно забыл сказать о ее удачах, которых немало.

Я хочу всем сердцем, чтобы Вы как можно скорее обрели душевное спокойствие и поняли, что, в сущности, ничего особенного не произошло. Повесть остается. И замечания (не все, конечно), высказанные участниками обсуждения, я уверен, помогут Вам улучшить ее.

Приношу Вам искренние извинения и желаю скорейшего выздоровления! Привет Нине Витальевне!

Жму Вашу руку, С. Викулов.

З. М. А. ШОЛОХОВ

1 декабря 1955

Дорогой т. Железняк!

Виноват — и много — перед Вами за долгое молчание, потому и прошу извинить меня.

Я целиком за то, чтобы «Северян»¹ печатать при некоторой (непременно умной и вдумчивой) редакторской правке.

Как живете? Как работается? Искренне желаю Вам всяческих успехов!

Ваш М. Шолохов.

Шолохов М. А. (1905—1983) — русский писатель, автор эпопеи «Тихий Дон», лауреат Нобелевской премии.

¹ Речь идет о будущей книге «Повесть о творчестве», рукопись которой отчаявшийся В. С. Железняк решил послать в станицу Вешенскую.

4. А. А. ФАДЕЕВ

18 апреля 1956

Уважаемый т. Железняк!

Не осудите меня за то, что рукопись Вашего романа¹ попала ко мне так поздно: я проболел в течение трех месяцев и только-только вышел из больницы. Все мои дела сильно запущены, не говоря уж о том, что мне с удвоенной энергией придется сейчас «форсировать» собственный роман «Черную металлургию». И мне нет сейчас никакой возможности лично править Вашу рукопись. Ужасно жалею, что не смог своевременно предложить отдельные главы в редакции толстых журналов в связи с датой Достоевского. Сейчас журналы уже вряд ли пойдут на это.

Но я направил Вашу рукопись члену секретариата Союза писателей и руководителю так называемой областной комиссии Георгию Мокеевичу Маркову² с просьбой обсудить Ваш роман на комиссии с вызовом автора. И может быть — в зависимости от мнения комиссии — встанет вопрос об издании романа в «Советском писателе».

Еще раз глубоко извиняюсь за невольную задержку и прошу Вас снестись с Г. М. Марковым, а в случае чего — опять со мной³.

Желаю Вам всего доброго и крепко жму Вашу руку.

Ваш А. Фадеев.

Фадеев А. А. (1901—1956) — известный советский писатель, автор романов «Разгром», «Молодая гвардия», член ЦК КПСС, в те годы — секретарь правления Союза писателей СССР.

¹ Речь идет о книге новелл В. С. Железняка «Последние годы Федора Достоевского».

² Марков Г. М. (1911—1986) — известный советский писатель, Герой Социалистического Труда, в последнее десятилетие своей жизни возглавлявший Союз писателей СССР.

³ К сожалению, списаться в дальнейшем с А. А. Фадеевым в связи с его трагической кончиной В. Железняку не довелось.

5. М. П. СОКОЛЬНИКОВ

Москва, 2 августа 1957

Уважаемые товарищи!¹

Я недавно познакомился с книгой вашего вологодского искусствоведа В. С. Железняка — «Повесть о творчестве». Он соединяет в себе знатока искусства и писателя, а это так редко.

Повесть Железняка произвела на меня очень хорошее впечатление. Автор знает среду периферийных художников, понимает ее и любит людей искусства. Его книга создана с человеческой теплотой, а мысли о творчестве и неотложных задачах живописи, о национальных традициях возбуждают самые лучшие цели.

Мне хочется отметить также яркую советскую содержательность повести, ее горячий патриотизм, страстную любовь к родному краю, его старине и людям современности.

Поздравьте от моего имени Владимира Степановича. Как приятно, что в вашем коллективе есть такие культурные деятели.

Шлю вашему коллективу свой сердечный привет и пожелание успеха в предстоящих выставках.

Ваш М. Сокольников.

Сейчас только что прочел заушательский фельетон И. Окунева в «ЛГ» о книге Железняка. Это — пасквиль на книгу. Здесь принимаются меры ответить этому клеветнику.

М. Сокольников.

Сокольников М. П.—искусствовед, сотрудник Академии художеств, автор ряда монографий о русских художниках.

Письмо в адрес правления Вологодской организации Союза художников зачитано на общем собрании художников.

6. Н. С. ТИХОНОВ

10 апреля 1959

Уважаемый Владимир Степанович!

Я получил Вашу книгу о художнике Верещагине¹, прочел ее внимательно, и мне показалось, что если бы Вы взялись написать большую книгу о жизни этого интереснейшего и талантливейшего человека и мастера-художника, то у Вас книга бы получилась. Не знаю, такое у меня сложилось представление. Но и сейчас в отношении своего земляка Вы сделали доброе дело.

Приношу Вам свою благодарность за память и за книгу с лестной надписью. Хочу сказать Вам, что Вашу просьбу я исполнил и Ваша книга отослана как нашему старому другу, замечательному Л. Стоянову, так и в библиотеку города София.

Книга Ваша живая и содержательная, аккуратно издана, хорошо иллюстрирована при своем скромном размере.

Желаю Вам дальнейших успехов.

С уважением

Н. Тихонов.

7. М. А. ЧЕРКАССКИЙ

Ленинград. 11 мая 1963

Эта повесть¹ написана чисто и добро.

Но уже задолго до того, как автор откровенно признается в своей любви к Достоевскому, видно, какому образцу следовал он. Из «Идиота» взята линия Люд-

Тихонов Н. С. (1896—1979) — советский писатель, автор многих книг стихов и прозы, председатель Советского комитета защиты мира, Герой Социалистического Труда.

¹ Речь идет о книге В. Железняка «Художник Верещагин» (1959).

М. А. Черкасский — ленинградский критик.

¹ Отзыв написан на первый вариант повести, опубликованной двадцать лет спустя под названием «Кружевное панно».

милы и Петра. От Достоевского и линия Фени, соблазненной предельно гаденьким Мишелем и с трепетом «подобранный» чистейшим Григорием Александровичем. От Федора Михайловича и сам рассказчик. От Достоевского и весь стиль повести...

Кстати, о стиле. С одной стороны, это рассказ непосредственного, живого, доброго человека. Своего рода чистого «Идиота». С другой — расчетливое повествование думающего о композиции, остроте и других компонентах писателя. Чем иначе, например, можно объяснить, что повесть начинается с удара ножом в спину Людмилы. Читатель заинтересован, но автор бросает эту нить и вяжет неторопливый узор других судеб. Он так прямо и формулирует свою задачу:

«И знаете, когда я сидел в приемном покое хирургического отделения и ждал в неимоверном волнении, я переживал все то, о чем написал. Я ведь ожидаючи твердо решил, какой бы исход не случился с Людочкой, все это описать, а рукопись предложить издательству. Ведь должны же там, в редакции, заинтересоваться жизнью наших мастерий — милых девушек, художниц, быть наш украшающих. Непременно должны...»

Производству, кружевницам — милым девушкам уделено много внимания... Просветительству вообще отдана немалая дань.

Язык повести движется по двум рельсам — один живой, непосредственный, «задыхающийся», другой — казенный, газетный, тяжеловесный. Герои в основном говорят первым. Авторские пояснения даются вторым... Но есть и «третий стиль», уже чисто писательский. «Вера Герасимовна шла по улице. Разговаривала с невидимым собеседником. Хмурилась. Улыбалась. А кругом был ранний весенний вечер. На бульварах березки. Лужи — и в них розовели облака».

М. Черкасский.



Писатель Вл. Железняк среди своих персонажей. 1989 г.



Конец масленицы в Вологде. 1990 г.



У березы Железняка. 1985 г.



В избе. 1970-е гг.



Улица и кошка. 1980 г.



Интерьер в башне Кремля. 1950-е гг.



Пегас. 1971 г.



Весна идет. 1988 г.



Свет искусства. 1988 г.



Сретенская церковь. 1990 г.

8. В. В. ВЕРЕЩАГИН

Карловы Вары. 20 мая 1964

Многоуважаемый Владимир Степанович!

С ноября 1962 г. я старался узнать Ваш адрес, чтобы поблагодарить Вас за любезно присланную мне Вашу книжку «Художник Верещагин». Только недавно я получил его (адрес) от сотрудников череповецкого музея.

Книжку Вашу я читал с удовольствием. В этой небольшой по объему книжке, написанной хорошим литературным языком, читатель найдет ясный и правдивый образ Верещагина как художника, мыслителя и человека.

Нет в ней и неправдоподобных легенд или выдумок, существующих приукрасить события и усилить впечатления, производимые на читателя, при чтении которых невольно вспоминаются поговорки: «Для красного словца не пожалею родного отца» или же: «Время как очевидец».

Подобные легенды встречаются, к сожалению, даже у таких серьезных худ. критиков, как А. К. Лебедев, А. Н. Тихомиров, которые принимают их без достаточной критики (не говорю уж о невежественной «стрипне» К. И. Коничева¹, о которой будет речь ниже!).

Читал я также две Ваши статейки, напечатанные в «Красном Севере», а именно «Художник-патриот» — к 120-летию со дня рождения, а также к 60-летию со дня гибели В. Верещагина.

Верещагин В. В.—сын знаменитого художника-баталиста, нашего земляка, жил в г. Карловы Вары (Чехословакия), деятельно занимался судьбами творческого наследия отца, имел постоянные связи с музеем В. В. Верещагина в Череповце.

¹ Коничев К. И. (1904—1971) — русский советский писатель, наш земляк, родом с Усть-Кубинского района. Автор «Деревенской повести», книг о художнике Верещагине, скульпторах Воронихине и Шубине, «Петр I на Севере» и других. «Повесть о Верещагине» вызвала резкие возражения его сына, автора письма, которые он подробно обосновывает (эта часть письма опущена); основательное остро критическое письмо было направлено автором К. И. Коничеву, а к письму В. Железняку приложена копия этого письма.

К сожалению, описание последних минут жизни отца и адмирала Макарова¹, приведенное во второй статье и взятое из книги А. Степанова², является несомненной выдумкой. Это описание можно принять лишь как художественную фантазию и при том мало согласующуюся с действительностью, но ни в коем случае как факт, кем-то виденный и слышанный! И вот почему.

Японская мина, на которую наткнулся «Петропавловск», взорвалась у борта корабля в том месте, где внутри корабля находился склад мин, которые также взорвались, а затем (почти одновременно) взорвались и паровые котлы. Корабль, окутанный густым облаком пара, разломился на две части и с необыкновенной быстротой (по утверждению наблюдателей с берега — в течение 2—4 минут!) погрузился в воду полностью! Из всего экипажа спаслись только 4 человека, которые силой взрыва были выброшены далеко за борт и потому не попали в водоворот, образующийся при погружении судна в воду.

По просьбе моей матери все спасшиеся (4 человека) были опрошены, не видели ли они в момент гибели «Петропавловска» худ. Верещагина. Все ответили отрицательно! Но и без опроса совершенно ясно, что никто из них не мог видеть ничего из происходившего на корабле в течение 2—4-минутного его погружения, т. к. спаслись они только потому, что силой взрыва были выброшены по воздуху в море!

Со 100%-й уверенностью можно сказать, что описание гибели Верещагина и Макарова, приведенное у А. Степанова, было выдумано и при этом выдумано не моряком и вообще не военнослужащим, а штатской особой!

Дело в том, что не только офицерам, но и остальным военнослужащим старой русской армии и флота не разрешалось носить калоши. Даже щеголи-студенты в подражание офицерам не носили калош. В грязь, в слякоть некоторые офицеры (особенно отставные) рисковали надеть калоши, но попавшие на глаза коменданту города

¹ Макаров С. О. (1848—1904) — русский флотоводец и ученый, вице-адмирал, в 1904 году — командующий Тихоокеанским флотом.

² Степанов А. Н. (1892—1965) — автор знаменитого романа «Порт-Артур», о русско-японской войне 1904—1905 годов.

или комендантскому адъютанту, они немедленно отправлялись на гауптвахту!

А тут боевой, образцовый адмирал на флагманском корабле, где на палубе не найдете и пылинки, ходил в калошах!!!

Удивительно, с какой легкостью, бесцеремонностью и постоянством изобретаются и выпускаются в свет все новые, нелепые фантазии, долженствующие изображать жизнь и духовный облик художника Верещагина...

* * *

От составителя. Предложены вниманию читателей лишь немногие из писем, адресованных В. С. Железняку,— а их сотни в домашнем архиве писателя (часть сдана в облгосархив). Много писем поэта Сергея Красовского из Ленинграда (конца 40-х и начала 50-х годов). С тем же обратным адресом послания К. И. Коничева и позже — Д. М. Молдавского, до его последних дней. Сохранились десятки писем москвича В. М. Лобанова. Постоянными адресатами из Москвы были родственники «дяди Гиляя» (Владимира Гиляровского) со Столешникова переулка — Сергей Морозов, Виктор Авдеев, сотрудники Дома-музея Достоевского и т. д.

Как правило, письма не затрагивали общественно-политических проблем. Их обсуждения избегали и все граждане «совдепии», а уж бывшим лишенцам это и вовсе было заказано. Однако участливое внимание адресатов друг к другу помогало им преодолеть отчуждение от общества, навязанное властями, помогало выжить.

С конца шестидесятых годов содержание переписки существенно меняется. С выходом новых книг прозы Владимира Железняка он получает поддержку как старых испытанных друзей, так и обретает круг новых ценителей и почитателей его дарования. Исторические рассказы и повести писателя становятся явлением общественным, и заинтересованность читателя стимулирует творческую активность В. С. Железняка в его последнее десятилетие.

Жизнь, как всегда, берет свое и не всесильны над нею даже устои тоталитарности. Публикация В. А. Оботурова.

Юрий Домбровский

СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ

**В провинциальную Вологду:
письма другу**

Безжалостная колесница времени по-разному прошлась по судьбам двух людей, связанных многолетней преданной дружбой,— Владимира Степановича Железняка-Белецкого и Юрия Осиповича Домбровского (1909—1978). Оба они поражают верностью традициям русской интеллигенции, преданностью творчеству, силой своего духа.

Более полувека прожил Владимир Железняк в нашем северном городе, чаще всего отдаваясь заботам отнюдь не литературным. Вряд ли он представлял таким свое будущее, пускаясь в путь, когда опубликовал первые повести в престижном альманахе «Недра». Тогда, в начале тридцатых, ему не было еще и тридцати лет, а уже написаны и новые повести. Исчезли они в архивах НКВД. А какая неуемная энергия была и какая перспективная открывалась литературная «карьера»!

На долгие годы был отрешен от литературной работы и Юрий Домбровский. Его первый роман «Крушение империи» вышел еще в 1938 году, а следующий — «Обезьяна приходит за своим черепом» — только в 1959. Роман «Хранитель древностей» опубликован в «Новом мире» (1964) и отдельным изданием, но значительно урезанным. Теперь нам представилась возможность познакомиться с главным романом Юрия Домбровского «Факультет ненужных вещей» («Новый мир», 1988, № 8—11). Вслед за журнальной публикацией появилось и несколько книжных изданий. А вот уже открылось первой книгой и собрание сочинений в шести томах.

В. Железняк и Ю. Домбровский учились на ВГЛК (Высшие гослиткурсы) в 1926—1929 годах, потом для каждого началась литературная работа и... годы неоправ-

данных преследований. Владимир Железняк «по социальному признаку» — как сын сенатора — был сослан в Вологду. В лагерь попал остроумный весельчак Домбровский, дважды бежал, срок добавляли, а закончились скитания в Алма-Ате, где он пережил тоже немало мытарств. Лишь после смерти Сталина писатель получил вызов в Москву и комнату в столице.

Как раз в эту самую пору В. С. и Н. В. Железняки побывали у Домбровского и с тех пор переписывались. Несколько из этих писем сегодня и публикуется, открывая возможность читателям хотя бы немного понять интересы писателя, ход его работы над романами. Полагаю, что «Факультет ненужных вещей», так запоздало пришедший к читателям, станет одной из лучших книг наших дней. Непринужденная живость сюжета, трагизм и юмор, глубина философских обобщений делают этот роман о 1937 году явлением исключительным в нашей литературе.

По-разному сложились судьбы В. С. Железняка и Ю. О. Домбровского, но по-разному только в бытовых частностях. Жертвы сталинского тоталитаризма, они оказались сильнее навязанной им судьбы. Такое подвижничество по праву вызывает не только удивление и признание, но и поклонение.

Живой отсвет судьбы дышит и в каждой строчке писем Юрия Домбровского. Наплывает в них прошлое, припоминаются самые разные лица (удалось установить далеко не каждое из имен), сыгравшие и различную роль в жизни писателя. И не затухает ни на миг деятельность мечта о главном и непременном рождении будущей книги,— что ж, в ней отложился и весь смысл трудно прожитой жизни.

В них все интересно, в этих письмах: мимолетно брошенные замечания о поэзии или прозе; суждения об искусстве, всегда конкретные и точные. Нам дано почувствовать тусклую обыденность нищего существования старого писателя и высокий полет мысли, остро пережитой и чеканной. И в каждой строке безыскусно и искренне открывается перед другом-адресатом личность глубокая и неповторимая.

1.

1956

Дорогой друг!

Только что приехал и застал твои письма, вырезки и недоумения — полный стол вопросов и недоумений от всех моих друзей, но я был в Алма-Ате три месяца и, конечно, совершенно выбыл из пределов досягаемости. Сегодня первый день в Москве и спешу тебе ответить: был у Свет. Вли.¹ — говорил: твоя рукопись² пойдет на рецензию к Задорнову — второй рецензией они посчитают отзыв Вл. Герм.³ Таков железный порядок — меня тоже рецензировали двое, хотя, как ты знаешь, вещь уже была напечатана. Устраивает тебя Задорнов?⁴ Напиши. Я задержал посылку. Я его совершенно не знаю. Моя вещь все еще не ушла в типографию — ждет последней подписи глав. ред. Оформление столь ужасное, что я потребовал переделки. Делал его какой-то Снегур — газетный художник, иллюстратор шпионских романов Воениздата. Даже не захотел со мной повидаться, просукин сын! Вот так-то дела дорогой.

Вчерне кончил второй роман этого цикла «Факультет ненужных вещей». Теперь сяду за его переписку, т. е. напишу второй и третий раз.

Обнимаю, дорогой. Пиши.

2.

1959

Надпись на книге Ю. Домбровского «Обезьяна приходит за своим черепом» («Советский писатель», Москва, 1959 г.):

¹ Фамилия неизвестна, скорее всего — редактор в издательстве «Советский писатель».

² Будущая повесть «Кружевное панно».

³ В. Г. Лидин (1894—1979) — автор многих романов.

⁴ Н. П. Задорнов (р. 1909) — писатель, автор исторических романов «Амур-батюшка», «Капитан Невельский» и др.

Дорогому Вл. Железняку от его старого-старого, забытого-перезабытого товарища, однокашника и почитателя с истинной любовью и уважением подносится эта — воистину многострадальная книга.

Домбровский.

3.

1962

Дорогой Володя,
извини меня, пожалуйста, за назойливость, но у меня опять был такой противный период, когда я душевно зашивался и не мог отвечать на письма. Это у меня бывает. Не что-нибудь такое, а просто руки ни на что не поднимаются. Прошедший год был для меня здорово тяжелым, посмотрим, что даст этот. Статью¹ твою прочел и очень тебя благодарю за нее. Хорошая статья — последние работы Фаворского² — такие, как «Маленькие трагедии», «Борис Годунов» — мне тоже очень нравятся. Ни у кого так дерево не пело в руках, как у него.

Привожу тебе неизданное и не известное никому стихотворение О. Мандельштама³ (в подлинности не сомневайся — получил из найдостовернейшего источника).

Как дерево и медь — Фаворского полет.
В дощатом воздухе мы с временем соседи.
И вместе нас везет слоистый флот
Распиленных дубов и яворовой меди.
И в кольцах сердится еще смола, сочась.
Но разве сердце — лишь испуганное мясо?
Я сердцем виноват, я сердцевины часть
До бесконечности расширенного часа.
Час, насыщающий бесчисленных друзей,
Час грозной площади с счастливыми глазами.
Я обведу еще глазами площадь всей
Этой площади с ее знамен лесами.

11/11—37, г. Воронеж

¹ Статья В. С. Железняка о Фаворском.

² В. А. Фаворский (1886—1964) — русский советский график и живописец, народный художник СССР.

³ О. Э. Мандельштам (1891—1938) — русский советский поэт.

Немного заумно, как и многое из того, что писал он в последние годы (хотя среди этих неизданных и неизвестных есть такие шедевры ясности и выразительности, как «Импрессионность»), но зато стиль Фаворского тех лет передан хорошо и точно. Я не особенно люблю это назойливое обыгрывание одноозвучных, но разных по сути понятий (площадь площади), но ведь и Пушкин ими пользовался («но что же делает супруга одна в отсутствии супруга?»). Так вот, о Фаворском. Гравюра на дереве, конечно, таит большую опасность — она может быть попросту деревянной, и первое время Ф. и делал ее такой — монументально-неподвижной, с фигурами, похожими на тесаных святых (у вас, наверно, их много и в галерее, и в музее) — т. е. он их не резал по дереву, а высекал из дерева — как Коненков¹ своих баб — вот таким он мне мало нравился. Хотя у него и тогда самое главное — его почерк, стиль, художественная личность. Теперь он мне нравится очень. Эта сцена дуэли из «Каменного гостя» с тенью сабли и руки на стене — просто гениальна, хотя такие шутки больше любят режиссеры кино, чем художники.

Я таскаю твою статью все время в кармане, хочу показать ее такому любителю художеств и действительному знатоку, как С. Антонов. Ответил ли тебе Арбат?² Я его спрашивал несколько раз, и он всегда мне говорил с энтузиазмом и скороговоркой: «Обязательно, обязательно — вот узнал адрес и...». Слушай, какие здесь иконы есть у ребят!!! Вот, например, «Уверение Фомы» в холодно-синих грековских тонах. Впрочем, это и сюжет тоже грековский — церковь не пропагандировала ни опыт, ни образ этого первого скептика, наверно, икона подносная, именинная. Ездят, собаки, на Север — ходят, меняют, приторговывают — мне никогда ничего подобного не достать.

Очень-очень рад, что у тебя (очевидно, наконец-то!) телевизор. Сам я не могу заводить у себя этот театр

¹ С. Т. Коненков (1874—1971) — русский советский скульптор, народный художник СССР.

² Юрий Арбаг — писатель, автор книг по народному искусству, не раз бывал в Вологде. В библиотеке В. Железняка есть несколько книг с его автографами.

на дому — когда же тогда работать? Но когда попадаю в чужую квартиру, то смотрю с удовольствием. Страгаю роман — кончил первую часть — что будет, не знаю, и даже сколько стоит все написанное, тоже не знаю. Так отдельные главы как будто более или менее благополучны, но ведь смысл имеет только целое, и оно ведь не только состоит из частей, но и из ничего не состоит (поймешь меня), — оно — целое! Ладно, записался. Обнимаю тебя. Привет и поклон твоей милой супруге — дай ей Бог всего хорошего!!!

4.

1963

Володя, дорогой!

Прости, милый, опять задержал ответ, но тут вот какое дело — сегодня 7-е, а только пятого я сдал рукопись¹ машинистке. Пусть стукает. Сейчас лежу в своей голицынской берлоге и сосу лапу. Завтра начну опять портить чистые ученические тетради своими лукавыми мудрствованиями, ибо, уже сдав, понял, что не все дописал, а кое-что и не так написал. Надо бы поработать еще хоть с пятидневку, ну да пес с ним!

Торопят меня со сдачей рукописи на читку. Да я и сам в первый раз прочитаю все, что я понатворил в полном и связном виде, а то и писал и читал кусками. Когда прочту все, что есть, напишу тебе о своем впечатлении, а пока не знаю, что вышло. Вся рукопись (т. е. первая книга) немножко больше 15 п. л. (печатных листов, т. е. около 350 стр. машинописи.— В. О.).

Очень боюсь за лирические отступления, которых порядком (и сделаю для этой книги еще два — Ежов и Сталин). Впрочем, они у меня будут ввязаны в сюжет.

Очень боюсь и за композицию. Ввиду того, что моя цель показать, как на каждом человеке нашего времени скрещиваются все линии мировой истории и, скажем,

¹ Речь идет о рукописи романа «Хранитель древностей», опубликованного год спустя в «Новом мире».

события в Абиссинии толкают итальянца на немца, немца на поляка, поляка на русского,— то мне и приходится довольно обширно, наряду с раскопками, показывать Запад: Геринга, Геббельса, Гитлера, человека с судьбой Карла Осецкого (помнишь, лауреата Нобелевской премии, засаженного немцами в лагерь).

Связующее звено — удав, сбежавший из алма-атинского зоо и перезимовавший в горах. Он стал мировой сенсацией (такое действительно было) и вызвал много самых неожиданных откликов, явлений, аналогий и т. д. Этим я и пользуюсь. В общем, посмотрим!

Ты просишь рассказать о карагалинской диадеме. Добавить я могу очень немного. Я к этой теме еще не приступил детально (она будет во 2-й книге)¹. Нашел эту диадему лично я, т. е. не нашел, а задержал тех, кто принес к нам в музей золотые бляшки. Это было в 1939 году. С тех пор писали о ней довольно много, но научно она еще не издана.

Более или менее твердо решен только вопрос о народности зусуни (т. е. казахи). Насчет колец (их размера) вопрос решался просто — оказывается, эти кольца со сжимающимся устройством. Так что грациальная женщина — не воровка. Есть еще версия — эта китайская невеста-царевна, которую везли в брачном уборе и которую похитил ибрис — горный барс. Видишь, без барса не обойдешься, но я думаю, что клевета. Барс такими дешевыми номерами (похищение красавиц) не занимается.

В общем, пока ничего умного не придумано. Археологически и искусствоведчески эта находка достойна всяческого внимания. Диадема, бляшки, кольца — очень совершенные образцы ювелирного искусства. И это безусловно местное изделие: джейраны, туры, верблюды, тигр, барс — это все фауна этих мест.

Меня очень интересует внешность женщины — череп был послан в свое время Герасимову, нужно будет установить, сохранился ли он и не сделана ли им хоть карандашная реконструкция лица. В музее никто ничего не

¹ И действительно, все детали, о которых ведется речь ниже, нашли место в романе «Факультет ненужных вещей».

знает и не помнит. Придется все это восстанавливать самому.

Вот, кажется, все самое существенное об этой находке. Повторяю, когда займусь ею вплотную, узнаю и, если захочешь, напишу тебе больше.

Живу в Голицыно¹ — скучаю, ибо никого стоящего внимания и разговора нет — порхают тихие бесплотные ангелы, какие-то тени прошлого. Заходит иногда Я. Шведов², и мы с ним выговариваемся о курсах. Видал ли ты, кстати, карикатуру Кукрыниксов, где есть некоторые наши соученики?

Ну пиши, дорогой, привет. Юрий.

5.

26 декабря 1963

Дорогой Володя!

Спасибо тебе за доброе, хорошее письмо. Оно поистине меня утешило. Да, и это пройдет, и мы пройдем, и, вероятно, так и следует, хотя в биологическую неизбежность смерти я не верю — она, конечно, как писал Баратынский — «принужденье — Условье смутных наших дней»³. Культ ее мне активно враждебен и противен, всякое приукашиванье ее ужасно. И человек никогда не выдумывал ничего более гнусного и противоестественного, чем цветы на трупе. В последние дни похорон я нажрался этим досыта. Нет, я просто «Плачу и рыдаю егда помышлю смерть и вижду во гробе лежащую красоту

¹ Голицыно — Дом творчества писателей под Москвой.

² Яков Захарович Шведов (1905—1991) — русский поэт, автор многих сборников стихов и прозы, популярных песен («Орленок», «Смуглянка» и др.); бывал в Вологде.

Баратынский Евгений (1800—1844) — русский поэт. Цитата из стихотворения «Смерть» (1828), последняя строфа которого полностью звучит так:

Недоуменье, принужденье —
Условье смутных наших дней,
Ты всех загадок разрешенье;
Ты разрешенье всех цепей.

нашу, безобразну, безславну, не имящу вида» (писал по памяти, потом сверился)¹. Проще, яснее, а главное — искреннее (а мы ведь все истерики) не скажешь! Молодец Иоанн Дамаскин.

Ответил ли тебе Ю. Арбат? Я живу в Голицыно (пробуду там числа до 17/1, поэтому, если скоро, — пиши туда). Он в Малеевке², и мы не видимся. Передавал я письмо через одни руки, и поэтому не могу вспомнить, дал ли твой адрес. Если он не отвечает — напиши, я поеду к нему. Это его мозоль.

Вышло бухарестское издание «Обезьяны...» Очень (подчеркнуто автором.— В. О.) хорошая красочная, хотя и формалистическая обложка, но я не против умного формализма. Строгою понемногу роман «Хранитель древности» (так у автора — «древности».— В. О.). В первой части там много об искусстве, ибо действие происходит в музее.

Из, может быть, известных тебе понаслышке людей, с которыми я живу в Голицыно,— Юрий Казаков³, с которым мы очень здорово сошлись на базе полного равноправия. Он хороший парень, но в конец зацелованный и обслюнявленный генералами от литературы и, конечно, «Единственная надежда советской прозы». Но это больше для внешнего употребления и витрины, хотя травма, конечно, есть. Вот так-то, брат.

Извини, что письмо выходит невеселым — ничего что-то хорошего у меня не стало происходить в жизни. Нет вот чудес, и ничего не попишешь, а мы ведь всегда живем в надежде на чудо. Только у русских и есть икона «Нечаянные радости» — радость, которая тебе не положена ни по штату, ни по заслугам. Радость так, ни за что, только снисходя к твоим нуждам. Вот ее-то у меня и нет, все радости плановые и грошевые, добытые с превеликим потом.

¹ Дамаскин Иоанн (1737—1795) — русский ученый, археограф, библиограф, филолог, создатель «Библиотеки российской» — выдающегося книговедческого труда; епископ, известный своими проповедями.

² Малеевка — Дом творчества писателей в Подмосковье, близ г. Рузы.

³ Казаков Юрий (1927—1982) — русский писатель, автор многих книг, рассказов, знал как шумный успех, так и гонения, бывал в Вологде.

Ну, прости, вижу, что письмо выходит каким-то не таким. как надо. Обнимаю тебя и целую руку твоей жинки. Юрий.

6.

1964, январь

Дорогой старик!

Случилась совершенно невероятная вещь — одна из тех, которые могут случиться только со мной: я написал тебе письмо, записал даже в своей памятной книжке, что оно отправлено, но не отправил, а опустил каким-то непонятным для меня образом в ящик стола — просто-напросто смешал с бумагами и забыл. Такие вещи раз в десять лет у меня обязательно бывают — поверь и не сердись на своего безголового друга.

Я пока в Голицыно, но 18 уже кончается мой срок, и я перееду в Москву, так что пиши туда. Ответил ли тебе Арбат? К сожалению, я его еще не видел: он в Малеевке. Коли он ничего не ответил, я на него насяду.

За эти пять лет я пережил две смерти. В 59 году весной умерла близкая мне женщина Гая Андреева, которой я много обязан (она работала редактором). Ее у нас знали многие: это была красавица (в самом строгом смысле этого слова), умница и человек редкого благородства. Когда она меня полюбила, я только что вышел из лагеря и был нищ и звероподобен. Часто болел. Она меня отхаживала. Когда она умерла, мы с ней были в ссоре, и я ее не видел. Она переносила это очень тяжело. Мы до сих пор не знаем и никогда не узнаем, не кончила ли она самоубийством. У нее была астма, и она приняла тройную, как она знала — смертельную, дозу сосудорасширяющего, сосуды в мозгу не выдержали. Теперь вот умерла мать. Хорошо, что больше уже и умирать некому — я один.

Кончаю вчистовую первую часть повести «Хранитель древности» — отдельные куски как будто ничего, но как это будет в целом, не знаю совершенно — много лирических отступлений и экскурсов. Когда перепечатаю на бело, м. б., пришлю тебе кое-что. Такие-то вот дела!

Сегодня старый Н. Г., мы его, три Юрия — я, Казаков и Коринец¹, — будем встречать вокруг крошечной елочки. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Ну вот, кажется, все пока, обнимаю, Юрий.

7.

18 августа 1966

Дорогой друг, ты, наверно, уже совершенно потерял меня из вида — прости, пожалуйста, правда, события повернулись так, что я просто-напросто выбыл из строя. Сначала болезнь, больница, потом процесс оклеманья, затем запущенные дела (т. е. писанья, писанья без конца) — в общем, на довольно продолжительное время я просто выбыл из строя. Не сердись, пожалуйста! Сейчас впервые после ровно тридцатилетнего перерыва увидел море. Подумать только, в первый раз я в 1914 был на Азовском море, около Мариуполя, затем в 1936 — возле Анапы и наконец сейчас, в 1966 — в Феодосии. Море чудное — пустынное, огромное, тихое — бухта! — но окрестности, к сожалению, премерзкие — каменистая пустыня и солончаки. И в отношении фруктов некаэисто — кислый виноград да каменная слива — человека убить можно. Но главное, конечно, — море, море — только больше оно безжизненное — когда ребята поймают медузу или краба, то смотреть сбирается весь пляж. Таю мечту хоть однажды издалека увидеть дельфина — но, конечно, где там! Тем не менее, товарищи, приехавшие ко мне из Коктебеля, завидовали моему счастью — живу я в минуте ходьбы от моря и не вижу каждую минуту своих окаянных коллег! За эти восемь лет я так обожрался ими — что, действительно, попасть в такой густой раствор их, как в Доме творчества, — для меня было бы смерти подобно!

Что писать о себе? За день до отъезда получил из лукавых рук своей редакtrисы первый экземпляр. «Хр.

¹ Коринец Юрий (р. 1923) — русский советский писатель, автор многих повестей для детей: «Там вдали, за рекой...», «Володины братья», «Где живет комсомол» и др.

Д.»¹ — бумага № 2, т. е. «она, быть может, и чиста, да как-то страшно без перчаток», стр. 254, тир. 100000, цена 53 коп. Есть литография, хороший портрет автора (Б. Могилевский). Остальное оформление пребезобразное: слепые линогравированные заставки — по сто пудов в каждой, обложка верх безвкусицы — верхние венцы дома на курьих ножках. В общем, пришло, увидишь. Все (за исключением портрета) сделано помимо моей воли — но уж хорошо, что книга вышла хоть так. Приеду, встречусь с коллективом — буду их поить — и обязательно наведу полную ясность насчет твоей рукописи². Беда, что наш с тобой редактор — человек настолько обтекаемый, что его (ее) не схватишь. Протечет сквозь пальцы, но я сделаю все, что могу, — так что подожди еще дней 20—25!

Пиши о себе — как и чтотворишь? Вышла ли уже в свет книга Ю. Арбата о народном искусстве? Изданье — чудо, а в содержании далеко не уверен. Эх, брат, брат! Тебе бы издавать такие книги. С твоим чутьем, эрудицией! Как твоя милая супруга? Кланяйся ей от меня и целуй ручку.

Буду здесь до 7, так что если письмо дойдет быстро и ты быстро соберешься ответить — то пиши (следует адрес.— В. О.).

Обнимаю тебя, дорогой. Твой Юрий.

8.

1970

Дорогой Володя,

прости аз, многогрешного и нерадивого, за столь долгое молчание. Только что возвратился из дальних странствий (Ср. Азия) и тут нашел все: и письмо твое,

¹ Роман Ю. Домбровского «Хранитель древностей» опубликован издательством «Советский писатель».

² Речь идет о рукописи повести Железняка «Кружевное панно», одобрительный отзыв на которую писал В. Г. Лидин, но тогда она света не увидела.

и книжку¹. За то и другое спасибо, родной! Книгу прочел залпом, несмотря на то, что я ее почти всю уже знаю по прежним твоим присылкам. Впечатление четкое, стройное. Может быть, только слишком драматизирован и, следовательно, притянут за волосы конец «Изографа». (В самом деле — с чего он в полынью-то полез и как это следует понимать в плане реальности?) Но вообще хорошо! Стильно и сильно! Насчет «фонариков»² даже растрогался. Так это интересно.

Ох, этот пьющий батюшко — русский аббат Мелье³: он и верит и не верит, и водку пьет и пост держит, и матерится и благословляет, и обедню служит и черта тешит — я вот тоже про такого написал страниц сто, ибо видел его однажды воочию. А как обстоит у тебя с дальнейшими лит. планами?

Я, очевидно, буду в длительном простое, ибо работаю над большой вещью, и нет даже тени надежды толкнуть ее куда-нибудь, настолько она ничему не соответствует. Но пока ее не кончу, не примусь ни за что другое — это единственный способ что-нибудь сделать, иначе пойдет кусочничество. Вот мой дядюшка пишет с 1915 года и так ничего и не написал, а неконченного — корзины и сундуки.

Что писать про себя? Пенсионер. Получаю 120. Пока не болею. Живу скучновато. Гибну за металл, т. е. зарабатываю не на том, на чем нужно (переводы, рецензии, командировки и т. д.).

Старых ВГЛКовских отношений ни с кем, кроме как с тобой, не сохранил. Вижу иногда похожего на утопленника Фина — раздутого, пузыристого, приземистого, словом — «чудище обло», иногда мелькает Бендик. Такой же липучий и противный гадик, как и полвека назад. О. Моисеев умер, но, говорят, что это не М. Альтшулер,

¹ Речь идет о книге В. Железняка «Отзвеневшие шаги» (1968), которая открывается рассказом «Изограф».

² Окончание слова нераазборчиво, но, видимо, имеется в виду строчка «а фонари так неясно горят» из песни Василия Сиротина «Улица, улица, ты, брат, пьяна...», поскольку далее резко, контрастно, диалектично характеризуется тип, обрисованный в повести В. Железняка.

³ Мелье Жан (1664—1729) — французский философ, утопический коммунист, сельский священник.

т. е. Альтшулер, но другой. Может быть, Дм. Борисов — шизофреник, человек тяжко больной. Тоже как-то (уже очень давно) попался мне на пути, но лет уж 8 не имею о нем никаких сведений. Тогда же видел и Крашевского, протезированного, наглого, маститого (носится с переизданием «По ступенькам», больше ничего не смог выдумать). Где-то есть П. Панченко, Шприт, Ю. Нейман, П. Железнов (этого вижу), Асанов¹ — вот и все, что от нас осталось, — не густо, не густо, брат! Ну да что там! Мы хоть живы остались, а ведь добрая четверть наших современников пошла на размол то по тем, то по этим основаниям, случайностям и необычностям века.

Так напиши же мне про свои планы? Как? Над чем? Для чего (кого)? Страшно буду рад и теперь отвечу скоро, ибо никуда уезжать не собираюсь. Твои новые выдержки меня здорово порадовали. Очень профессионально и точно! А прозе нашей не хватает, по-моему, именно этих качеств! Спасибо!

Ну, крепко жму твою руку, целую ручку у твоей супруги и прошу особенно меня не ругать. Сегодня первый раз сел за стол после двух месяцев марафона и тебе пишу первому (а надо написать 20 писем).

Будь здоров, дорогой. Юрий.

9.

1972

Дорогой Володя,

запаздываю с ответом безбожно, но, поверь, только недавно получил твое письмо, а то был в Голицыно, работал. Итак, нам снова не удалось повидаться. Это горестно, о многом бы было что поговорить и рассказать. Я все долбаю и долбаю свой роман. Седьмой год! Ужаснись и посочувствуй! Осталась половина четвертой

¹ Здесь Ю. Домбровский перебирает имена тех, с кем они вместе учились на ВГЛК (Высшие гослиткурсы): Юлия Нейман — поэт и переводчик, Павел Железнов — поэт, прозаик Николай Асанов; другие имена мне ничего не говорят (и в справочниках не обнаружены).

части, но в ней-то и все дело. Или, может быть, мне кажется, что в ней все дело? И это тоже бывает.

Недавно получил открытку Дм. Борисова — он ко мне тоже собирается вот уже пятнадцатый год. Это с одной улицы на другую — и пишет, пишет. Что делать? Шизо! Вот уж не знаешь, где и как кого достанет судьба. Ведь, как ты помнишь, я был первый кандидат на это. Вот устоял как-то. Лагерь, что ли, помог.

В этом отрывке частного письма, который приведен в книге Сандлера о ВГЛК, ровно ничего нет. Вот эти строки: «В 1930 году, после угарного закрытия тех курсов, где я учился (Высшие государственные литературные курсы — сокращенно ВГЛК), нас, оставшихся за бортом, послали в профсоюз печатников. А профсоюзные деятели в свою очередь послали в издательства на предмет не то стажировки, не то производственной экспертизы: если, мол, не выгонят — значит, годен». Вот и все, и дальше — о моей встрече с Грином.

А о ВГЛК написать, конечно, стоило бы — в своей вещи я касаюсь их, но только одного эпизода и то под известным углом: как начинал приносить жертвы Молоху — карать не за что, а во имя чего-то и для чего-то. Эпизод был (Исламова-Альтшулер) в общем-то пустяшным, но для меня и тогда в высшей степени многозначительным.

Впрочем, и мы все это понимали более сердцем, чем разумом, но понимали. Я помню, ты тогда сказал некому прохвосту Краснову (помнишь? непробудный и явный алкаш, сын попа, не сдавший ни одного зачета, честивший нас за пьянство, происхождение и неуспеваемость): «Если ты будешь проситься в общественные прокуроры — я буду проситься в общественные защитники»? Вот этого эпизода я касаюсь, но отнюдь не мемуарно, и не в его полной жизненной реальности. А ведь стоило бы и просто воспоминания написать, а? Интересно было бы. Очень рад, что ты принялся за повесть. О дрессированной ящерице, кажется, еще никто не писал. Очень будет интересно почитать. Пиши, старик, пиши! И дай Бог всего-всего!.. Ну, обнимаю, дорогой, и целую ручку твоей очаровательной супруге. Твой Юрий.

10.

Декабрь, 1973

Дорогой старый друг, поздравляю тебя с новым
Anno Domini MCM XXIV. Дай же Бог всего, всего и
здоровья тоже! И веселого юбилея, и лет до ста расти
нашей старости! Мне ведь тоже — страшно сказать! 65!
А? Это нам-то! Голубым гусарам с Кудринской! Сплош-
ная фантастика. Обнимаю, дорогой. Целую ручку твоей
милой жене. Юрий.

(Продолжение на другой стороне открытки.— В. О.).

А это прочти на Новый год за минуту до курантов
и чокнись со мной.

До Нового года минута одна,
За что же мне выпить сегодня вина?
За счастье, что будет в грядущем году?
Не верю я в радость — я с ней не в ладу!
Быть может, мне выпить стакан за любовь?
Любил я когда-то — не хочется вновь!
За горе? К чертам! Ведь за горе не пьют!
За что же мне выпить? Часы уже бьют!
Эх, так ли, не так ли, не все ли равно!
Я выпью за то, что в стакане вино!

Ура, дорогой!
С Новым годом!

11.

1974

Дорогие Железняки — простите, что несколько запоздал: лежал в травмат. отд. с переломом руки чуть ниже плеча — он у меня эпифизический винтообразный. Так что сейчас я похож грудью и рукой на каменного командора и так прохожу 4 месяца, а там, может, и «ризать» придется. Вот такие-то подарки посыпает судьба на 68 году жизни.

Что писать о себе? Буду (по договору... С кем? — неразборчиво.— В. О.) работать над исторической повестью, и добро бы мой герой был Шекспир, а то Добро-любов! Тут «на пятак не разгуляешься», как пишет Бунин. Работать придется свирепо — к 14 августа. Посуди сам. Да еще с моей кропотностью в отделке. А уровень

снижать не хочется. Считаю, рановато нам еще на такую пенсию (подчеркнуто автором.— В. О.). Мы еще кони.

Ты интересуешься царями: простирается ли этот интерес и на Н. II?¹ Я пришлю тебе мой перевод с английского о судьбе *(его)* жены и дочек. Выходит, что они были перевезены в Псков, жили там под охраной (много свидетелей) и потом были вывезены в Москву. Это почерпнуто из дела, хранящегося в одной из библиотек. Или тебе это ни к чему? Я-то не думаю — раз «как ни болела, а умерла», особого резона тут не найдешь. Но любопытно.

Что у тебя за дача? Земельный надел? Постройка? В Доме творчества мне работать способнее, чем в Москве (звонки, надобности, встречи), но по роду этой моей работы (нужны материалы) он на первое время хотя бы исключается.

Уж второй год (встань!) пробую сдать в печать (сначала в «СП», потом «Совр.») книгу рассказов 18 л. Все согласны, все заверяют, и ничего не делается. Нет, лучше иметь дело с (слово неразборчиво — В. О.), чем с братьями-писателями, у которых в судьбе что-то роковое. Рок не для них, а для пепешника (?— В. О.) Белова. Знаю и почитаю — он из «мужиковствующей стаи», пожалуй, самый-самый.

Горько пережил смерть Шукшина, для нас — меня и жены — это был Гений Чехов. Умер от закупорки (а не миокарды). А твой исследователь Красова² — дает интервью. Ладно, кончаю, обнимаю, Юрий. Твоей очаровательной жене целую ручку. Ю.

И сверху оборотной страницы, перевернув ее «вниз головой», автор дополнил: «Очень, очень благодарю за «Завтрак». Жаль, что цвета приходится угадывать³. Прекрасно».

¹ Судя по всему, имеется в виду семья последнего государя Николая Александровича.

² Творчеством В. Красова занимался В. В. Гура (и, пожалуй, только он один в последние десятилетия). В этом письме больше, чем в других, проявлен интерес к литераторам-землякам адресата, о чем свидетельствует и беглое высказывание по поводу В. И. Белова.

³ Странноватое дополнение к письму объясняется просто: Железняки с письмом послали Ю. Домбровскому черно-белую фотопропродукцию живописной работы Нины Витальевны «Полдник в лесу». Только и всего.

12.

Октябрь 1976

Дорогой Володя, во первых строках моего письма благодарю тебя за книгу¹ и восхищаюсь ею — хорошо, просто и очень, очень ново. В частности, для меня — четыре последних рассказа я знал, но все остальное прочел впервые и порадовался за тебя! Здорово! Молодец! Во вторых строках прошу прощения за столь долгое, но, надеюсь, извинительное молчанье. Был не в Москве — и все, что вынималось из ящиков, громоздилось у меня на столе. Вот вчера приехал, увидел и сел читать твою книгу. Порадовала меня и Н. В. — отличная работа. В последнем (десяттом) номере я прочел в общем-то очень в неплохой статье о Бенедиктове (по-моему, поэте замечательном) следующую цитату из Ж. Ренара: «Совершенное всегда в какой-то степени посредственно... Вкус — это м. б. боязнь жизни и красоты». Ну, с вершины Толстого и Пикассо — это м. б. и так, но нам, простым смертным, нравится именно вкус, а не безвкусица. Так вот, книга оформлена с великолепным чувством вкуса, такта и стиля. Что писать о себе? Кончил наконец-то роман, над которым работал с 1962 года, т. е. вторую часть «Хр.»², в общем — вместе с «Хр.» это около 1500 стр. на машинке. Сейчас работаю над очень противной, но заказной и авансированной (т. е. обязательной) работой. Наверно, получатся сапоги всмятку. Жив, здоров, живу с женой и двумя кошками. Очень хотелось бы повидаться. Вот, кажется, и все. Обнимаю тебя, дорогой, и целую ручку Н. В. Твой Юрий.

* * *

И снова перебираю я пожелтевшие; выцветшие конверты, держу в руках листки, запечатлевшие дружбу двух старых писателей, так или иначе одолевших горе-злосчастье растрепанного и трагического нашего века.

¹ В 1976 году вышла книга В. С. Железняка «Голоса времени», посланная автором своему старому другу.

² Закончен роман «Факультет ненужных вещей», о первом варианте которого Ю. Домбровский упоминает уже в письме за 1956 год.

На разной бумаге написаны эти письма: есть и специальная почтовая, но чаще — линованные листки, небрежно вырванные из школьных тетрадок, на каких и сочинялась Главная книга Юрия Домбровского. Диву даваться какому-нибудь графоману, как созидаются классики!

Чаще всего, листки густо заполнены, много зачеркиваний и поправок, полное безразличие к знакам препинания. Строчки набегают друг на друга, тесно лепятся сбоку — снизу вверх, никаких абзацев, конечно, нет — их я ввел ради удобства при чтении, придерживаясь реального смысла. Но зато какая наполненность писем, их густота и характерность...

Некоторые из писем датированы автором, в других случаях время их написания определялось по почтовым штемпелям на конвертах или отметками адресата на них о времени получения. Так или иначе, живое и текущее время горячо пульсирует на этих пожелтевших страницах.

И открывают они нам, эти страницы, волю самоутверждения и сопротивления злу, волю творить жизнь в художественных формах — не взирая ни на какие обстоятельства! — ради того, чтобы наша реальная жизнь становилась человечнее.

*Публикация, подготовка текста,
предисловие и примечания В. А. Оботурова.*



Елена Дуганова

«НЕ МЫСЛЮ СЕБЯ БЕЗ СЕВЕРА...»

(Неизбывные заботы художника:
о себе — своими словами)

О первых своих шагах в изобразительном искусстве, постепенном обретении мастерства Нина Витальевна Железняк рассказала в записках «Глухие годы». Она, не придавая какого-то особого значения своим опытам, ни на что не претендую, всегда работала много и настойчиво. И постепенно пришло главное — определилось свое творческое лицо.

Решающими оказались два фактора. Прежде всего интерес к прошлому Вологды с ее изумительными архитектурными ансамблями и неподражаемой деревянной архитектурой,— в этом она была заедино со своим спутником жизни Владимиром Степановичем. Впрочем, вместе с ним проникла она и в скромную прелесть северной природы, как в поездках по области, так и более всего в обжитой за годы тихой деревеньке Ивановское. Привычные связи — дружеские, литературные — тоже заметно отложились в творчестве Н. В. Железняк.

К зрителям-землякам работы художницы приходили исподволь, понемногу: она участница всех областных выставок с 1942 года по 1991, шести зональных выставок Севера, тематических — в Вологде (трех), Ленинграде и Ярославле, персональных выставок в Вологодском областном музее (1972, 1985), в Череповецком музее (1986), в областной организации Союза художников (1990).

И, наконец, выставка в «Русском доме» Вологды (апрель — май, 1993) представила многолетнюю работу Нины Витальевны Железняк во всем ее многообразии. Она дает возможность увидеть воочию, как за годы и десятилетия сложился ее художественный мир, теплый и светлый, одушевленный участием к людям и верою в нетленность красоты.

В год своего 75-летия, 1990-й, Н. В. Железняк отвела на вопросы журналистки Е. Дугановой. Эти ответы не утратили интереса и теперь. Они приоткрывают для нас духовный мир художницы, ее пристрастия и живейшую душевную отзывчивость.



Журналист Елена Дуганова. К. М. 1983.

* * *

— **Нина Витальевна!** Вероятно, для каждого художника — будь то мастер слова или кисти, его творчество — исповедь души, на нем лежит отсвет всей его жизни. И не столь важна его фактическая биография (когда родился, учился, женился и пр.). Важнее — духовная биография, то есть то, что дает художнику силы творить и не сломаться в трудных обстоятельствах. У Вас за спиной три четверти века. Причем путь этот — не гладкое шоссе под ярким солнышком...

— Детство и молодость откладывают отпечаток на всю жизнь, и в произведениях любого автора звучит нота, которая запала в сердце с ранних времен. У меня это — нота русской природы, Севера. Благодарю судьбу за счастье с четырех лет расти в Подмосковье. Великая это вещь — детство среди природы. Бесконечные дали полей с бездонным небом, светлые леса и полянки, светлая и тихая речка Талица. Я была очень самостоятельная. С семи лет себя во всем обслуживала, одна ходила по грибы ягоды, знала «в лицо» всякую живность, всякое дерево. А в московском нашем доме я окуналась в среду театральную и художественную.

Рисовать стала рано. Моим учителем была природа, подмосковный лес — академией. Там я проводила много времени в уединении, делая наброски. В 14 лет я уже работала художником-ретушером в фотостудии.

Творчество художников послереволюционных лет развивалось очень противоречиво. В 20-е годы открылось множество разных студий — реалистов и авангардистов, всяческих «измов»: примитивизм, кубизм, футуризм, абстракционизм и т. д. После школы-семилетки я пыталась заниматься в нескольких из них. Сильнейшее впечатление произвели на меня работы импрессионистов. Жила я у Пречистенки, где тогда размещалась коллекция их картин. Их влияние осталось на всю жизнь. Много и жадно узнавала я тогда, много работала, о многом мечтала.

Безмятежная пора оборвалась внезапно... тюрьмой. Из-за враждебного, как тогда считалось, социального происхождения меня с отцом по приговору «тройки» сослали в Вологодскую область. Отец мой был абсолютно неполитик, совершенно не понимал, чем мы провинились перед Советами. Он, бедный, до самой своей гибели надеялся, что «власти разберутся и справедливость победит».

Особенно трудно стало с началом войны. Отца арестовали в первые же дни, он сгинул. Мама, которая приехала ко мне (я жила уже в Вологде), умерла от голода. Ох, как больно это вспоминать и через полвека!..

Молодость, прекрасная северная природа, которую я полюбила сразу и на всю жизнь, жажда писать спасали

от отчаяния. Я стала заниматься в студии Н. М. Ширякина, организатора Вологодского отделения Союза художников. Это был чуткий и заботливый педагог, ученик Коровина. Моральную опору нашла я не только в Николае Михайловиче, но и у прекрасной души людей, художников А. И. Смоленцевой, А. А. Никитиной, В. В. Тимофеева, И. Тарабукина. Они помогали мне одолеть одиночество.

1944 год — счастливый поворот в моей жизни: я встретила замечательного человека — Владимира Степановича Железняка.



Писатель Роберт Балакшин. К. М. 1983.

— Сборник «Отавеневшие шаги» (1968) по праву можно назвать первым большим совместным Вашим с Владимиром Степановичем трудом. Вообще, его исторические повести, рассказы и газетные очерки просто невозможно представить без Ваших рисунков. О таком тонком и проникновенном иллюстраторе, какого Владимир Степанович имел в Вашем лице, могут только мечтать многие литераторы.

— Никогда я не претендовала, даже в мыслях, на равную долю в нашем с ним сотворчестве. Это стало счастьем моей жизни — быть причастной к его судьбе, работать над иллюстрациями к его произведениям. «Нина, делай рисунок, я пишу о...» А писал Владимир Степанович о Достоевском, о декабристах, о вологодских кружевницах, о земляке-литераторе Тощакове, о Верещагине — и еще о многих десятках героев его статей, очерков, повестей. И я каждый раз с радостной готовностью разыскивала материалы о той эпохе, о которой шла речь, консультировалась, обдумывала композицию рисунка, искала ракурсы, делала зарисовки тушью, пером.

Счастье было писать под его диктовку, зримо представляя, как растет ткань повествования. Чуть ли не сразу после нашей скромной свадьбы 23 февраля 1944 года он начал диктовать мне новеллу «Изограф». Напечатана она была только в 1956 году (в «Вологодском комсомольце»), а в 1968 году ее включили в сборник «Отзвеневшие шаги». Работая над иллюстрациями в сборник, я ходила в храм Иоанна Предтечи — с его фресок взяла фрагмент на обложку, мотивы рисунков к рассказам. Рисовала с натуры домик-музей Петра I, дворянские особняки города, срисовывала старинную одежду... Похвала моим рисункам такого эрудита, талантливого писателя, как Юрий Домбровский, дорогого стоит!

Для книги «Отзвеневшие шаги» я сделала первый портрет Железняка, всего я написала восемь его портретов маслом и еще несколько в карандаше и туши.

— А «Жития»?

— «Жития В. С. Железняка» — эти две картины выполнены уже посмертно. Они в новой для меня форме — на иконописный лад: в центре каждой портрет Железняка в окружении картинок-клейм, как на иконах. На одних клеймах — персонажи его книг, на других — изображения мест, связанных с его жизнью...

Знаете, Владимир Степанович так необъятно много значит для меня, что не могу я говорить об этом вскользь, походя. После его кончины я задумала и в течение года написала воспоминания о нем и кое-что о себе. Дань памяти прекрасному человеку, другу и спутнику по судьбе...



Ольга Шекун,
из семейного круга друзей.
К. М. 1976.

— Более полвека жизни сроднили Вас, Нина Витальевна, с Вологдой-северянкой. Здесь истоки главных тем в Вашем творчестве. Вологодские пейзажи, натюрморты образуют поэтический цикл, охватывающий все времена года. За последние годы Вы создали целую серию портретов вологжан-писателей, журналистов, друзей Ваших и знакомых. А Ваш гимн вологодской старине! И все работы выполнены в реалистичной манере. Реализм и авангардизм. Сейчас об этом много спорят. Причем реализм зачастую получает уничижительную приставку «фотографический». Ваше мнение?

— Всегда одних художников принимаешь, других — нет. У каждого из нас свое видение, свои краски. Но то прекрасное, что создано веками, надо бережно охранять, а не отвергать в погоне за модой. На мой взгляд, в произведениях авангардистов нет души, а лишь формалистические изыски.

Реализм я понимаю как высшую правду в искусстве. Из русских художников люблю Василия Сурикова, Валентина Серова, Павла Корина, нравятся мне Сергей Герасимов, Аркадий Пластов. Очень близок пейзажист С. Ю. Жуковский. Глядя на их полотна, хочется самой работать и работать, чтобы хоть в чем-то приблизиться к их мастерству. А что касается «фотографического реализма»... Художник отнюдь не копирует свои модели. Ведь кроме правды натуры, есть правда холста, когда все изображаемое обобщено художником, пропущено через его душу.



Вспоминая Рубцова
(Александр Рачков)
К. М. 1984.

Если любишь то, что видишь, что пишешь... Я не мыслю себя без Севера, хочу, чтобы мои пейзажи, натюрморты передавали зрителям мою любовь к северной природе. Вопрос тут и в мастерстве, конечно. Признаюсь, что в последние годы с радостью замечаю, что работаю более раскованно, увереннее, особенно в натюрмортах. Еще бы добиться большей свободы письма и в портретах.

— «Спасибо, Нина Витальевна, за нежную любовь к Вологде, этой любовью полны Ваши картины... Пусть хватит у Вас сил радовать нас еще долгие, долгие годы! Доброго Вам здоровья и новых картин! В. Старкова, М. Лобанцева». Такие пожелания звучат почти во всех отзывах зрителей. Присоединяюсь к ним в ожидании новых Ваших работ. Так каковы же Ваши планы?

— На дальние перспективы я, естественно, не замахиваюсь. Продолжаю работать. В мае выполнила два портрета и две живописные работы: «Цветы для старииков» и «Завтрак в лесу». Мечтаю сделать жанровую картину, есть наброски, замыслы, но задача эта очень сложна...

Я счастлива, что на мои выставки идут, мои картины покупают — значит, я кому-то нужна. Счастлива, что могу работать, слушать музыку, которую люблю не меньше живописи, всякую музыку — и классику, и новую, джаз, битлов, лишь бы не халтура. Что могу ездить по древним городам нашим. В молодости мы с Железняком немало поколесили по Вологодчине, а за последние десять лет я побывала в Ярославле, Ростове Великом, Новгороде, Киеве, Костроме, на Соловках, в Москве и Ленинграде. Только что вернулась из Углича. Чудесный городок, а какие храмы!

Из любви к поездкам и мое другое увлечение — фотографирование. Цветные слайды — это для меня овеществленные впечатления, воспоминания. Ну, и разумеется, ни дня без прочитанной строчки, — сейчас ведь просто захлестывает громадный вал интереснейших публикаций.

А на лето уезжаю в Ивановское. Эта деревенька в десять изб — родина многих моих работ. Оттуда родом мои «Астры у избы», «Рябина», «Подсолнухи», «портреты» других даров сада и огорода, выращенные вот этими руками. С весны до глубокой осени укрывает Ивановское от городского многолюдья, питает красотой раздольной русской природы, дарит и творческий настрой и здоровье. А будет здоровье — будут новые работы.



Э. Волкова

ИТОГИ ТВОРЧЕСТВА:

Библиография В. С. Железняка
языком литературной статистики.

Не самое увлекательное чтение — библиография, но людям любознательным она открывает возможность всестороннего знакомства с миром художника и на основе знания — постижения тайны личности творца и его искусства.

Наша библиография разнообразна, но не претендует на абсолютную полноту. В ней отражены биографические материалы и литература о творчестве В. С. Железняка-Белецкого как в обобщающих статьях, так и в рецензиях на отдельные произведения. Учтены в ней художественные произведения писателя и его искусствоведческие работы.

В указатель включены публикации в периодической печати и в сборниках. И, разумеется, полно представлены все отдельные издания. Материал в разделах расположен в хронологическом порядке. Отбор литературы закончен в мае 1993 года. Библиографический указатель, посвященный творчеству В. С. Железняка-Белецкого, приурочен к 90-летию со дня его рождения.

Подготовлен этот раздел книги ведущим специалистом-библиографом Э. А. Волковой в соответствии с научными принципами подобных изданий. Несомненно, он будет полезен как учителю литературы или тем, кто интересуется историей, так и любому книголюбу. И конечно же, указатель неоценим для всех почитателей дарования писателя-земляка, историка и краеведа.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. С. ЖЕЛЕЗНЯКА

Книги

Вологда: Крат. путеводитель по мемориал., архитектурн. и живописным памятникам.— Вологда: Обл. краевед. музей, 1947.—80 с.: рис.

Повесть о творчестве.— Вологда: Кн. ред., 1956.—150 с.

Художник Верещагин (1842—1904).— Вологда: Кн. изд-во, 1959.—64 с., 4 л. ил.

То же.— Изд. 2-е, перераб.— Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1967.—64 с.: 4 л. ил.

Вологда.— Вологда: Кн. изд-во, 1963.—152 с.: ил.— (Города Вологод. обл.).

Отзвеневшие шаги. / Худ. Н. В. Железняк.— Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1968.—63 с.

Литературные места Вологодской области / Облож. и рис. Н. В. Железняк.— Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. Вологод. отд-ние, 1971.—6 с., 6 отд. л. рис.

Родное: Рассказы / Ил.: Н. В. Железняк.— Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. Вологод. отд-ние, 1972.—104 с.: ил.

Голоса времени: Повести, рассказы, миниатюры. / Худ. Н. В. Железняк.— Вологда: Сев.-Зап. кн. из-во. Вологод. отд-ние, 1976.—184 с.: ил.

Лихолетье: Ист. повести. [Для ст. шк. возраста] / Предисл. В. Оботурова; худож. Н. В. Железняк].— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1979.—240 с., ил.

Осенний мотив: Повести о творчестве. / Худ. Н. В. Железняк.— Архангельск; Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. Вологод. отд-ние, 1982.—222 с.

Зарницы над Русью: Повести и новеллы / Послесл. В. Оботурова; худож. И. Махов.— М.: Сов. Россия, 1983.—272 с.: ил., 1 л. портр.

Последние годы Федора Достоевского.— Вологда: Сев.-Зап. кн. изд-во. Вологод. отд-ние, 1983.—142 с.

Одержаные: Ист. повести, новеллы, этюды / Худож. С. Иевлев.— Архангельск: Сев.-Зап. кн. изд-во, 1986.—367 с., портр.

Публикации в периодической печати и коллективных сборниках

Об одном большом художнике: [К 75-летию со дня рождения В. Гаршина] // Лит. газ.—1930.—24 февр.

Итоги творчества

- Она с Востока:** Повесть // Недра: Лит.-худож. сб.— М., 1930.— Кн. 18.— с. 309—355.
- Пассажиры разных поездов:** Роман // Недра: Лит.-худож. сб.— М., 1931.— Кн. 20.
- Преступление вагоновожатого Ильюшина:** Рассказ // Мол. гвардия.— 1933.— № 11.— с. 76—79.
- То же // Вологод. комсомолец.— 1986.— 17 авг.
- Оловянные солдатики:** Рассказ // Энамя.— 1934.— Кн. 11.— с. 140—153.
- Художественный руководитель [А. Бадаев]:** Рассказ // Стал. молодежь.— 1939.— 22 нояб.
- Вологодские художники [Н. Ширякин и А. Брягин]:** Рассказ // Крас. Север.— 1943.— 19 мая.
- Памятники русской культуры:** Рассказ // Крас. Север.— 1943.— 15 июня.
- Художник Брягин:** Рассказ // Крас. Север.— 1945.— 10 янв.
- Высокое искусство:** Рассказ // Крас. Север.— 1945.— 28 нояб.
- В. И. Суриков. (К 30-й годовщине со дня смерти):** Рассказ // Крас. Север.— 1946.— 27 марта.
- Петр Первый в Вологде:** Рассказ // Крас. Север.— 1946.— 16 апр.
- Краеведы:** Рассказ // Крас. Север.— 1946.— 23 апр.
- Школа чудесных узоров:** Рассказ // Крас. Север.— 1946.— 29 сент.
- Вологодский край до основания города:** Рассказ // Крас. Север.— 1947.— 20 мая.— В соавт. с И. Козловым, А. Мировым, Г. Соколовым.
- В. А. Гиляровский:** Рассказ // Крас. Север.— 1947.— 17 авг.
- Мастер тонкой кисти [А. Брягин]:** Рассказ // Крас. Север.— 1947.— 28 сент.
- О людях края Вологодского:** [Рец. на сб. рассказов Н. Бриша «Таланты»] // Стал. молодежь.— 1956.— 16 июня.
- «Москва и москвики» [В. Гиляровского]:** Рассказ // Стал. молодежь.— 1956.— 19 мая.
- Царевна Ксения: Страницы из прошлого:** Рассказ // Вологод. комсомолец.— 1956.— 11 авг.
- Изограф:** Рассказ // Вологод. комсомолец.— 1956.— 20 окт.
- То же [Доп. изд.] // Литературная Вологда: Альм.— 1956.— Вып. 2.— с. 122—132.
- «Хроника села Смурнина» [П. В. Засодимского]:** Рассказ // Там же.— с. 267—269.
- Казнь:** Рассказ // Вологод. комсомолец.— 1957.— 11 мая.
- Вологодские кружева:** Рассказ // Вологда и окрестности / Сост. П. К. Переpeченко.— Вологда, 1957.— с. 89—95: фото.— В соавт. с К. Исаковой.
- Последний путь:** Отр. из повести // Вологод. комсомолец.— 1958.— 7 янв.
- То же // Крас. Север.— 1978.— 8 янв.— Под загл.: Последний путь Некрасова.

Восстановить вологодские художественные промыслы // Крас. Север.—1958.—6 авг.

Повесть о земляке Ломоносова [О кн. К. Коничева «Повесть о Федоте Шубине»] // Крас. Север.—1959.—5 февр.

На утренней заре: [О кн. В. Гарновского «Белозерье»] // Крас. Север.—1959.—3 апр.

Мысли о народном творчестве // Крас. Север.—1959.—17 июня.

Искусство наших землячек // Вологод. комсомолец.—1959.—23 июня.

Повесть о великом зодчем [О кн. К. Коничева «Повесть о Воронихине»] // Крас. Север.—1959.—8 авг. .

«На жизненной дороге»: [О кн. В. Гиляровского] // Крас. Север.—1959.—15 нояб.

На творческом подъеме: [О выставке вологод. художников] // Крас. Север.—1959.—17 дек.

Работать целеустремленнее: [О вологод. художниках] // Художник.—1959.—№ 12.—с. 15—18: ил.

Парадиз; Кабинет-министр: Ист. миниатюры // Литературная Вологда: [Альм.].—1959.—№ 5.—с. 95—105.

Перед творческим отчетом: У вологод. художников // Там же.—с. 192—196.

Художественная жизнь Вологды за 40 лет // Вологодский край.—Вологда. 1959.—Вып. 1.—с. 170—194. В соавт. с А. Муниным.

О гербе и песне // Крас. Север.—1960.—6 янв.

Вологодские кружева // Нева.—1960.—№ 3.—с. 204—207.

Талантливый земляк-художник: [О В. А. Сигорском] // Крас. Север.—1960.—2 июля.

Художница: Гл. из повести «Кружевницы» // Крас. Север.—1960.—26 июля.

Кружевная песня // Крас. Север.—1960.—11 авг.

Краевед Иваницкий и его книга // Крас. Север.—1960.—18 авг.

Глазами художника: [С персон. выставки Б. Шваркова] // Крас. Север.—1960.—4 нояб.

Не могу молчать: [О Л. Толстом] // Крас. Север.—1960.—19 нояб.

То же: К 50-летию со дня смерти Л. Н. Толстого // Крас. Север.—1960.—4 янв.

Вологодские кружева // Вологодский край.—Вологда. 1960.—Вып. 2.—с. 229—243.

Воевода Плещеев // Там же.—с. 345—347.

Хорошая книга — праздник // Крас. Север.—1961.—22 янв.

Искусство народных мастеров: Выставка в обл. краевед. музее // Крас. Север.—1961.—15 марта.

«Избранное» дяди Гиляя // Вологод. комсомолец.—1961.—9 мая.

Итоги творчества

Книжки для детей [В. Гарновского и Е. Коковина] // Крас. Север.—1961.—9 мая.

Поэзия северной сторонки: [О худож. М. Ларичеве] // Крас. Север.—1961.—18 мая.

Казнь крестьянки: Рассказ // Крас. Север.—1961.—2 июля.

Карандашом, пером и акварелью: [Об оформл. книг в Вологод. изд-ве] // Крас. Север.—1961.—5 июля.

О стихах двух поэтов [Б. Чулкова и В. Коротаева] // Вологод. комсомолец.—1961.—29 авг.

Краеведы Суворовы // Крас. Север.—1961.—30 авг.—(Наши земляки).

О чем рассказал портрет неизвестной: (Из фондов обл. краевед. музея) // Крас. Север.—1961.—24 сент.

Просветители народа Коми: [О П. Савваитове и И. Куратове] // Крас. Север.—1961.—14 окт.

С любовью к человеку: [О выставке вологод. художников] // Крас. Север.—1961.—15 окт.

«Властелин озера Васюган»: Пьеса А. Леванта в обл. театре кукол // Крас. Север.—1961.—11 нояб.

Как восстановить художественные промыслы? // Вологод. комсомолец.—1961.—18 нояб.

«Люди и встречи»: [О кн. В. Лидина] // Крас. Север.—1962.—13 янв.

Остался в строю: [О вологод. художнике С. Теленкове] // Крас. Север.—1962.—18 февр.

Кружевницы-мастерицы // Крас. Север.—1962.—25 марта.

Пером и шпагой: К 175-летию со дня рождения К. Н. Батюшкова // Вологод. комсомолец.—1962.—27 мая.

Вологда в те дни: К 150-летию Отеч. войны 1812 г. // Крас. Север.—1962.—5 авг.

У истоков природы: [О творчестве В. Гарновского] // Вологод. комсомолец.—1962.—22 авг.

К выставке искусства Севера: (Вологод. кружевницы готовятся к зональной худож. выставке в Архангельске) // Крас. Север.—1962.—24 окт.

Художник-патриот: [О В. В. Верещагине] // Крас. Север.—1962.—26 окт.

Поэзия родного края // Вологод. комсомолец.—1962.—30 нояб.

Книга о талантливом человеке: [О худож. Н. П. Дмитревском] // Вологод. комсомолец.—1962.—26 дек.

Жизнь, отданныя театру: К 75-летию со дня рождения А. В. Бадаева // Вологодский край.—Вологда, 1962.—Вып. III.—с. 237—239: фото.

Человек щедрого таланта: [О художнике А. Брягине] // Там же.—с. 219—229: ил.

«Гиляровский на Волге»: [О кн. Е. Киселевой] // Крас. Север.—1963.—5 янв.

Народные реалистические традиции: [О вологод. художниках] // Крас. Север.—1963.—24 февр.

Колхозная тема [в произведениях вологодских художников] // Крас. Север.—1963.—14 апр.

Молодой художник [Е. Соколов] // Крас. Север.—1963.—5 мая.

Творческий портрет [художника С. А. Теленкова] // Крас. Север.—1963.—14 мая.

Юбилей софийских фресок // Крас. Север.—1963.—26 мая.

Белой ночью: Лирич. репортаж // Крас. Север.—1963.—30 мая.

Игрушка-сказка: [О мастере резьбы по дереву Л. Собакине] // Крас. Север.—1963.—7 июля.

Наследницы неумирающего творчества: [О вологод. кружевной школе] // Вологод. комсомолец.—1963.—18 авг.

Догони, догони...: [О худож. О. Бороздине] // Крас. Север.—1963.—30 нояб.

Автор лесной темы: [О худож. К. Воробьеве] // Крас. Север.—1963.—5 дек.

Их создали вологжане: [О кн.: С. Подъяпольского «Путеводитель по архитектур. памятникам Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей»] // Крас. Север.—1963.—29 дек.

В усадьбе «Даниловское» // Лит. газ.—1963.—24 дек.

Авторы двух народных песен [Ф. Савинов и В. Сиротин] // Север: Лит.-худож. сб.—Вологда, 1963.—с. 151.

На земле Вологодской: [О выставке вологод. художников] // Вологод. комсомолец.—1964.—12 янв.

Под звон вологодских коклюшек // Сов. Россия.—1964.—25 февр.

Вьется кружево вологодское // Крас. Север.—1964.—14 марта.

Художник-патриот [В. В. Верещагин] // Крас. Север.—1964.—16 апр.

Художественные промыслы и народность // Крас. Север.—1964.—21 мая.

В гостях — якутские художники // Крас. Север.—1964.—31 мая.

Рассказы о Вологодчине: [О кн. В. Белова «Знойное лето»] // Лит. Россия.—1964.—5 июня.

Золотыми руками: [Об изделиях кружевниц] // Крас. Север.—1964.—11 июня.

Современник о Гиляровском: [О кн. Н. Морозова] // Вологод. комсомолец.—1964.—15 июля.

Фрески, превосходящие итальянские // Вологод. комсомолец.—1964.—26 июля.

Молодая художница: [О кружевнице Г. Крахмалевой] // Вологод. комсомолец.—1964.—28 авг.

Вологодский сувенир // Вологод. комсомолец.—1964.—1 нояб.

[Вступительная статья] // Художники Вологодской области.—Л., 1964.—с. 3—15.—В соавт. с Л. Дьяконицыным.

Игрушки — деревянное чудо // Вологод. комсомолец.—1965.—10 янв.

Состоялось ли свидание?: [О кн. В. Тендрякова «Свидание с Нефертити】 // Вологод. комсомолец.—1965.—14 февр.

Художник земли северной [Е. П. Шильниковский] // Вологод. комсомолец.—1965.—17 февр.

Высветленная палитра: [О художнике М. Ларичеве] // Крас. Север.—1965.—4 апр.

Шемогодский туесок // Вологод. комсомолец.—1965.—25 апр.

Народный мастер: [Н. В. Вепрев] // Крас. Север.—1965.—27 апр.

Мир живописца: [О С. Теленкове] // Вологод. комсомолец.—1965.—16 мая.

Украшава здания Вологды: [О худож. О. Бороздине] // Крас. Север.—1965.—9 июня.

Гордость Вологды: [Деревянное зодчество города] // Вологод. комсомолец.—1965.—20 июня.

Вологодские шедевры из дерева // Вологод. комсомолец.—1965.—11 июня.

О чем рассказывают памятники / Рис. Н. Железняк // Вологод. комсомолец.—1965.—3 сент.

Владимир Лидин и его новая книга // Крас. Север.—1965.—16 сент.

Кусочек кирпича: Ист. новелла // Вологод. комсомолец.—1965.—31 окт.

Юбилей старейшего художника [Е. П. Шильниковского] // Художник.—1966.—№ 1.—с. 64.

Работы художниц-куружевниц // Художник.—1966.—№ 3.—с. 65.

Вологодское каменное зодчество // Вологод. комсомолец.—1966.—6 мая.

По великому голубому пути: [О кн. В. Малкова «По Волго-Балту】 // Крас. Север.—1966.—25 июня.

Вологда — Ярославль // Художник.—1966.—№ 6.—с. 65.

Первый вологодский краевед: (Н. И. Суворов — «колумб» вологод. историографии) // Вологод. комсомолец.—1966.—3 июля.

«Северные фрески»: [О кн. В. Дементьева] // Крас. Север.—1966.—3 авг.

Их знают в столице, но не... в Вологде: [О выставках работ кружевниц] // Вологод. комсомолец.—1966.—5 авг.

Жизнь для книги: [О кн. К. Коничева «Русские самородки】 // Вологод. комсомолец.—1966.—4 сент.

Два вологодских летописца: [Об И. Слободском и А. Засецком] // Крас. Север.—1966.—23 сент.

Тайны Горицкого монастыря // Вологод. комсомолец.—1966.—30 окт.

Показывает молодежь // Художник.—1966.—№ 10.—3-я с. обл.

Поиски прекрасного: [О кн. Ю. Арбата «Путешествия за красотой»] // Крас. Север.—1966.—18 нояб.

В. В. Воровский в Вологде // Крас. Север.—1966.—13 дек.

[Предисловие] // Памятники архитектуры Вологды / Рис. Н. В. Железняк.—Вологда, 1966.—с. 1—4.

Пройдемтесь по улицам [Вологда] // Крас. Север.—1967.—22 янв.

Неумирающая душа Севера: [О кружевницах об-ния «Снежинка»] // Вологод. комсомолец.—1967.—8 марта.

«Грандиозный музей-заповедник»: [О кн. Г. Бочарова и В. Выголова «Вологда. Кириллов, Ферапонтово. Белозерск»] // Вологод. комсомолец.—1967.—7 апр.

Заходите в «Столешники» // Вологод. комсомолец.—1967.—19 апр.

Юбилейная художественная выставка // Вологод. комсомолец.—1967.—28 мая.

Вологодский ученик Достоевского [А. Круглов] // Вологод. комсомолец.—1967.—28 июля.

Народная тропа // Крас. Север.—1967.—29 авг.

День 30 августа: [О В. Верещагине] // Вологод. комсомолец.—1967.—25 окт.

Славный сын Севера: [О В. Верещагине] // Крас. Север.—1967.—26 окт.

Художник-баталист — солдат мира // Север.—1967.—№ 6.—с. 106—110.

То же // Дорогие сердцу места: Путеводитель по Вологде и области.—Архангельск, 1979.—с. 157—163.

Наш край любимый // Крас. Север.—1968.—17 янв.

«Плач Ксении Годуновой» // Крас. Север.—1968.—30 янв.

Колокола и кружева // Сов. Союз.—1968.—2.—с. 39—41: фото.

Первый в мире...: [Об А. Можайском] // Крас. Север.—1968.—24 авг.

Памятники первой русской революции / Рис. Н. Железняк // Крас. Север.—1968.—31 авг.

Дом № 131 на набережной // Крас. Север.—1968.—14 сент.

Кружевницы-лауреаты // Крас. Север.—1969.—1 янв.

Путешествие «По земле Вологодской»: [О кн. В. Малкова] // Крас. Север.—1969.—14 янв.

«Братья Карамазовы» // Крас. Север.—1969.—16 апр.

Кружевницы-лауреаты // Художник.—1969.—№ 4.—с. 63.

Вологодская «Снежинка»: Знакомьтесь: кружевницы — лауреаты // Правда.—1969.—24 мая.

Исконный женский северный...: [О вологод. кружевах] // Полит. информ.—1969.—№ 5.—с. 23—26.

Родное: Рассказ о поэте-земляке [Ф. Савинове] // Крас. Север.—1969.—13 июня.

Он учился в Вологде: [Об И. А. Куратове] // Вологод. комсомолец.—1969.—23 июля.

Здесь жила М. И. Ульянова // Крас. Север.—1969.—5 авг.

Старина-матушка: [О памятниках деревянной архитектуры области] // Север.—1969.—№ 9.—с. 99—103.

Живительные источники: [О декор.-прикл. искусстве области] // Крас. Север.—1969.—26 окт.

Хорошая и добрая...: [О выставке картин Д. Тутунджан] // Полит. информ.—1969.—№ 19.—с. 21—24.

Юбилей старейшего графика [Е. П. Шильниковского] // Полит. информ.—1970.—№ 3—4.—с. 43—44.

Северная художница: [Творческий портрет С. Хрусталевой] // Крас. Север.—1970.—6 февр.

Два юбиляра: [О художниках Е. П. Шильниковском и Б. П. Шваркове] // Вологод. комсомолец.—1970.—13 февр.

Валент Можайского: [Очерк] // Вологод. комсомолец.—1970.—15 марта.

Наш земляк — А. В. Круглов // Крас. Север.—1970.—2 июля.

Дмитрий Плеханов: Гл. из кн. «София Вологодская» // Вологод. комсомолец.—1970.—19 авг.

Друг «дяди Гиляя» [В. Лобанов] // Крас. Север.—1970.—24 нояб.

Истинные художники: [О работах кружевниц] // Крас. Север.—1971.—8 янв.

Художники отчитываются за год // Полит. информ.—1971.—№ 1.—с. 17—19.

Разговор у стендов выставки // Крас. Север.—1971.—18 февр.

«Через сердце: [О писателе А. Зуеве] // Вологод. комсомолец.—1971.—17 марта.

Он любил Север: [Об И. Грабаре] // Крас. Север.—1971.—27 марта.

Последние годы Федора Достоевского: Новеллы // Север.—1971.—№ 4.—с. 95—102.

К 150-летнему юбилею Ф. М. Достоевского // Крас. Север.—1971.—4 июля.

В Эмсе: Из цикла «Последние годы Федора Достоевского» // Вологод. комсомолец.—1971.—10 нояб.

Великий гуманист: К 150-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского // Крас. Север.—1971.—11 нояб.

Влияние Некрасова на вологодских поэтов // Полит. информ.—1971.—№ 22.—с. 20—23.

Память времени: [О худож. В. В. Тимофееве и Н. М. Ширякине] // Крас. Север.—1972.—8 янв.

Добрый писатель: К 150-летию со дня рождения Д. В. Григоровича // Крас. Север.—1972.—22 марта.

«У художников»: [О кн. В. Лидина] // Вологод. комсомолец.—1972.—5 апр.

Заслуженная художница: [О В. Д. Веселовой] // Крас. Север.—1972.—20 апр.

Петр на Сухоне: Новелла // Вологод. комсомолец.—1972.—21 мая.

Ночь на набережной: Вологде — 825 лет // Крас. Север.—1972.—27 мая.

Поэты-вологжане и русский романс // Вологод. комсомолец.—1972.—25 июня.

На дореволюционной сцене Вологды // Вологод. комсомолец.—1972.—11 авг.

В преддверии XX века: Вологде — 825 лет / Рис. Н. Железняк // Полит. информ.—1972.—№ 9.—с. 24—27.

«Столешники дяди Гиляя»: [О кн. В. Лобанова] // Крас. Север.—1973.—18 янв.

Белая графика: [Об изделиях вологод. кружевниц] // Сов. культуры.—1972.—19 янв.

Вологодская красота: [О кружевах] // Полит. информ.—1973.—№ 3.—с. 22—24.

Здесь начинался город // Крас. Север.—1973.—6 марта.

То же // Дорогие сердцу места: Путеводитель по Вологде и области.—Архангельск, 1979.—с. 23—25.

Вот он, наш Кремль! // Крас. Север.—1973.—29 марта.

Бурлаки: Новелла из цикла «Последние годы Федора Достоевского» // Крас. Север.—1973.—12 мая.

Заречье // Крас. Север.—1973.—19 дек.

Наш земляк дядя Гиляй: К 120-летию со дня рождения В. Гиляровского // Полит. информ.—1973.—№ 23.—с. 19—20.

Прилуки // Крас. Север.—1974.—6 февр.

Мокнатая лошадка: Рассказ // Вологод. комсомолец.—1974.—15 февр.

Писатель К. И. Коничев // Полит. информ.—1974.—№ 4.—с. 18—20.

По следам Петра I // Крас. Север.—1974.—20 марта.—(Пешком по Вологде).

Героизм художника: [О В. Верещагине] // Вологод. комсомолец.—1974.—12 апр.

Судьба зданий [в Вологде] // Крас. Север.—1974.—28 апр.
Судьба двух великих произведений: К 175-летию со дня рождения А. С. Пушкина // Вологод. комсомолец.—1974.—29 мая.

Подаривший Родине крылья: [Усадьбе А. Можайского грозит разрушение] // Вологод. комсомолец.—1974.—7 июля.

История особняка: [О здании областной филармонии] // Крас. Север.—1974.—16 июля.

О жанре на выставке «Советский Север — 74»: // Полит. информация.—1974.—№ 20.—с. 23—25.

Лихолетье: Гл. из повести // Вологод. комсомолец.—1974.—22 нояб.

Село под Вологдой: [с. Кувшиново] // Красный Север.—1975.—28 янв.

«Борисово время»: Из повести «Лихолетье» // Крас. Север.—1975.—16 февр.

Александр Можайский: К 150-летию со дня рождения // Вологод. комсомолец.—1975.—21 марта.

Большое сердце: [К юбилею М. А. Шолохова] // Вологод. комсомолец.—1975.—23 мая.

Иван Грозный в Кириллове // Крас. Север.—1975.—28 мая.

Путь солдата и литератора: [О Н. Тощакове] // Крас. Север.—1975.—23 июля.

Прошение губернатору: Рассказ // Вологод. комсомолец.—1975.—1 авг.

Времена петровские: [Отр. из повести «Мастера»] // Крас. Север.—1975.—12 окт.

Семья Муравьевых: К 150-летию со дня восстания декабристов // Вологод. комсомолец.—1975.—19 дек.

Сыны свободы: К 150-летию со дня восстания декабристов // Полит. информ.—1975.—№ 23.—с. 6—8.

Верещагины на Балканах // Крас. Север.—1976.—19 марта.

Создавший «историю» театра в Вологде: [О Ю. Александрове] // Крас. Север.—1976.—21 марта.—Под псевд.: Волин Вл.

Государево богоомолье: Ист. рассказ // Вологод. комсомолец.—1976.—4 апр.

Падение княгини Соломонии: Гл. из повести «Зарница над Русью» // Крас. Север.—1976.—20 апр.

Сказочница: [О Е. С. Трифоновой] // Крас. Север.—1976.—13 мая.

Супруги Гаршины // Вологод. комсомолец.—1976.—15 мая.

Они учились в Вологде: [О выпускниках Вологод. духовного училища] // Крас. Север.—1976.—17 авг.

Никольское: Рассказ // Вологод. комсомолец.—1977.—20 февр.

Гиляровский о Гоголе // Крас. Север.—1977.—4 марта.

Вологодские адресаты Достоевского // Крас. Север.—1977.—19 мая.

В семнадцатом веке // Крас. Север.—1977.—5 июня.—(Вологда — 830 лет).

Два художника: [О В. Тимофееве и Н. Ширякине] // Крас. Север.—1977.—29 июля.

Сватовство: Гл. из новой повести // Вологод. комсомолец.—1977.—24 авг.

Конец Ивана Болотникова: Гл. из повести «Лихолетье» // Крас. Север.—1977.—23 авг.

Непея Вологжанин и англичане // Крас. Север.—1977.—20 сент.

В благодарной памяти: [О художнике А. И. Брягине] // Вологод. комсомолец.—1978.—24 февр.

Выставка В. Сигорского // Крас. Север.—1978.—5 апр.

Две профессии П. А. Мошкова // Крас. Север.—1978.—4 июня.

Для блага общества: [Об А. В. Круглове] // Вологод. комсомолец.—1978.—14 июня.

Настоящий русский писатель: [Об А. В. Круглове] // Крас. Север.—1978.—16 июня.

Памяти большого художника [В. Сигорского] // Крас. Север.—1978.—10 окт. В соавт. с В. Невзоровым.

Ученик Достоевского [А. Круглов] // Лит. Россия.—1978.—17 нояб.

Завидно быть биографом Гиляровского // Крас. Север.—1978.—8 дек.

Проникать в жизнь народа: [О В. Гиляровском] // Вологод. комсомолец.—1978.—10 дек.

Анастасия — царица Московская: [Гл. из повести] / Предисл. ред. // Вологод. комсомолец.—1979.—5 янв.

Великосветский базар: Из цикла «Последние годы Достоевского» // Крас. Север.—1979.—14 февр.

Его места любимые...: [О К. Коничеве] // Вологод. комсомолец.—1979.—25 февр.

Заметки о Верещагине: К 75-летию со дня гибели художника // Крас. Север.—1979.—13 апр.

Узники Соловецкой тюрьмы: [О кн. Г. Фруменкова] // Крас. Север.—1979.—19 мая.

Девочка на тумбе: Из цикла «Последние годы Федора Достоевского» // Крас. Север.—1979.—25 нояб.

Всех согреть: [О кн. С. Чухина «Осенний перелет»] // Вологод. комсомолец.—1979.—9 дек.

Дом, в котором жил художник Н. М. Ширякин // Материалы Свода памятников истории и культуры РСФСР: Вологод. обл.—М., 1979.—с. 96—98.

Здесь начинался город // Дорогие сердцу места: Путеводитель по Вологде и области.— Архангельск, 1979.—с. 16—18.

Заречье // Там же.—с. 23—25.

Прилуки // Там же.—с. 25—27. В соавт. с С. К. Харламовой.

Литературные места Вологодской области // Там же.—с. 120—127.

Итоги творчества

История особняка // Там же.— с. 144—146.

Художественные промыслы Вологодчины // Там же.— с. 152—157.

Автограф Льва Николаевича // Крас. Север.—1980.—19 апр.

Вологодские художники — Ленинграду // Крас. Север.—1980.—9 мая.

На реке Непрядве: К 600-летию Куликовской битвы // Вологод. комсомолец.—1980.—5, 7 сент.

Необычайные приключения боярского сына Григория Антипова: Гл. из новой повести // Вологод. комсомолец.—1980.—16 нояб.

Марина Евдокимова: Отр. из повести «Осенний мотив» / Рис. Н. Железняк // Крас. Север.—1980.—7 дек.

Сановник и писатель: Из кн.: Последние годы Ф. М. Достоевского // Вологод. комсомолец.—1981.—8 февр.

Скорбный триумф: К 100-летию со дня смерти Ф. М. Достоевского // Крас. Север.—1981.—8 февр.

Правдоискатель: К 150-летию со дня рождения Н. С. Лескова // Вологод. комсомолец.—1981.—15 февр.

Пятно на асфальте: Гл. из повести «Осенний мотив» // Вологод. комсомолец.—1981.—24 мая.

Галия Румянцева: Отр. из повести «Осенний мотив» // Крас. Север.—1981.—29 мая.

Год Достоевского // Крас. Север.—1981.—25 окт.

На чужбине: Из цикла «Последние годы Федора Достоевского» / Рис. Н. Железняк // Вологод. комсомолец.—1981.—6 нояб.

«Из Москвы в Санкт-Петербург»: Отр. из повести // Крас. Север.—1981.—11 нояб.

Кот с голубыми глазами: Рассказ // Вологод. комсомолец.—1981.—29 нояб.

Они были рядом: Заметки о В. А. Гиляровском, А. В. Круглове и великом писателе Ф. Достоевском // Вологод. комсомолец.—1982.—6 янв.

Военный корреспондент [Ю. Чернышев] // Крас. Север.—1982.—21 янв.

Они работали в Вологде: [О писателях-земляках] // Вологод. комсомолец.—1982.—6 июня.

Художник-борец за мир: К 140-летию со дня рождения В. Верещагина // Крас. Север.—1982.—24 окт.

«Кремешок»: [О кн. В. Елесина] // Вологод. комсомолец.—1982.—7 нояб.

Национальный писатель: [О Л. Толстом] // Крас. Север.—1983.—9 янв.

Мишка ждет хозяина: [О мастере резьбы по дереву Л. Собакине] // Крас. Север.—1983.—23 апр.

Не забудьте о Н. Боброве // Вологод. комсомолец.—1983.—6 мая.

«Маркиза и Тоб»: Рассказ // Крас. Север.—1983.—3 сент.

Кружевные сказки: [О сб. Е. Триновой] // Крас. Север.—1983.—6 дек.

«...Как свежи были розы»; **Казнь:** Рассказы // Вологод. комсомолец.—1984.—4 янв.

На распутье семнадцатого века: Из новой повести // Крас. Север.—1984.—4 янв.

Бобрик: Рассказ о домашнем ящере и событиях обычных и необычных / Рис. Н. Железняк // Вологод. комсомолец.—1984.—12, 15, 17, 19, 22 февр.

Вечная благодарность: Памяти Шолохова // Крас. Север.—1984.—3 марта.

Незнакомка: Рассказ // Вологод. комсомолец.—1984.—21 сент.

Дни тревог: Рассказ // Вологод. комсомолец.—1984.—28 окт.

Возвращение фельдмаршала: Рассказ // Крас. Север.—1984.—16 дек.

Книги учат мужеству: О творчестве В. Меркульева / Публ. Н. В. Железняк // Вологод. комсомолец.—1985.—23 окт.

Очей очарование: [Об А. Фете] / Публ. Н. В. Железняк // Крас. Север.—1985.—27 окт.—(Из лит. наследия).

Кабинет-министр // Крас. Север.—1986.—19 июля.

Преступление вагоновожатого Ильюшина: Рассказ // Вологод. комсомолец.—1986.—17 авг.

Деревенский этюд / Публ. Н. В. Железняк // Крас. Север.—1986.—1 нояб.—(Из творч. наследия).

Любовь моя — Вологда / Публ. Н. В. Железняк // Крас. Север.—1987.—5 июня.—(Из творч. наследия).

Что на славной реке Вологде...: Об архитектур. ансамбле Вологод. кремля // Вологод. комсомолец.—1987.—5 июня.

Софья Андреевна: [Рассказ] / Публ. Н. В. Железняк // Крас. Север.—1988.—15 мая.

Старец Гермоген / Вступ. ст. Н. В. Железняк // Вологод. комсомолец.—1988.—23 дек.

Не могу молчать: [О Л. Толстом] // Крас. Север.—1989.—4 янв.—(Из неопубликованного).

Дщерь Петра // Вологод. комсомолец.—1989.—22 окт.

Меланхolia: Рассказ // Крас. Север.—1991.—4 янв.—(Из творч. наследия).

Композитор [М. П. Мусоргский]: Рассказ // Вологод. комсомолец.—1991.—12 янв.

Незнакомка: Рассказ / Публ. Н. В. Железняк // Рус. Север.—1991.—20 апр.

Стольник путешествует: Ист. повесть / Худож. М. Салтыков // Богданов Е. Поостри сердце мужеством.—Архангельск, 1991.—с. 221—277.

Итоги творчества

Это было на рассвете: Рассказ / Публ. Н. В. Железняк // Крас. Север.—1992.—3 янв.—(Из творч. наследия).

Император Николай Павлович: Ист. миниатюра // Вологод. молодежь.—1992.—24 янв.

Перламутровый ножичек: Повесть. [Публ. в сокращ.] / Предисл. ред.; Публ. Н. В. Железняк // Крас. Север.—1992.—1, 4, 5, 7 авг.—(Из творч. наследия).

Тургенев и Верещагин / Предисл. ред.; Публ. Н. В. Железняк // Лад.—1992.—№ 9—10.—с. 36—38.

О Борисе Годунове и вологодском юродивом / Публ. Н. В. Железняк // Лад.—1993.—№ 1.—с. 43.

ЛИТЕРАТУРА О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ ПИСАТЕЛЯ

Общие материалы

[Б. п.]. **Певец Севера** // Лит. Россия.—1964.—25 сент.—с. 4.

Пудожский В. В. С. Железняк // Вологод. комсомолец.—1964.—25 сент.

Аносов А. Шестидесятилетие В. С. Железняка // Крас. Север.—1964.—2 окт.

Сушиков А. Новые члены писательской организации // Крас. Север.—1968.—27 апр.

Горский В. Творческий вечер [В. С. Железняка и Н. В. Железняк] // Крас. Север.—1972.—4 марта.—(Субботние встречи).

Александров Ю. На память, на дружбу // Крас. Север.—1973.—3 марта.

Ратников Ю. Родное // Крас. Север.—1973.—10 авг.

[Б. п.] **В. С. Железняку — 70 лет** // Вологод. комсомолец.—1974.—4 янв.

Кабанова И. Исполнение желаний // Крас. Север.—1974.—4 янв.

Кабанова И. Мы родились из сказок Грина... // Вологод. комсомолец.—1975.—5 дек.

Макаров Г. Летописец // Вологод. комсомолец.—1977.—24 авг.

Оботуров В. Из дальнего далека...: Заметки об ист. прозе В. Железняка // Вологод. комсомолец.—1978.—17 нояб.

О награждении Железняка В. С. Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, 3 янв. 1979 г. // Крас. Север.—1979.—4 янв.

Оботуров В. Слушая время // Крас. Север.—1979.—4 янв.

То же // Железняк В. Лихолетье: Ист. повести. — Архангельск, 1979.—с. 5—8.

- Романов А. Добрая воля** // Лит. Россия.—1979.—12 янв.
То же: [С доп.] // Романов А. Версты раздумий.— Архангельск.—1983.— с. 140—142.
- Оботуров В. Деятельно любить свою землю** // Север.—1979.—№ 1.— с. 119—123.
- Романов А. В поисках небывалого слова: [Отчет писательской организации]** // Крас. Север.—1980.—15 мая.
- Оботуров В. Вехи нашего пути** // Крас. Север.—1980.—9 дек.
- Оботуров В. И ширь, и глубь** // Крас. Север.—1981.—20 авг.
- Смирнов Э. В творческой обойме** // Крас. Север.—1983.—11 янв.
- Оботуров В. Возвращение в молодость: К 80-летию писателя** // Вологод. комсомолец.—1983.—30 дек.: фото.
- Оботуров В. Владимир Железняк и его книги** // Железняк В. С. Зарницы над Русью.— М., 1983.— с. 268—271.
- Леднев Ю. Зажигающий зарницы истории: Штрихи к портрету** // Крас. Север.—1984.—4 янв.
- Аносов А. Преданность Северу** // Север.—1984.— № 1.— с. 100—101.
- О присвоении почетного звания «Заслуженный работник культуры РСФСР» Белецкому-Железняку В. С.—писателю: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР, 29 февр. 1984 г.** // Крас. Север.—1984.—3 марта.
- Оботуров В. Вслед за юбилем: Творчество В. Железняка в оценке критики и читателей** // Вологод. комсомолец.—1984.—7 марта.
- Суровцев Ю. Люди и время** // Новый мир.—1984.— № 7.— с. 325.
- Кабанова И. Давняя привязанность** // Крас. Север.—1984.—19 сент.
- Владимир Степанович Белецкий-Железняк: [Некролог]** // Крас. Север.—1984.—30 окт.; Вологод. комсомолец.—31 окт.
- Оботуров В. Живое время** // Север.—1985.— № 9.— с. 115—117.
- Сильнее судьбы: Письма Юрия Домбровского в Вологду Владимиру Железняку /** Публ., подгот. текста, предисл. и примеч. В. А. Оботурова // Крас. Север.—1989.—4 янв.
- Розанов Ю. О судьбе писателя рассказывает музейная выставка** // Крас. Север.—1989.—28 янв.
- Железняк Н. Краевед** // Вологод. комсомолец.—1989.—22 окт.
- Железняк Н. Через живую речь приходит к людям творчество В. Железняка** // Крас. Север.—1990.—20 июня.
- Железняк Н. Родословная писателя** // Крас. Север.—1992.—28 апр.

**ЛИТЕРАТУРА ОБ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И СБОРНИКАХ**

Повесть о творчестве. 1956.

М о л д а в с к и й Д. [Рецензия] // Вологод. комсомолец.—1957.—
27 июня.

Художник Верещагин. 1959.

Д ы яко н и цы н А. Книга о великом художнике-земляке // Крас.
Север.—1959.—22 марта.

М о л д а в с к и й Д. Яркая книга о художнике // Вологод. ком-
сомолец.—1959.—26 мая.

Вологда. 1963.

А н о с о в В. [Рецензия] // Вологод. комсомолец.—1963.—17 марта.

Б а с а л а е в И. [Рецензия] // Звезда.—1963.—№ 10.—с. 213—
214.

Художники Вологодской области. 1964.

А н о с о в А. [Рецензия] // Вологод. комсомолец.—1964.—15 мая.

Отзвеневшие шаги. 1968.

О б о т у р о в В. Встречи с прошлым // Крас. Север.—1968.—
25 дек.

К а б а н о в а И. [Рецензия] // Вологод. комсомолец.—1969.—
8 янв.

К а б а н о в а И. [Рецензия] // Кн. обозрение.—1969.—5 сент.—
с. 11.

В и к т о р о в а Н. [Рецензия] // Звезда.—1969.—№ 10.—
с. 218—219.

К а н т о р о в и ч В. Об исторических произведениях // Вопр. лит.—
1971.—№ 4.—с. 92.

Литературные места Вологодской области. 1971

К а б а н о в а И. [Рецензия] // Вологод. комсомолец.—1971.—
24 апр.

М о л д а в с к и й Д. По земле Вологодской // Лит. Россия.—
1971.—28 мая.

Родное. 1972.

Непенин Б. Первая книга нового года // Крас. Север.—1972.—8 янв.

Кабанова И. Родной Вологде посвящается // Вологод. комсомолец.—1972.—9 янв.

Гусаров В. [Рецензия] // Звезда.—1972.—Кн. 12.—с. 210.

. Невежин А. [Рецензия] // Север.—1973.—№ 12.—с. 123—124.

Харчев В. Время и факт // Север.—1974.—№ 8.—с. 120—121.

Голоса времени. 1976.

Чужгин В. Утверждение жизни // Крас. Север.—1976.—17 окт.

Кабанова И. [Рецензия] // Вологод. комсомолец.—1976.—22 окт.

Голоса времени: [Читатели о книге] // Вологод. комсомолец.—1976.—22 дек.

Ласта К. [Рецензия] // Звезда.—1977.—№ 5.—с. 216—217.

Аносов А. Образы времени // Север.—1978.—№ 3.—с. 123—124.

Лихолетье. 1979

Гризев А. Страницы русской истории // Крас. Север.—1979.—22 июля.

Алексеева И. Страницы истории // Вологод. комсомолец.—1979.—19 авг.

Осенний мотив. 1982

Пудожгорский В. О судьбах творческих // Крас. Север.—1982.—5 марта.

Анисимова С., Молдавский Д. Всмотритесь в мир // Вологод. комсомолец.—1982.—4 апр.

Кабанова И. Кружевное панно // Кн. обозрение.—1982.—2 июля.

Анисимова С. Утверждение прекрасного // Нева.—1982.—№ 12.—с. 165.

Последние годы Федора Достоевского. 1983

Васильев В. Кто движим любовью // Вологод. комсомолец.—1983.—29 июля.

Коган Г. Новеллы о Достоевском // Крас. Север.—1983.—23 окт.

ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ

Из литературного наследия
писателя Вл. Железняка-Белецкого
в разных жанрах



НА РЕКЕ НЕПРЯДВЕ

(К 600-летию Куликовской битвы.
Маленькая повесть)

1. УТРО В ЛЕСУ

Затрещали сучья, вспугнутая белка недовольно зацокала и скрылась в своем дупле, вприпрыжку промчался заяц, прижав уши к спине, гревшаяся на солнце гадюка скользнула под сосну. На лесную поляну вышагнул большой бурый медведь. Он был красив, этот зверь, красив своей силою, властью, собственным достоинством. Присел около куста еще пока недозрелой черной смородины и стал пастью обрывать ягоды. Потом поднялся и медленно, как главный воевода, пошел по направлению к лесному озерцу.

Здесь на пеньке сидел сутулый в сером домотканом подряснике с удочкой в правой руке инок с добродушным, изрытым морщинами лицом и реденькой бородкой, ловил рыбу. В деревянном ведерке плескался пока один окунек, шустрой такой, он то и дело поднимался кверху, надеясь вынырнуть на волю.

Старец посмотрел на окунька:

— Ишь ты, богатырь, не хочешь милочек в уху?

Окунек в ответ плеснулся в инока водою и быстро, ох как быстро стал крутиться в ведерке. Старец положил удочку на берег и вылил ведерце с окуньком в озеро. Окунек завертелся в воде, сделал благодарный круг — и только его и видели — пошел рассказывать о своем плене сородичам.

И вот тогда вышел медведь. Вышел, вдохнул человеческий запах и неспеша подошел к старцу.

— А, Миша, пришел, дорогуша, за горбушей! — приветствовал его, улыбаясь, инок. — Здорово, милой! — И он потрепал зверя по загривку.

Медведь заворчал и положил свою тяжелую голову на колени человека. Тот погладил его по переносице, там, где было черное пятнышко, и медведь закрыл маленькие глазки от удовольствия.

— За хлебом пришел? За хлебом?

Медведь громко заурчал. Старец достал из холщового мешочка краюху серого с кострицей овсяного хлеба и положил на ладонь.

Медведь обнюхал краюху и с наслаждением жевал ее, потом лиизнул в лицо монаха мокрым шершавым языком и, тяжело вздыхая, улегся на траву возле лаптей его.

Они были старыми друзьями. Шесть лет приходил медведь к иноку... Но долго лежать ему не пришлось. Послышался молодой голос:

— Отче Сергий, отче блаженный!

— Чего тебе, сыне? — голос Сергия строговат, не любил, когда мешали уединению.

— Князь великий приехал, просит тебя, Митрий Иванович.

Медведь, завидя чужого человека, поднялся и медленно удалился в чащобу.

2. БЛАГОСЛОВИ НА ПОДВИГ РАТНЫЙ

В низенькой бревенчатой келье, где, кроме лавки, служившей и постелью Сергию, стоял аналой и иконостас. На лавке сидели двое статных воинов в легких доспехах. Плащи — один синий с красным подбоем, другой зеленый — были небрежно брошены на лавку вместе с двумя шлемами чеканной новгородской работы.

Это были великий князь Дмитрий Иванович и его любимый двоюродный брат Владимир Андреевич, высокие, стройные. Дмитрий волосом потемнее, с мягкой курчавой бородкой, другой помоложе и посветлее, с голубыми глазами. Оба враз поднялись при входе Сергия и, низко склонив головы, подошли под благословение игумена.

— Не серчай на нас грешных, отче, — вежливо проговорил Дмитрий, — прервали твои святые мысли, но я и

Владимир седни возымели желание с тобой посоветоваться. Сам знаешь, преподобный отче, какие беды испытывает Русь неисчислимые и лихие: и татарва с Мамаем, и литовский князь Ольгерд — старый волк, и князь рязанский Олег, да и некоторые другие готовы против нас.

Он встал и прошелся по келье, нервно постукивая серебряными подковками на красных сафьяновых сапожках.

— Ах, отче Сергий, посмотри татаровы набеги на Москву, пожары, все пожирающие... Отстроимся, а что толку — огонь беспощаден, теперь мы решили из белого камня строить Кремль... А тут мор язвенный приключился! Сколько жизней унес, сколько!

— Семьями, считай, людей уносило — от княжеского рода до смердов, — сказал Владимир.

— Да, отче, ужасу подобно, — продолжал Дмитрий. — Недаром на солнце пятна черные проявились.

— Знаю, знаю, сыны мои, — игумен задумался. — Знаю, как ты — великий княже перед поганым ханом унижался ради православных, в орду ездил, дань высыпал.

— Сколь не посытай, — голос юношеский Владимира срывался, — все сыроядцам мало, все требуют больше. Пора пришла за мечи браться, есть еще сила на Руси, и князей честных найдется немало, таких, как белозерский Федор да подручные ему князья!.. А суздальцы, переславцы, костромичи, муромчане за Русь головы сложат! И просим мы твоего благостного совета...

И тогда сказал Сергий:

— Идите, дети мои, с Богом, верю аз многогрешный в вашу победу над нечестивыми. Не в силе Бог, а в правде!

— Хвастал-то хан татарский, — засмеялся зло Владимир, — ой до чего хвастал: «Казним рабов строптивых, да будут пеплом грады их, веси и церкви, обогатимся русским золотом».

— Не бывать тому, — тихо молвил Сергий, — а я вам в помошь для укрепления веры в победу дам иноков своих: Александра Пересвета — бывшего воина из бояр брянских и Андрея Ослябю — бывшего боярина любецкого, богатыря храброго.

— Мыслит еще Мамай великого князя литовского Ягайлу привлечь, да заодно с ними Олег рязанский, о чём я уже баял тебе, пресвятые очи.

— Много крови прольется! — Сергий вытер глаза рукавом подрясника. — Много, но сердцем вещим чую — победа будет наша! — Вздохнул тяжело. — А теперь молитвы час наступает... Грядите на Москву, князья!

Встал, благословил и облобызal Дмитрия и Владимира:

— Благословляю на брань!

Князья вышли во двор. Двое конюхов держали под уздцы борзых коней, белых, горделивых, перебирающих от нетерпения землю копытами. Дмитрий и Владимир легко вскочили в седла, и вынесли кони их за монастырские бревенчатые врата, и, как бы напутствуя, с монастырской звонницы ударил колокол.

— Хорош старец отец Сергий, — сказал Владимир. — Вот у меня в Серпухове по моей просьбишке создал монастырское общежитие. Захожу туда для моления, и душа теплеет.

— Правду молвишь, Володимер, — согласился великий князь. — Не токмо молитвенник Сергий, он и в дела государские вхож, ум орлиный, такого бы нам в митрополию, да рази уговоришь?

Кони бежали легко, красиво бежали кони, и дорога была укатанная, а по бокам перелески с березками, ивушки, елочки, деревушки с оконцами, затянутыми бычьими пузырями, мужики в посконных рубахах на полях; вот пастух присел на пень и плетет лапти. Чистый, прохладный к вечеру воздух. Русь!

— Неужто можно эту землю отдать? Да ни в жисть! — горестно сказал Владимир. — Ни в жисть!

3. ПОД ВЕЛИКОКНЯЖЕСКИМ СТЯГОМ

В Москву собрались воинские части под командою Дмитрия и князя Серпуховского Владимира. Десятки дружин удельных и служилых князей. Приехал с ними и вольный воевода Дмитрий Боброк — витязь и вождь, умудренный годами и опытом... Ему поручил Дмитрий встать под знамя Владимира. И опять с некоторыми

приближенными воинами поехал Дмитрий в Сергиев монастырь.

Здесь игумен выезжал Пересвета и Ослябю и вручил им новые схимы — одеяния черные с нашитыми белыми крестами,— их надевали иноки, отрешенные от мира.

— Вот оружие, которое послужит вам вместо шлемов.

После напутственного молебна великий князь вместе с иноками выехал к войску. Полки с распущенными знаменами уже шли из Московского кремля. Огромные толпы народа, духовенство, ремесленники, женки провожали их. Провожала со слезами и плачем великая княгиня Евдокия. Утро было теплое, нежно золотились березы, звонили колокола.

Неисчерпаемым потоком двигались полки, двигались гордо, смело, ибо знали, что решается судьба Отечества, князья ехали впереди воинской рати. Ах, неописуема была преданность Родине, что даже литовцы — сыновья Ольгерда Андрей Полоцкий и Дмитрий Брянский — примкнули к русской всенародной рати.

Шли полки, искрились на солнце княжеские богатые доспехи, и разевался по легкому ветру великолепный стяг с изображением Спаса.

— Что это за воины? — спрашивали в толпе при виде богатырей на черных конях, в схимонашеских мантиях.

— От игумена Сергия из лавры — Пересвет и Ослябя,— отвечали им москвичи, уже знавшие этих монахов.

И народ дружески приветствовал их: вертайтесь с победой!

4. НА БЕРЕГАХ НЕПРЯДВЫ

Шестого сентября россияне приблизились к верховьям Дона. Седьмого Дмитрий Иванович велел искать удобные места для брода конницы и наводить мосты для пехоты.

На следующее утро, в день рождения Богородицы, князья Дмитрий Иванович и Владимир Андреевич, выйдя из палаток, увидели, что все поле и реку Непрядву застил густой туман, такой густой, что в нем ни зги не видать. Но вскоре туман рассеялся. В это время прибыл гонец с посланием от Сергия, в котором тот советовал великому князю не терять времени.

— Суд Божий наступает! — воскликнул Дмитрий Иванович и созвал князей и бояр для совета, как распределить войско, перешедшее Дон и стоявшее на берегах Непрядвы.

После долгих споров поставили так: в середине находились дружины литовских, белозерских, каргопольских князей, вологодские воины; в велиокняжеском полку — отряды бояр Квашни, Бренока, князя Ивана Смоленского. На правом крыле — князь Андрей Ростовский, князь Стародубский, дружины боярина Федора Грунка. На левом — князь Василий Ярославский, Федор Моложский, боярин Лев Морозов. Сторожевой полк отдан под начало боярина Михаила Ивановича, князей Симеона Оболенского, Ивана Тарусского и Андрея Серкиза.

Полк засадный, на который особенно располагал великий князь, находился под рукою князя Владимира Андреевича и его помощников — бояр Дмитрия Волынского Боброка, князя Брянского, Василия Кашинского. Засадное войско было укрыто в лесу.

В шестом часу утра увидели на поле разноцветное татаро-монгольское войско, и сила их намного превосходила русскую. Союзник Мамая литовский князь Ягайло по своей хитрости к татарам не присоединился. «Русь храбра, исполнена духом мужества,— раздумывал он,— кто знает, на чьей стороне будет победа? Надо выждать».

У Мамая в войске были наемники — венецианцы и другие европейцы, надеявшиеся на большую поживу в русской земле. Мамаевы полчища казались неисчислимymi, и горделиво трепались по ветру татарские конские бунчуки.

— Сдавайся, рус! Конец тебе, собаке, пришел,— кричали они, гортанно взвизгивая.— Будешь на цепи сидеть и следы мои лизать.

Русь не отвечала. Стояли, как застывшие, пофыркивая, кони, переминались с ноги на ногу, сжимая палицы, воины.

Ждали сигнала.

Запах конского и человеческого пота, дымный чад от стоявших позади татар шатров, у которых разводили костры, стоял над полем, смешиваясь с нежным запахом увядавшей травы.

5. ВАСИЛИЙ ИЗ ПСКОВА

Вместе с воинами-иноками Александром Пересветом и Андреем Ослябой находился послушник Василий Выткун. Сей Василий был еще молод, короткая каштановая бородка курчавилась. Нрава послушник был тихого и своих хозяев-монахов уважал до самозабвения: прикажи они на костре гореть Василию — с улыбкой пошел бы в огонь.

Росточком Василий, правда, не вышел, складом тела квадратен, глаза большие, карие и добрые. Схимонахи-воины любили послушника, зная его печальную судьбу и сиротство — еще паче.

Василий родом из Пскова, родители его поделывали ременные вожжи, сиделки, в общем, конскую сбрую, жили не бедно. У дьячка Досифея обучали сына грамоте. Читал Василий бойко, а писал с трудом, коряво, но писал. И невесту зaimел у соседа-бондаря — дочку Малашу, льняные косы и алые губы. И сердце у парня радовалось, глядя на девицу.

Но пришла беда, страшно молвить, до чего ж страшно! Занесли неведомую моровую язву из-за рубежа приезжие купцы. Стала она косить людей всяких званий и чинов. Никакие травы, окуривания, даже деготь — не помогали. Человек утром казался здоровым, выходил из дома, а по дороге у него начинались сердечные боли, кровь из горла хлестать начинала, тут и падал. Прохожие боялись прикоснуться к нему, обходили стороной...

Язва ужасная, мучительная, никого не щадила. Скончались родители Василия, семья бондаря и Малаша — невеста нареченная. Побросали их в общую яму и зарыли, и остался Василий сиротою. Почему-то не забрала его болезнь, хоть он ее не боялся, поил родных и Малашу луковым отваром, чесночными выжимками и еще травами, кои давала знахарка Косьминишина.

И ушел Василий из города. Везде была моровая язва. По дороге решился идти к преподобному Сергию. Все, что было на нем, вплоть до исподнего, сжег. На гривну серебряную, что тоже пропалил на костре, спрavил чистую одежду, в речках мылся печной золою, а последнее родительское благословение — серебряная чарка —

служила парню для целебного питья. По дороге в лесу
пил березовый сок.

Шел. Красота в лесу и горе на дорогах. Повальные
болезни. А тут еще татарский гнет. Видел — вели бас-
какские воины молодых девок, привязав их каждую за
косу. Сами на конях, а девки на веревках бегом, и кровь
из ног, обувь-то лаптняная давно слетела.

Шел Василий и плакал. Шемящая боль на сердце.
И решил — ежели возьмет в послухи отец Сергий,
проситься в монастырские стражи, а часом придется —
и с врагами потягаться.

Подойдя к вратам монастырским, встал на колени.

— Ты чего, парень? — спросил отец-вратарь.

И узнав, что хочет проситься в послухи, строго гля-
нул: Из холопов, что ли, ча?

Обиделся Василий, но смирился, даже голоса не по-
высил.

— Нет, отче, я есьм вольный пскович.

Допустили до настоятеля. Сергий с ним беседовал
запросто:

— Служить Богу — добroe помышление, сыне, добroe,
а каяться опосля не будешь?

На коленях Василий лобызal руки Сергия:

— Не мил мне грешный свет, преблагие очи, прими
ради Христа в монастырь.

Приняли на тяжелые работы. Затем определили
за конями ходить, и были в руках Василия кони и сыты,
и на загляденье. А под конец сделали его послухом
Пересвета и Осляби.

Эти богатыри много рассказали из чудес настоятеля:
и о том, как Сергий собрал и строил монастырь,
и о том, как он открыл святой источник-родник, питаю-
щий всех водой, и о том, как возлюбил его народ и
князья.

— Истинный для нас благодетель отец Сергий, — го-
ворили они.

И еще больше умилялся сердцем Василий.

6. ПОДВИГ ПЕРЕСВЕТА

На Куликовом поле решалась судьба Отчизны, судьба народов, населяющих Русь.

Стояли две громадные армии.

Татары глумились над россиянами. Те по приказу воевод молчали. Скрипели зубами, но молчали.

С вражьей стороны выехал вперед воин огромного роста, уподобить его можно было только Голиафу библейскому. И на вид он был отвратителен: все низменное выражалось на его лице с косым синим шрамом — и жажда убийства, и презрение к россиянам. Узкие глаза метали злобу.

Ах, как был уверен в победе этот татарин по прозвищу Целибей Темир Мурза. Он с насмешкой глянул на московское войско, остановил коня насупротив стяга великокняжеского и хрюплю, как бы лая, прокричал:

— Эй вы, собаки, пусть выйдет сразиться копьем какой-либо ваш богатырь-вождь, и я его сражу в единоборстве, и затопчу конь его подлый прах... Так и со всеми вами будет! — Целибей потрясал копьем и победно смеялся.

И этот дикий смех врага звучно раздавался над обширным полем Куликовым.

— Ну что ж, брате Андрей Ослябя,— молвил тогда Пересвет, гладя по холке своего богатырского рыжего коня.— Мыслю аз грешный, что преподобный Сергий благословил бы мя на битву с сим чудищем.

— Дерзай, брате,— ответствовал Ослябя.

У него к седлу была прикреплена фляга со святой водой из целебного Сергиева источника. Он окропил ею своего друга...

— Дерзай, брате!

Пересвет простился с близ сидящими на конях воинами, поклонился великому князю и воскликнул:

— Отцы и братья! Простите мя грешного и недостойного!

— Иди с богом на единоборство, да снизойдет на тебя нетленная слава и вспомяннет тя, брате, Русская земля! — раздалось ему в ответ.

Пересвет в одном монашеском одеянии, без лат и

шлема, вооруженный тяжелым копьем, устремился на татарского мурзу.

Московские и татарские войска замерли. Слышались только храп коней и стук их копыт. Оба противника с неимоверной быстротой, разгорячив коней, сблизились, и их копья с необыкновенной силой пронзили друг друга. Оба замертво пали на землю, на прибитую дождями и копытами лошадей пожухлую траву, окрасив ее кровью.

Раздались громкие восклицания и россиян, и татар и, не сговариваясь, оба войска начали битву — великую и страшную битву за свою судьбу.

7. ВЕЛИКАЯ БИТВА

Донская битва ужасала числом погибших воинов: и с нашей стороны, и со стороны татаро-монголов потери исчислялись тысячами. На протяжении десяти верст лилась кровь. Противники до того ожесточились, что, умирая, зубами вцеплялись в горло друг друга. Часть неопытных ратников обращалась в бегство, и только возгласы старых воинов отрезвляли их, и они снова вступали в бой. От великого князя до самого простого пехотинца — все проявляли чудеса храбрости.

Одному татарскому отряду с трудом удалось открыть путь к княжеским знаменам.

— Сыне мой, Василий, не дадим иноверцам добыть сии знамена,— сказал израненный татарскими саблями Осялябя — и сопровождаемый Василием ринулся на ордынцев.

Василий едва поспевал за Осялябей, монашеская одежда которого наводила страх на татар. Но вот Осялябя упал на землю, его конь, отфыркиваясь кровавой пеной, спотыкнулся, заржал, и темная пелена закрыла его глаза. Осялябя все же поднялся и, встав рядом с Василием, отбивал написк татар.

— Крепись, сын,— подбадривал он юношу.

Копье татарского мурзы ударило монаха в висок. С криком на его тело накинулись враги, вымешав на нем свой гнев.

Василий отбивался коротким мечом. Подоспели белозерцы и каргопольцы, и татары отступили. Но при отступлении они облили ливнем стрел белозерцев. Один из молодых князей был ранен в висок и упал под ноги татарского коня. У белозерцев потери были велики. Честно сложили за Русь буйные головы и остальные князья белозерские числом одиннадцать, князь Каргопольский и воевода Устьянский. Лучники тоже нанесли немалый ущерб своими стрелами монгольским полкам.

Владимир Андреевич Серпуховский, стоявший с засадным полком в лесу, волновался: его сердце учащенно билось.

— Батюшка Дмитрий,— дернул он за плечо Боброка Волынского,— не пора ли нам на подмогу идти великому князю? Видишь, господине, сколь много нашей крови?

— Подожди, княже,— сурово возразил Боброк,— время еще не приспело.

Ветер вскоре переменился. Он повернулся в сторону татар, и тогда воевода, поднявшись в стременах, извлек меч.

— Княже Владимире, пробил наш час. Давай глас в наступление.

Засадный полк радостно и яростно обнажил мечи, а кто нацелил тугие луки: передовой отряд Владимира, стремив копья, вылетел из засады на поле и стал разить уставших монголов.

Те, решив, что у русских появилась новая армия, кинулись в бегство, бросая кривые сабли и луки. Началась паника. Неприятель быстро отступал. Хан Мамай, стоявший на кургане, окруженный мурзами и темниками (тысячниками), увидев бегство своих войск, сбросил чалму и, топча ее ногами, воскликнул:

— Что это? Куда бежите? О, сколь велик бог христианский! — и, сев на коня, со своей свитой смешался с толпой отступающих.

Полки русские гнали орды до реки Мечи, захватив кибитки, верблюдов, груженых драгоценностями, и другую несметную добычу. Победа Дмитрия была полной.

Со слезами на глазах Дмитрий и Владимир обезжали поле боя, на котором лежали убитые и раненые, благодарили воинов, обнимали военачальников.

— Сих храбрых монахов,— приказал Дмитрий,— не медля отвезти в один из московских монастырей. Оказать раненым помощь.

Послушник Василий не мог встать. Рана на груди причиняла ему боль, а голова кружилась, но и он радостно улыбался...

Великая битва на Дону, слава о которой прошла по всей Европе и Азии, была большим историческим событием. Дмитрия Ивановича стали именовать Донским, а Владимира Андреевича — Храбрым.

ЭПИЛОГ

А послушник Василий шел за телегой, на которой лежали в большой дубовой колоде тела Пересвета и Осляби. И много было по дорогам таких похоронных дрог. Кто был побогаче, имел родных или друзей — тот сопровождал дорогие для них останки в родные места, чтобы лежали они до страшного суда Господня, чтобы можно было навещать их и совершать поминания в их память. Тех же православных воинов, коих навалом на Куликовом поле осталось, похоронили под возгласы священников и дьячков в общую могилу и земно поклонились им — героям безымянным — и князья, и бояре, и оставшаяся рать.

Шел Василий по Руси за подводой, кормили его по дороге овсяными лепешками и кислым квасом старики и добрые крестьянки, а рубахи и порты сам стирал в прудах и озерах.

Сергий и монахи отслужили панихиду по убиенным схимникам. А потом владыка, поразмыслив, сказал:

— Ты, Василий, еще молод, звание твое — послушник, а не инок. Властью, данной мне Богом, отрекаюсь от послуха, иди в мир и прими на первое устройство немного грошей да сию сумму с сухарями... Живи и не греши — помни своих учителей иеромонахов, схимников Пересвета и Ослябю. Тела их, яко погибших за Московского князя, сдай в подмосковный монастырь, ибо жизнь свою они — иноки — положили за Москву, ее князя и за Русь.

Исполнив повеление игумена, сменил Василий подрясник на посконные порты и пестрядинную рубаху, нахлобучил на лоб шапку и пошел по Москве искать себе и промысел, и жилье. У кузнеца Игнатия устроился Василий подручным, и с вниманием слушали его рассказы о битве, о схимонахах, о пресветлом князе Дмитрии Ивановиче Донском и о брате его Владимире Храбром. Когда поправился Василий от своего ранения, показал себя таким подмастерьем и силачом, что Игнатий принял его в свою семью и нарек женихом дочери Евдокии.

И видел Василий из двора своего Кремль, заново крытый белым кирпичом. Возвышался он своими стенами и башнями над всей подмосковной округой, и смотрели на него с великой надеждой московские люди.

1980



СТАРЕЦ ГЕРМОГЕН

(Из цикла «Русские новеллы» —
как урок мужественной веры)

Сегодня они опять пришли к нему.

В запах росного ладана, кипариса и мерцание лампад они внесли звон шпор и оскверняющую ухо чужеземную речь. Толстый, похожий на бочонок пива, пан грозно говорил переводчику, а тот, высокий, с птичьим лицом и бегающими глазами, почти шепотом переводил панскую речь.

За маленьким оконцем были видны белые стены монастыря, пресветлые главки церковок и на башне — поляк в жупане с пищалью. Это смущало взор, и не хотелось смотреть в оконце.

Переводчик шепелявил:

— Пусть подпишет грамоту ко всем москалям, чтобы признали волю наисветлейшего круля Речи Посполитой — Сигизмунда и крест целовали на верность крулю и вельможному сыну его — королевичу Владиславу.

Слова проваливались в пустоту — они не ощущались, и, перебирая четки (четки были строгие черные из кипариса, освященные в Иерусалиме), думал старец о другой грамоте, которую писал в Нижний Новгород, в Вологду, в Устюг — ко всем людям русским, о защите достояния отцов своих и Церкви Православной. Грамота эта лежала у него на груди, под черной монашеской рясой.

Пан топнул ногой — зазвенела рыцарская шпора.

— Пшеклентный москалъ! — краснея от злобы, закричал пан. — Сто дьяволов в печеньку! — И к переводчику: — Скажи, что завтра опять приедем за ответом, и, ежели грамоту не подпишет, умрет лютою смертью. Як бога кохам, умрет!

Пан плюнул на холодные каменные плиты пола и, бряцая саблею, в сопровождении офицеров и переводчиков вышел из кельи.

Снова тишина и мерцание лампад, и образ нерукотворного Спаса.

Старец тяжко привстал с кожаного кресла, неуверенно шагнул: ноги опухли и были, как деревянные. Раньше хоть холод чувствовали, а теперь ничего. Медленно подошел к киоту, с трудом согнув колени, упал ниц — лоб стукнулся о каменную плиту, и стоном вырвалось:

— Всемилостивый, услыши моление мое! Спаси и сохрани державу Российскую и всех жителей ее!

Подняться с пола было труднее. Кряхтя и охая, наконец встал на ноги. Снова побрел к креслу, сел... Привычно пододвинул черный низенький стол, на котором стояла чернильница и лежало старое гусиное перо. Достал с груди грамоту, раскрыл свиток и, напрягая зрение, стал писать полууставом.

Писал, а из воспаленных глаз капали слезы, отчего на свитке оставались пятна, смешанные с чернилами. Писал до тех пор, пока темнота не охватила келью. Тогда поставил подпись: «Смиренный Гермоген, патриарх Московский и всея Руси».

* * *

Наиисветлейший король Сигизмунд принимал папского нунция.

У короля лицо длинное, закрученные усы, маленькая бородка, на голове шляпа с пером цапли. Из-под кружевного воротника на грудь спадала массивная золотая цепь. Сигизмунд сидел на скамье, закинутой мягкой медвежьей шкурой, а ноги в меховых сапогах — на ковре.

Нунций в алой кардинальской мантии — лицо бритое и оплывшее, а глаза пронизывающие, — сидел напротив Сигизмунда и, размахивая перед королевским носом белыми руками, говорил:

— Святой отец надеется, что могущественный правитель Польского королевства найдет достаточно мер, чтобы вырвать подпись у восьмидесятилетнего Гермогена.

Король поднял серые скучные глаза на кардинала и ответил медленно, взвешивая каждое слово:

— Святейшему престолу известна моя преданность. Мною уже даны указания панам гетманам Гонесевскому и Ходкевичу. Я велел заморить старика голодом, если

он не подпишет грамоты. Упрямство патриарха разобьется о мою державную волю.

Кардинал улыбнулся краешком губ:

— Ваше величество — краса и гордость европейских монархов и верный сын Святой Церкви. Но яснейший король, конечно, знает, что умерший от голода патриарх может после смерти стать более опасным, чем при жизни. Я почтительно советую вам, государь, действовать путем ласки, подкупа, обещаний. Подпишитесь о том, что православная вера будет оставлена неприкосновенной и что вы станете править москалями по их собачьим законам,— и, как бы читая в глазах короля, кардинал закончил,— подпись, данная схизматику ради прославления истинной веры, всегда может быть нарушена словом его святейшества.

— Амен,— сказал король. Поднялся, давая понять, что беседа окончена, и галантно поклонился.

* * *

В богатой купеческой Вологде, в далеком северном Устюге, в суровом Кирилло-Белозерском монастыре, в торговом Нижнем Новгороде, на площадях, в съезжих избах, с амвона церквей читалась переписанная во многих списках грамота патриарха Гермогена. Грамота призывала русских людей, чтобы они стояли крепко за родную землю, чтобы на царство ни польского короля, ни Маринкина сына не брали.

Патриарх, горячо одобряя тех, кто шел в ополчение, заканчивал свою грамоту словами: «Да будет над верными людьми русскими милость от Бога и благословение от нашего смирения. А на изменников да изольется гнев Божий и да будут прокляты, как Иуда, на веки вечные».

Собирались крестьяне, торговые люди, служилые и стрельцы. Собирались под знамена Димитрия Пожарского. В мастерских переливались на пушки колокола, ковались мечи, сапожники шили обувь; старики, кряхтя, вытаскивали из ларей рублевики и полтины — все это шло в казну ополчения. Казной ведал выборный от всего народа Козьма Минин-Сухорук.

Русь, повергнутая, обесчещенная, выжженная, поднималась на своего врага. Она поднималась во весь рост и, как всегда в лихолетья, очищалась от налипшей скверны. И справедливый карающий меч грозно и ярко сверкал в ее руке.

Накануне того дня, когда Гермогена перевели в сырую мрачную подвальную темницу Чудова монастыря, он получил известие о формировании дружин Минина и Пожарского и о том, что из Вологды в Ярославль идет ополчение под водительством Мансурова.

Гермоген перекрестился и сказал:

— Ныне отпускающи раба твоего, владыка.

Когда пришли поляки и русские изменники в последний раз требовать патриаршой подписи, старец был величав, спокоен и молчалив.

В подвальной темнице патриарха бросили на грязную мокрую солому. На ноги и на руки надели тяжелые ржавые цепи. Поляки били его по щекам и дергали за седую бороду...

На дворе стояла морозная с ветрами зима. Патриарх дрожал от озноба в своей черной худой рясе. От заплесневелой воды и полугнилого хлеба у него открылась рвота.

Через два дня, после того как в последний раз к нему пришел толстый пан с переводчиком, Гермогена лишили не только хлеба, но и воды. Чтобы утолить жажду, старец лизал железо цепей; язык стал шершавым, покрылся язвами и распух, с трудом вмещался во рту.

Большие рыжие крысы пищали и часто, когда Гермоген лежал в забытьи, бегали по его телу.

* * *

Смоленский воевода Шеин до последнего дня, раненный, с беззаветной храбростью защищал свой город, взятый изменой.

Король Сигизмунд со своим войском вошел в Смоленск.

В палатах смоленского героя — воеводы Шеина — король сидел в кресле, закутанный в меха. Лицо у Сигизмунда желтое, но усы, как всегда, гордо закручены.

Около него стоял папский нунций.

— Итак,— говорил нунций,— вашему величеству не удалось сломить волю Гермогена?

Король нервно погладил рукой бороду и ответил кратко и гневно:

— Нет!

Нунций горестно вздохнул:

— И что же будет дальше?

Король поправил золотую цепь на груди;

— Сдохнет, как пес!

— Амен,— закончил беседу нунций.

Было шестое февраля тысяча шестьсот двенадцатого года.

Робкий свет заглянул в мрачную монастырскую темницу.

Гермоген лежал на соломе: глаза ввалились, нос заострился; дышал слабо, с перерывами. Малейшее движение требовало неимоверных усилий — старец голодал двенадцатый день. Он взглянул на большую крысу, которая сидела почти у самого лица и смотрела злыми бусинками глаз.

— Дожидаешься кончины моей? — едва поворачивая во рту сухой распухший язык, сказал Гермоген.

Крыса сидела и не шевелилась. Старец приподнял руку — рука была сухая, прозрачная, тонкая — цепь зазвенела. Крыса отскочила в сторону и присела в отдалении.

— А крест целовать польскому крулю русские люди не будут,— прошептал патриарх.— Се аз, недостойный, утверждаю. О владыка! Господи! (Начали неметь ноги, глаза сами закрывались, а в ушах стоял непрерывный набатный гул). О всемилостивый, спаси и сохрани землю Русскую и град отцов наших — Москву!

Протянул к тусклому окошку руку. Затем рука упала на грудь. Поднять ее больше не мог.

Тогда закрыл глаза, чтобы никогда не открывать их.

...А из Ярославля, сверкая на морозном солнце бердышами, самопалами, пищалями, саблями, в конном и пешем строю, под синими с красной каемкой стягами двигались к Москве отряды всенародного русского ополчения Минина и Пожарского.

1944

ДШЕРЬ ПЕТРА

(Из цикла «Русские новеллы» —
о тяжкой тщете истории)

Ее называли красивой, веселой, доброй. Она была темно-русой, говорливой, писала стихи и песни. Надо еще прибавить, что она считалась храброй, да что там считалась — она сама всей судьбой, обстоятельствами жизни была поставлена в условия, когда трусиха погибла бы. И еще: народ, особенно солдаты и гвардейцы, ее обожали. Дочь Петра Великого. Всегда на именинах, рождениях она присутствовала, одаривая солдат улыбками и жизнерадостностью. Ей не было и восемнадцати, а Елизавету называли матушкой, так и говорили: «Наша матушка», «Пойдем к матушке». И зорко следили, чтобы никто не чинил ей беды. А причинять беду могли сколько угодно.

Императрица Анна Ивановна, ее фаворит герцог Бирон, придворные немцы не считали Елизавету будущей наследницей. Анна Ивановна вызвала из-за границы свою племянницу Анну Леопольдовну, ее бездарного мужа — немца Антона, у которых родился сын Иван. Им она хотела передать царскую корону.

Сколько горя испытала Елизавета!

Теперь, сидя в Зимнем дворце, уже немолодая царица Елизавета Петровна вспоминала ту ночь, когда по просьбе преданных ей солдат она, надевши преображенский мундир, арестовала брауншвейгскую семейку, обещая быть матерью маленькому Ивану.

Иван Антонович очутился в Шлиссельбургской крепости, а Елизавета, взяв в мужья певчего Разумовского (ах, какой у него был голос, какая фигура!), передала большую часть управления своему другу Ивану Ивановичу Шувалову. Иван Иванович государственными делами особенно не интересовался, его привлекала наука, и первым его другом был Михаил Васильевич Ломоносов.

Он яростно защищал его от немецких профессоров, которые заполонили Академию наук.

Ломоносову была предоставлена возможность иметь собственную лабораторию, ему был дан чин статского советника и даже пожаловано небольшое имение с крепостными душами. Там Михаил Васильевич проводил свои опыты по керамике, по электричеству, там им было написано стихотворное послание о вступлении на престол Елизаветы Петровны. Но вот странное дело — Михаил Васильевич был женат на немке, его жена — дочь немецкого мастера — организовала в имении ферму. О, какая это была ферма! Многие удивлялись: жена статского советника, профессора и кавалера — и вдруг занимается коровьими сиськами. Впервые коровы обслуживались крестьянками в белых халатах, и всюду была немецкая аккуратность и чистота.

Елизавета Петровна смотрела в окно Зимнего дворца. Серые свинцовые волны, два небольших фрегата с повисшими на реях полотнищами желтых флагов с орлами. Были еще и бело-сине-красные. Символизировали они — царя, правительство и народ. Царица вздыхала: какая большая тяжесть ее давила — непомерная! Российская держава — от Петербурга до конца света. На кого надеяться?

Разумовский предан, как пес, но и знаний мало, а сколько вина пьет и не пьянеет, хотя в пьянстве неприятен. Шувалов вежлив и грациозен, ему подавай только науку, а до большего ему нет дела. Вот выписала из Голштинии сына покойной сестры — Петра с молодой женой, немецкой принцессой Екатериной, а та с собою и матку, старбень придворную, привезла. Что для империи швах получается: не вникает Петруша в дела — все больше солдаты, парады да выпивки. Правда, Екатерина лучше — во все вопросы входит, больно уж входит! Сына Павлушу недавно родила, да, видно, хочет быть Петру соправительницей.

Смотрит на Неву, вздыхает: во все надо вникать, во все. Вот начал чертушка прусский Фридрих ерепениться — вздумал земли у Марии-Терезии австрийской отнимать. Надо по-божески жить, а он — разбойник! Приходится своих солдат и офицеров посыпать. Зачем эти волнения?

И опять вздыхает Елизавета Петровна. Хорошо было мирно; заказывать новые платья — любит она это, ох, как любит, хорошо вечерком с красивым мужчиной посидеть, хорошо плотно и вкусно покушать (не чуждалась и наливок, и приходится... много приходится). Вспоминает, как в Петергофе посетила хозяйство Ломоносихи... Не похаешь, нет, не похаешь — чисто и все прибрано — разложено по полочкам. Правда, Елизавете кажется очень уж скучно, немка есть немка.

Пришли придворные дамы, попросили в столовую обедать — мол, ваше величество, пора. Реверансы, сплошная вежливость, а помнишь ли, дорогая Лизенька, прежние годы — давние молодые годы в Покровском? Как тогда весело было! Как свободно!

Теперь встала, располневшая, но все еще привлекательная, и поплыла — именно поплыла в столовую обедать, по этикету — чинно, дамы с реверансами, мужчины с глубокими поклонами. А там уж Екатерина Алексеевна с улыбкой и поцелуем — дорогая тетушка, как я рада узреть вас в столь пленительном виде!

* * *

Горели в люстрах свечи. Свечи разноцветные, и мысли царили такие же. Села в кресло, остальные на стульях, на хорах музыка заиграла пищеварительная — для государыни приготовлена. Политес, ритуал, улыбки. После обеда Елизавета Петровна соснула — всегда, что бы ни случилось, после обеда она изволила почивать, как и подобает по-русски — крепко, со сновидениями. Какие ни приходили, хорошие или плохие, но всегда что-нибудь снилось. Если почивала без сна — просыпалась встревоженная, даже сердитая, чуяла, что-нибудь стряслось. Если этого не случалось — все равно, раз нет сна, значит, что-нибудь стряслось.

На этот раз виделся Шубин, с чего это? Никогда о нем не думала, в мечтах ни разу о нем не вспоминала, а тут извольте видеть — какой не авантажный плезир.

Была тогда Елизавета молодой, краснощекой русской принцессой — недаром батюшка, царство ему небесное, говорил: «Я тебя, Елизавета, красавица ты моя, за

короля французского отдали — никак не меньше», — и при этом глаза у батюшки делались выпуклыми, а она, принцесса всероссийская, думала лишь о пропорщике лейб-гвардии Шубине. Узнали об этом плезире ее высочества и посоветовали, якобы из внимания к молодому человеку, помазать лицо его некой мазью — красивше станет. Он сдуру и обмазал свое привлекательное личико и стал как чумидла — прыщеват, с какими-то синими разводами омерзительными. А герцог Бирон — уж это после смерти Петра — взял да выслал Шубина в Сибирь, в тартарары и женил на камчадалке. Когда пришло время стать императрицей, Елизавета первым делом распорядилась вернуть его из Сибири. Нашли, вернули, такого страшного, что ужаснулась Елизавета. Дали ему генеральский чин и вежливо попросили убраться за Каму-реку.

И вот приснилось такое — давнее, лет семнадцать, а то и восемнадцать прошло — и вдруг вспомнилось. И с чего? С чего, я вас спрашиваю?..

Проснулась Елизавета Петровна, глаза протерла, усмехнулась даже — и что за сны странные бывают! Надо бы узнать, где теперь этот отставной генерал-аншеф?

Прибежали фрейлины:

— Как изволили почивать, государыня? Что потребует великоледкая?

Великоледкая потребовала квасу, да не в стакане, а в жбане. Принесли. Изволила пригубить чуть ли не на целый штоф. Подошла к зеркалу, поправила волосы. Все еще недурна, ей-богу, недурна — можно похудеть немного, а стоит ли? Велела пригласить ее высочество Екатерину Алексеевну, опустилась на мягкий пух, что стоял у кровати, и снова подумала:

— До чего ж я вальяжна! Вальяжна-то, вальяжна, но старею, старею, уж пятьдесят с гаком... да... На все Божья воля.

* * *

Екатерина Алексеевна отвесила глубокий книксен Елизавете, была она в синем платье с белыми воланами.

— К вашим услугам, государыня-тетушка, — сухие губы

коснулись пухлой руки императрицы.— Что вам снилось, государыня?

— Всякий вздор несусветный,— Елизавета скривила губы.— Готовы ли вы совершить мой ежедневный вояж?

Когда Елизавета была недовольна, то разговаривала с Екатериной на «Вы».

— С превеликим счастьем! — проворковала Екатерина.

И вот они с придворными дамами едут на тряском дормезе. Открытый дормез — лошади сытые, тихие, едут по городу. Кучер в ливрее с орлами, упитанный, как и все, что окружают императрицу. И народ падает ниц перед ее величеством, и ветер с Невы хороший, морской. Все это располагающе действует на Елизавету. Она спрашивает Екатерину:

— Как ваш супруг, ваше высочество? Не надоело ли ему все дни торчать в Ропше?

— Нет, тетушка. Наследник все время со своей пассией Воронцовой и офицерами.

— Ты неужели его ревнуешь? — удивилась Елизавета.— Не ревнуй, моя милая. Это только ответ на твою холодность. И еще чем озабочен Петруша?

— Он волнуется, что его кумир Фридрих испытывает поражение от войск генерала Апраксина.

Елизавета весело сверкнула глазами и стала похожа на отца.

— Надо проучить этого Фридриха. А что касаемо поражения короля — есть русская пословица: «Русские всегда били прусских». Пусть не обижает Марию-Терезу... Это ему урок! — Засмеялась.— Горжусь своими солдатами.

А русские солдаты пронесли тогда победное русское знамя по улицам Берлина.

Екатерина просительно:

— Ваше величество достойно проучили Фридриха. Он согласен на условия ваших советников. Не пора ли вернуть наших солдат?

Елизавета пристально взглянула на Екатерину:

— Не говоришь ли ты так, Катя, потому что твой папахен — прусский принц и генерал?

Екатерина покраснела:

— Я, государыня, теперь русская. Мне интересы России дороже,— и замолчала.

Проезжали мимо караула Семеновского полка. Офицер громко:

— Смирно! Равнение! Здравия желаем вашему величеству! Был офицер молодцеват, форма облегала фигуру. Елизавета подозвала его к дормезу.

— Как звать тебя, молодец?

— Поручик Сергей Колыванов, государыня.

— Довольна тобой. Вечерком загляни во дворец.

— Рад стараться, ваше величество.

Поехали дальше, подышали воздухом и обратно, в Зимний.

Там в течение часа Елизавета беседовала в кабинете со своими министрами. Отменила казнь одному разбойнику, сказала:

— Господин тайный советник! Негоже казнить людей. Господь покарает. Сошли его в Сибирь, на рудники, пусть на державу поработает.

Да, многие десятилетия великая страна не подвергалась ужасу и сраму смертной казни. В то время как в Европе вешали, четвертовали, отрубали головы и сжигали людей во имя Бога, во имя Церкви, во имя королей и герцогов, Российская империя ни одного человека официально не подвергла насильственной смерти...

Немного отдохнув, Елизавета снова принимала министров, потом занималась туалетом. Она занималась туалетом долго и кропотливо, обтиралась губкой, смоченной в душистом уксусе, протирала перед зеркалом свое лицо многими мазями и примочками и, когда вышла к ужину, была жизнерадостной, несмотря на полноту и годы, красивой и внушительной. Хотя она чувствовала себя усталой. Очень усталой.

Елизавета по правую руку посадила Екатерину Алексеевну, по левую — приехавшего из Ропши одутловатого со стеклянным взглядом и толстым, выпирающим животом наследника — Петра Федоровича, который за весь ужин произнес только одну фразу: «Разрешите, тетушка, я выпью за ваше здоровье!» — и с удовольствием влил в себя коньяк.

Вечером пришел поручик, просидел в маленьком зальце

с царицей всего-навсего часок — и ушел осчастливленный улыбкой дочери Петра Великого. Затем состоялся раут, на который собрался весь цвет столицы. Кого только тут не было — и великолепные сановники-сенаторы, гофмейстеры и генералы, не считая очаровательных дам — статс-дам и фрейлин величества. В стороне стояла группа ученых и писателей, для них нашелся привет царицы и милостивая улыбка.

Екатерина Алексеевна разговаривала с английским лордом. Тот осторожно просил наследницу повлиять на тетушку, дабы она прекратила распри с королем Фридрихом.

Екатерина и особенно Петр Федорович обещали, причем Петр, выпивший вина, кричал:

— Добьюсь мира для его величества обожаемого мною Фридриха Великого!

Генералы в русских мундирах зло поглядывали на пьяного наследника.

Елизавета устала, у нее заболело сердце, колола печень. Она из веселой — вдруг постарела прямо на глазах у статс-дам.

— Моя милая княгиня,— обратилась она к старой, накрашенной княгине Нарышкиной,— проводите меня до спальни!

Княгиня Нарышкина, придерживаясь этикета, поклонилась и вежливо, держа под локоток государыню, бесшумно проводила ее до опочивальни. Елизавета легла на перины кровати, отпила брусничной воды, стало намного легче.

— Ты,— сказала княгине,— не говори никому, что я устала!

— Как можно, ваше величество! — заверила Нарышкина.

Петр Федорович в отсутствии тетушки напился до безобразия, и его с большим трудом голштинские офицеры довели до кареты, где не нашлось места жене. Екатерина Алексеевна с презрением оглядела своего мужа и вернулась обратно во дворец.

Музыка во всю наяривала какой-то дикий марш. Все делали вид, что они в восхищении.

Дщерь Петра

Елизавета почувствовала безумную боль в сердце. Сердце как будто вырывалось на простор, как будто ему было мало места в этом больном обрюзгшем теле. С трудом закрыла глаза: так кончился один из последних дней Елизаветы. А музыка играла, и Екатерина неестественно улыбалась.

1984



ДНИ ТРЕВОГ

(Рассказ о предке писателя Денисе Давыдове,
герое 1812 года, партизане и поэте)

Грозная армия французов¹ двигалась по Смоленской губернии. Город был взят неприятелем. Он горел, как свечка. Смоляне устремились к Москве. Русские солдаты недовольно отступали по приказу командующего первой армией генерала Барклая де Толли. Во главе второй армии на черной лошади ехал князь Багратион. На полголовы от него, проклиная все на свете, сдерживал коня адъютант Денис Васильевич Давыдов.

— Обязательно напишу прошение на царское имя,— скрупульно ронял фразы Багратион,— чтобы произвели в немцы. Быть русским нельзя.

— Ничего, Петр Иванович,— лающим голосом ответил Давыдов,— ничего, и на нашей улице будет праздник. Возьмется же когда-нибудь «глухарь» за ум.

«Глухарем» иронически называли царя Александра Первого за плохой слух.

Багратион пустил лошадь в галоп.

— Испуг овладел им, Денисушка. Боится императора Наполеона. После Аустерлица у его величества поджилки дрожат.

— Рассмеялся громко.

— Генерал Барклай только одно знает — отступать в глубь России, дабы ослабить их силы. Так, мол, по стратегии и тактике полагается.

Проезжали мимо большой деревни с красивой каменной церковью. Купола звонницы и церковки были синими. Около храма толпились мужики. Один из них — седой,

¹ В ночь на 12 (24) июня 1812 г. Наполеон с 600-тысячной армией без объявления войны перешел русскую границу против 212-тысячной русской армии.

с выцветшими от старости волосами,— смело подошел к Давыдову.

— Ваше высокородие! Разрешите узнать: долго отступать будем?

— Сам не знаю, дедушка,— Давыдов со стыдом взглянул на старика,— я бы, по совести говоря, задал бы французам по-нашему. Да нельзя — начальство приказа не дает.— И отвернулся в сторону коня.

— Вижу и тебе неохота отходить, ваше высокородие! — покачал головой старик...

* * *

Усадьба помещика, бывшего военного, была обширна — избы крепкие, поля ухоженные. По всему видно, что хозяин заботился о крестьянах. В других поместьях господа давно покинули усадьбы, увозя с собой на возах самое ценное имущество.

На пригорке стоял барский дом, двухэтажный с тонкими колонками, а перед домом — цветочная клумба с облетевшими красными и белыми маками.

Отступающая русская армия отходила к Московскому тракту.

На крыльце дома вышел хозяин, он не мог смотреть на генералов, офицеров, на повозки со штабным инвентарем. Он стоял на крыльце, набив трубку, и запах жуковского горького табака поплыл в воздухе.

Мирная картина. Стоит человек в распахнутом статом офицерском сюртуке, стоит и вглядывается в наступившую тишину. Стоят у церкви крестьяне, молчат и деревья, и цветы.

И вдруг забили барабаны, заиграли задиристо. Не по-русски трубят. Появились драгуны на серых лошадях, гренадеры в непривычных мундирах — и смотрели русские люди, смотрели, что вот на родной земле неприятель. Он топчет землю у родных берез, он вошел в Россию.

Генерал с блестящими эполетами подъехал к помещику, небрежно приложил пальцы к треуголке:

— Вы понимаете по-французски?

На чистейшем парижском диалекте хозяин ответил:

— Конечно, генерал!

— Это очень приятно. Вы разрешите нам,— улыбнулся генерал,— взять несколько лошадей, фураж, я вам выдам форменную расписку о взятом.

— Это ни к чему, генерал. Ваши мародеры уже грабят мое и крестьянское имущество.

Действительно, по деревне разносился бабий плач, ржали кони, мычали коровы, блеяли овцы. За курами и утками со смехом бежали пехотинцы.

— Надеюсь! — словно ничего не замечая, продолжал генерал,— вы, господин помещик, не будете возражать?

— Как я могу возражать? У вас сила, право победителей. Я могу только в душе возмущаться произволом.

— Это неизбежные последствия войны. Вам все будет возвращено. Вы, как человек хорошего происхождения, конечно, за французов и нашего императора Наполеона, нашего любимого и непобедимого,— с пафосом говорил генерал.

— Нет! Вы ошибаетесь. Я ненавижу вашего Бонапарта. Какой он император... тиран.

Генерал сделал знак рукой. Он был обозлен. Он был шокирован этим старым русским владельцем.

— Капитан, мы гуманисты, дайте ему повязку! — сказал он.

— Ну, что вы! Я в молодости имел честь быть русским офицером. К чему повязка? — И он, не желая, чтобы его коснулись враги, сам отошел в глубь своего сада.

Капитан приказал ему остановиться. Голос у него дрожал:

— Пли!

Раздался залп. И помещик, к ужасу толпящихся мужиков, пошатнулся и без крика упал на русскую траву.

На привале Багратион и Давыдов сидели в палатке, у входа стоял с примкнутым ружьем егерь. Невдалеке от палатки солдаты и офицеры. Кипела своя, особая походная военная жизнь.

К палатке командующего подъехали уланский офицер, корнет и ординарец. Улан соскочил с лошади и радостно вошел к Багратиону, размахивая пакетом:

— Князь Петр Иванович,— он отдал пакет командающему,— радость великая! Главнокомандующим над всеми нашими полками, над первой и второй армией назначен Михаил Илларионович Кутузов!

— Кутузов! — Давыдов от радости схватил руку улана и крепко потряс.

— Слава Богу! — бережно кладя бумагу из пакета на березовый, наскоро сделанный стол, проговорил Багратион.— Теперь уж другое наступит время. Кутузов — это наше знамя, наша гордость, Денисушка!

— Знаю, знаю, Петр Иванович! — сказал Давыдов, когда офицер вышел из палатки.— Какая благая мысль пришла государю! Наконец-то! Знаете, князь, пари держать готов, что Александра Павловича на это натолкнула страна, ничего он бы не сделал без общественного мнения — не любит царь Кутузова.

— Ты, конечно, прав. Слышишь, что делают солдаты от радости? — сказал Петр Иванович.

Верховой ординарец рассказывал о Кутузове, и весь лагерь от радости кричал: Ура Кутузову! Приехал Кутузов — бить французов! — родилась тут же пословица.

Часа через три на дороге показался отряд русских гвардейцев. За ним ехала открытая коляска, в ней хмурился генерал Михаил Богданович Барклай де Толли. Коляску сопровождало несколько чинов штаба.

— Едет Барклай,— сказал Давыдов,— надо вам, князь, его встретить.

— Не пойду. Не хочу. Будь другом, Денис, скажи, что у меня приступ лихорадки. Сам его встреть, отдай рапорт.

Коляска Барклайя остановилась, к ней быстро подошел Давыдов. Стал во фронт.

Барклай так же хмуро взглянул на Давыдова.

— Честь имею доложить вашему высокопревосходительству,— и Давыдов отдал рапорт.

— Вы, кажется, Давыдов? — спросил Барклай.— И вы, кажется, пишете стихи?

— Так точно, ваше высокопревосходительство. Пишу!

— Ну, всего вам лучшего,— и генеральская коляска отъехала от Давыдова.

Отшумело величественное Бородинское сражение.

Смертельную рану получил Петр Иванович Багратион. Осиrotел Денис Давыдов, не только адъютант князя, нет. Вернейший друг генерала Денис Васильевич с болью в сердце переживал гибель Багратиона и сделал все возможное, чтобы почтить память своего учителя.

Прошел совет в деревушке Фили. Исторической стала заключительная фраза Кутузова: «Властью, врученной мне Отечеством и государем, приказываю отступать!»

Оставшись один, стариk заплакал:

— Будут они жрать конину, будут!

Кому другому — армия бы не простила этого, а Кутузову простила, ибо она верила ему и знала, что так нужно:

«Хоть Москва в руках французов,

Это, братцы, не беда,—

Наш фельдмаршал, князь Кутузов

Их на смерть завел туда!»

К главнокомандующему явился Денис Васильевич. Дойти до фельдмаршала почти невозможно, но Давыдов все же проник. Давыдов знал и любил Кутузова, а, главное, верил ему. По-сыновьи поцеловал его пухлую руку.

— Ваша светлость, хочу обратиться,— он впервые рассказал Кутузову о плане народной войны с французами, просил небольшой отряд казаков, гусар, вооруженных крестьян.

Михаил Илларионович Кутузов это понял и благословил, дав кавалеристов.

Так Давыдов стал зачинателем партизанского движения в России. Впоследствии он написал книгу о теории партизанской войны. Его примеру последовали офицеры Сеславин и Фигнер, крестьянка-старостиха Василиса, нашлись еще дьячок и крестьяне.

Наполеон нервничал. Сидел в горящей Москве и с нетерпением ждал русского посланца от Кутузова или Александра Первого с предложением о мире.

Наконец император не выдержал — послал своего приближенного Лористона в кутузовскую ставку для переговоров о мире.

Русский фельдмаршал удивленно заявил, что он не уполномочен царем вести переговоры, что война только начинается. Рассерженный Лористон уехал восвояси.

Кутузов своими контрмерами заставил Наполеона не только покинуть Москву (в октябре), но идти обратно по старой, им же разоренной Смоленской дороге. Армия, состоявшая из французов, немцев, итальянцев, поляков, из покоренных Францией народов, осенью, а потом и зимой бежала, попадая сотнями в плен. Их уничтожали в деревнях, в лесах, в поместьях. Когда-то гордая великая армия императора и его маршалов развалилась, как дурное сновидение.

Крестьяне деревни, где расстреляли по приказу генерала старого отставного офицера, тоже составили партизанский отряд. Русские воины, слышавшие о героизме владельца, троекратным ружейным залпом по-военному отдали дань уважения старику. Никому из помещиков, удравших в глубь России, конечно, такая честь оказана не была. Наоборот, жестокие помещики смотрели на крестьян с трепетом.

Денис Давыдов впоследствии в своих стихах говорил о тех «маменькиных» сынках, которые корчили из себя революционеров.

А глядишь, наш Лафайет,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.
А глядишь, наш Мирабо
Старого Гаврилу
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

Когда русская земля покрылась снегом, к дому станицы подошел большой отряд обтрепанных замерзших врагов, и один из командиров по-русски заговорил:

— Пожалуйста, нас расквартируйте и накормите, а утром мы с благодарностью уйдем!

Крестьянин — тот самый, который видел их в параде,— насмешливо сказал:

— Ну что ж, староста накормит их, а до этого баню истопит.

Французы обрадовались такому приказу, их нигде не привечали, а тут еще дочка старосты вынесла несколько караваев испеченного хлеба.

— Спасибо! О, спасибо! — сказал командир, и несколько людей понесли хлеб для раздачи. Грязные, жадные, худые руки потянулись к хлебу, разламывая его на куски.

Но вскоре улыбки французов сменились ужасом. К их толпе стали подходить крестьяне. Они были решительны, каждый из них вооружен, кто охотничим ружьем, кто топором, а кто просто вилами.

Французы побросали свое оружие и стояли, опустив в холодную белую землю глаза.

— Делайте, мол, что хотите!

И столько было в этом унижения, жалости, что крестьяне, окружавшие их, молчали. А в это время к избе старосты подъехал Давыдов, с ним было человек сто казаков. Сам Денис Васильевич в простом черном армяке, на голове — папаха, через плечо — портупея, а черные сапоги — с солдатскими шпорами. Он сразу понял, что намерены сделать с французами.

Старик узнал Давыдова:

— Ваше высокородие, разрешите французов прикончить. А? Они сколько зла принесли, нашего хозяина расстреляли, скота награбили. Разрешите? Попарим их, голубчиков!

— Не позволю, — сказал Давыдов старику и старосте. — Как тебе, дед, не стыдно! Он пленный, раздетый, голодный, заботиться о них надо! Накормим!

Он полез за пазуху своего армяка и вынул кредитный билет, подал его старосте.

— Накормите их, и в баню по-хорошему. Сам Кутузов вам спасибо скажет! Мы не людоеды, а русские!

Он смотрел на людей и улыбался. И от его улыбки подобрали и староста, и старик.

— Возьмите свои деньги! — сказал староста Денису Васильевичу. — За такое не надо денег. Вестимо, люди они, а не звери, может, они и вовсе тут ни при чем?

И картина сразу изменилась. Снесли французскую

амуницию в сарай. В бане стоял жар, слышался смех и разноголосая речь. Затем развели пленных по избам.

И светилась всю ночь деревня, светилась радостью, ибо нет большей радости, чем миловать неприятеля.

Сказал старик Давыдову:

— Спасибо тебе, сынок! От русского сердца спасибо.

— Хорошо! — Давыдов обнял деда.— Сам видишь, как хорошо!

На другое утро согретые теплом и пищей французы в сопровождении казаков шли в штаб русской армии. Они уже отвоевались.



ТУРГЕНЕВ И ВЕРЕЩАГИН

(Очерк из жизни
нашего великого земляка-художника)

Василий Васильевич Верещагин был не чужд писательству. Его воспоминания, дневники, статьи, беллетристика для исследователей его творчества дают богатый материал. Из книг Верещагина мы узнаем и о его дальних путешествиях, и о круге его знакомых, друзей, о круге его увлечений.

А увлекался наш знаменитый земляк иногда сверх меры, был он человек вспыльчивый, энергичный и никому из власти имущих не позволял наступать себе на ногу. Понятно, что и неприятностей испытать Василию Васильевичу пришлось немало.

К простым людям — солдатам, младшим офицерам, ремесленникам, крестьянам — он относился добродушно и гостеприимно. Свидетельство тому — его книга с портретами «незамечательных русских людей». Их незамысловатые биографии трудной, подневольной жизни и нищенской старости хорошо характеризовались названиями портретов: «Старушка-кружевница», «Мастеровой-вологжанин», «Отставной дворецкий», «Старушка-нищенка» и другие.

Попасть в категорию друзей Верещагина было не так уж просто. В свою мастерскую он пускал не каждого, а титулованных особ даже в ранге великих князей просил «не беспокоиться посещением его жилища». Среди тех, кто пользовался его гостеприимством и неизменным уважением, был и Иван Сергеевич Тургенев.

И. С. Тургенев, который подолгу проживал в Париже (совместно с семьей знаменитой артистки Полины Виардо), очень хотел побывать в мастерской В. В. Верещагина под Парижем. А тут началась русско-турецкая

война, и Верещагин помчался на Балканы. И лишь после войны художник Боголюбов сказал ему как-то:

— Есть один человек, очень, очень желающий с вами познакомиться...

— И кто такой?

— Иван Сергеевич Тургенев...

«Я был душевно рад тому и просил приехать в какое угодно время», — писал позже по этому поводу сам В. В. Верещагин (см. в его кн. «Очерки, наброски, воспоминания». Спб, 1883).

Несколько слов об А. П. Боголюбове (1824—1896). Он был человеком сановным (тайный советник — статский генерал, удостоенный орденов Анны и Владимира), близок к придворным кругам, его запросто принимали в царской семье; в то же время Алексей Петрович, живя в Париже, всегда старался помочь русским художникам. Вместе с И. С. Тургеневым он организовал в Париже «Общество взаимного вспоможения и благотворительности русских художников» и был его председателем, а Тургенев — секретарем. Членами-учредителями являлись М. Антокольский, А. Харlamов, Н. Дмитриев-Оренбургский, Ю. Леман и др. Боголюбов уважал и ценил «передвижников» — В. Поленова, И. Крамского, И. Репина, К. Савицкого. Будучи по материнской линии внуком А. Н. Радищева, он в память своего знаменитого деда основал в Саратове художественный музей имени Радищева (1885), при музее была открыта школа. На содержание этих художественных учреждений Боголюбов завещал свое состояние. Как художник-маринист он создал немало примечательных произведений. В молодости Боголюбов служил на флоте, любил море. Им оставлены интересные воспоминания, в которых отведено место и И. С. Тургеневу («Записки моряка-художника» в кн. «Лит. наследство», том 76).

Итак, Иван Сергеевич поехал в пригород Парижа, где жил художник. Дом Верещагина был удобен для творческой работы. В нем были две огромные мастерские. Здесь создавались и индийские картины, и картины из балканской войны, являющиеся вершиной творчества В. В. Верещагина. Возросший интерес художника к массовым сценам, его уважение к русскому солдату, нако-

нец, патриотический и творческий подъем, а также тяжелая скорбь о погибшем под Плевной горячо любимом брате Сергеем (служившем одно время в канцелярии вологодского губернатора) определили тот мощный пафос, с каким художник работал над картинами, как он сам выражался, «о великой несправедливости, именуемой войной».

Его лучший друг и истолкователь Вл. Стасов сравнивал военные картины Верещагина с изумительной серией гениального испанца Франсиско Гойя «Бедствия войны», посвященной партизанской войне испанцев с армией интервентов Наполеона Бонапарта. «После Гойи был только один художник в Европе, который подумал и почувствовал то же, что и Гойя, на счет войны — это наш Верещагин» (В. Стасов в его работе «Франсиско Гойя». Издр. соч., т. II.).

В мастерской художника Тургенев застал приятеля Верещагина — знаменитого генерала М. Д. Скобелева, героя Плевны. Верещагину хотелось крепко обнять и расцеловать писателя, произведения которого «Записки охотника» и «Отцы и дети» были любимы им с юности и повлияли на формирование его взглядов. Ведь Тургенев принадлежал к «отцам» поколения Верещагина — между ними была разница в двадцать пять лет. Но в присутствии Скобелева выражать свои чувства художнику не хотелось, и он только крепко пожал руку писателю.

Ивана Сергеевича покорили картины Верещагина. Туркестанскую серию Тургенев просмотрел, проезжая через Москву к себе в усадьбу Спасское-Лутовиново в 1876 году, когда купленные П. М. Третьяковым верещагинские полотна были выставлены в трех залах Московского общества любителей живописи. На гуманиста Тургенева они произвели глубокое впечатление. Здесь, в прекрасно обставленной мастерской он видел три начатые работы из турецкой войны. Как свидетельствует сам художник, Тургеневу особенно понравилась «Перевозка раненых»: «Каждого из написанных он называл по имени: «Вот это — Никифор из Тамбова, а это — Сидор из-под Нижнего».

* * *

Друг другу они понравились, завязались приятельские отношения, стали они особенно близкими, когда Верещагин в 1879 году устраивал свою выставку в Париже.

В статье известного исследователя биографии и творчества Тургенева И. С. Эильберштейна «Выставка художника В. В. Верещагина» (в кн. «Лит. наследство», т. 73, кн. 1) приводится ряд примечательных фактов, неиспользованных в монографиях о Верещагине. Среди них письмо Тургенева от 15.12.1879 в редакции крупных парижских газет о Верещагине.

«Особенностью этого таланта,— писал Иван Сергеевич,— является упорное искание правды, физиономии, типического в природе и в человеке, которые он передает с большой верностью и силой, порой несколько суровой, но всегда искренней и величественной. Это стремление к правде, к характерному, положившее со временем нашего великого писателя Гоголя свой отпечаток на все произведения русской литературы, проявляется также под кистью Верещагина и в русском искусстве».

Рецензия-письмо Тургенева, авторитетнейшего к тому же человека в Париже, имела, конечно, в глазах журналистов немалое значение. Вообще, французы к выставке нашего земляка отнеслись гораздо душевнее, чем англичане. Вторая лондонская выставка художника (первая — в 1873), открытая летом 1879 года, вызвала ряд откликов, по преимуществу враждебных, хотя были и одобрительные.

Надо иметь в виду, что выставка происходила после русско-турецкой войны, а британское правительство приложило много стараний, чтобы помочь Турции. Естественно, английские правительственные или близкие к ним газеты сочли необходимым умолчать о выставке или, как говорит В. В. Стасов, «казнить русского художника молчанием, только бы не высказаться одобрительно о предмете, для них ненавистном» («Еще о выставке Верещагина в Лондоне»). А некоторые газеты расхваливали те работы Верещагина, где были показаны архитектурные памятники Индии, типы ее жителей, пейзажи.

На парижской же выставке пресса высказывалась восторженно о работах художника с редким единоду-

шием, и в том есть доля заслуги добрейшего Ивана Сергеевича Тургенева, постоянно расхваливающего и в обществе, и в беседах с писателями и журналистами своего русского друга.

В одной из влиятельных бельгийских газет перед открытием выставки сообщалось: «Романист Иван Тургенев намеревается рассказать историю г. Верещагина. По правде говоря, жизнь этого живописца-путешественника сама похожа на роман».

Хороший знакомый Тургенева писатель Ж. Валлес не без парадоксальности воскликнул: «Своей палитрой, своей кистью Верещагин принес человечеству больше пользы, чем Наполеон со своей великой армией причинил ему зла».

Жюль Кларети — крупный искусствовед и критик, знаток и художника, и Тургенева, — написал предисловие к каталогу выставки. Высоко оценил Верещагина и такой прославленный парижский «мэтр», как живописец Мейссонье, которого Верещагин иронически именовал «его живописное величество». Добиться похвального слова от Мейссонье было трудновато.

В день закрытия выставки — 4 января 1880 г. — Василий Васильевич в письме к В. Стасову сообщал: «...Такая масса народа, что ни входа, ни выхода». В русских газетах тоже появился ряд благожелательных отзывов о парижской выставке. Помощь, оказанная Тургеневым в выставке, была дружески и благодарственно встречена Верещагиным.

В конце 1881 г., после венской выставки, Верещагин начинает хлопотать о выставке новых картин в Париже. И снова И. С. Тургенев оказывает ему своим авторитетом посильную помощь.

Верещагин снял помещение в редакции одной из бульварных газет, владельцем которой был выходец из России, бывший преподаватель Петербургской медико-хирургической академии Цион — человек неважный и хитрый.

Но выставка закончилась раньше, чем предполагалось. Это видно из письма Тургенева Дмитрию Васильевичу Григоровичу: «...Здесь на днях Верещагин поколотил редактора.., в залах которого были выставлены

новые (весьма замечательные) картины нашего бурного живописца. Этот редактор... (Цион — одесский еврей, бывший профессор)... Но вам лучше всякого другого известно, как трудно «варить пиво» с Верещагиным. Выставку картин закрыли; а жаль — публики ходило много, они производили великое впечатление. Впрочем, он отправляется на выставку в Берлин, где, наверное, будет иметь столько же успеха, как и в Вене».

Сам Верещагин в письме к В. В. Стасову (от 15—27 декабря 1881 г.) писал, что доктор Цион оскорбил его знакомого, а ему надерзил. «Тогда,— признается Василий Васильевич,— я ударил его по роже два раза шляпою, которую держал в руке; на вытянутый им из кармана револьвер я вынул свой и направил ему в лоб, так что он опустил оружие и сказал, что он сказал мне грубость по-приятельски».

У меня сохранились «воспоминания» литератора М. И. Ванюкова, опубликованные в журнале «Голос минувшего». Интерес представляет здесь глава «Русский Париж», касающаяся того же инцидента. Когда редактор Цион, «бывший профессор-ретроград в медицинской академии в Петербурге,— пишет Ванюков,— вздумал фанфаронить перед Верещагиным, тот ударил его шляпою по носу, а потом напечатал в газетах «опровержение слуха, что будто у него с г. Ционом дело дошло до подсвечников». Парижская публика, всегда сочувствующая смелым людям и презирающая трусов, которые не имеют защищать свою честь, очень сочувствовала Верещагину». Там же М. И. Ванюков отмечал: «Верещагин даже очень популярен в Париже, главным образом, конечно, за свои военные картины, которыми он старается отучить человечество от войны».

* * *

Часто задается вопрос: хорошо ли понимал И. С. Тургенев произведения изобразительного искусства? Был ли он знатоком или просто любителем?

Решить это довольно сложно. Из писателей, несомненно, в живописи тонко и верно разбирался Федор Достоевский. В его романах (особенно последнего пери-

ода) мы видим много замечательных — и по психологическому анализу и по художественному восприятию — высказываний. Великолепным критиком был и любимец Тургенева Всеолод Гаршин, посвятивший ему свой потрясающий «Красный цветок». Статьи и рецензии Гаршина на ряд выставок картин (70—80-х годов XIX века) — злободневны и остры. А Иван Сергеевич?

В «Записках моряка-художника» Боголюбов говорит, например, что Иван Сергеевич превозносил до небес венгерского живописца Мункачи и не захотел понять своеобразия и гениального трагизма Александра Иванова в «Явлении Христа народу». Мнение Боголюбова разделял и Илья Репин, одно время бывавший у Тургенева и писавший с него портрет: «Тургенев сам мне признался, что он плохой критик, и это верно. Он не смеет иметь своего суждения, ждет пока скажет Виардо» (цит. по ст. И. С. Зильберштейна «Репин и Тургенев» в «Лит. насл.», т. 76).

Вообще, знакомые и друзья Тургенева — Верещагин, Савина, Крамской, Полонский и некоторые французы — считали, что влияние Полины Виардо отрицательно сказывается на психологии и на всей жизни писателя. У Тургенева была коллекция картин, среди них работы Добиньи, Руссо, фланандца Теньера-младшего («Отъезд») и другие. Пейзаж Руссо он затем продал Третьякову.

То, что Тургенев правильно понимал творчество Верещагина, что и некоторые другие полотна русских мастеров заслуживали его одобрение, свидетельствует, что во вкусе ему отказать было нельзя. В письме Я. П. Полонскому из Буживала от 16 сентября 1879 года он упоминает: «Картины Верещагина в Лондоне я видел. Они очень хороши, хотя несколько грубоны — и произвели эффект». Это, конечно, правильно. И непонятно, как Тургенева могли привлекать зализанные портреты Харламова, имя которого сейчас почти позабыто.

Дилетантизм ли это?

По-моему, нет: ошибки — да, заблуждения — да. Но понимание изобразительного искусства — пусть по-своему, по-тургеневски — у него было. Только хорошо понимающий человек может так убежденно заявить: «К живописи применяется то же, что и к литературе, ко всякому

искусству; кто все детали передает — пропал; надо уметь схватывать одни характеристические детали. В этом одном и состоит талант и даже то, что называется творчеством» (поэту Я. П. Полонскому из Буживала, 10 сентября 1882 г.).

В. В. Верещагин навещал больного Ивана Сергеевича, старался его развлечь, рассеять мрачные мысли. С редкой непосредственностью пишет художник об одном из последних свиданий с Тургеневым: «Еще с лестницы, помню, кричу ему: Это что такое? Как это можно, на что похоже — так долго хворать! Вхожу и вижу ту же ласковую улыбку, слышу тот же тонкий голос: Что же прикажете делать, держит болезнь, не выпускает».

Были еще два посещения Верещагиным писателя в 1883 г. В июле Василий Васильевич нашел Тургенева «сильно постаревшим, со взглядом мутным, безжизненным». Тогда Иван Сергеевич сказал: «Мы с вами были разных характеров, я всегда был слаб, вы энергичны, решительны».

Тургеневу была сделана операция, но все равно болезнь (рак позвоночника) прогрессировала. Умирал он в Буживале, под чужим небом, его окружали семейство Виардо и близкие к этому семейству французы.

А больной вспоминал Россию, глядя на пейзажи любимого Спасского, выполненные поэтом Яковом Полонским. Они были любительские, эти пейзажи, но они были сделаны другом и говорили о далекой Родине. Он пишет в эти дни Льву Толстому, именуя его «великим писателем Русской земли», и просит Льва Николаевича вернуться к литературной деятельности: «Ведь этот дар ваш оттуда, откуда все другое».

Трогательно то, что последние дни перед смертью Тургенев — этот знаток многих иностранных языков, владевший французским, как маркиз, этот писатель, прозванный «западником», — разговаривал только по-русски.

Тургенев скончался 22 августа (3 сентября) 1883 г. У простой железной кровати, на которой умирал писатель, были Виардо и один русский — Александр Мещерский

(молодой ученый, работавший одно время в Русском географическом обществе, друг знаменитого путешественника Н. Н. Миклухи-Маклая). Он записал:

«Часу в двенадцатом в комнату взошел неожиданно Василий Васильевич Верещагин и зарыдал, пораженный состоянием умирающего». Ушел Верещагин из комнаты Тургенева в первом часу, а в два часа Иван Сергеевич скончался, и черты его лица приняли «необыкновенно ласковый и мягкий отпечаток». Это сообщение было помещено в газете «Новое время» 3 сентября 1883 г.

Из Буживала дали телеграммы друзьям покойного, в том числе — Верещагину.

Русские художники в Париже подписались на серебряный венок, на котором были выгравированы их фамилии (разумеется, и Верещагина). Французские деятели культуры торжественно проводили гроб усопшего в Россию. Были речи, венки, делегации. Франция отдавала траурные почести великому писателю — достойно и почтительно.

Великого писателя похоронили 27 сентября — 9 октября 1883 г. на Волковом кладбище. На пути траурной процессии стояли толпы народа. Венки были от 173 организаций, учебных заведений и обществ.

Василий Васильевич Верещагин всегда с уважением вспоминал Тургенева, которого он считал в числе своих духовных отцов и о котором писал Стасову: «Повторяю, такое полное высокое творчество, как мне кажется, встретишь не у многих: кроме Пушкина и Льва Толстого, разве еще у Лермонтова в его прозе».

1956



МАРКИЗА И ТОБ

(рассказ о светлых надеждах и грустной сути бытия)

Статуэтка находилась в ленинградском антиквариате. Она стояла в самом невидном месте, где-то вдалеке от более счастливых подруг, те занимали видные, выигрышные места, с них ежедневно мягкой перьевoy мете-лочкой смахивали пыль, и цены на них были высокие. Тут улыбались томно красавицы прошлого века с мушками на фарфоровых, слегка пунцовыx лицах, в прекрасных туалетах; лихо смотрели победителями усатые гусары в красных мундирах и белых лосинах. Тут выгиба-ли тонкие шеи изящные жирафы, и их раскупали почти ежедневно приезжавшие иностранные туристы или хозяйствен-ные чиновники с большими крокодильими портфелями.

Через некоторое время в антиквариате на главных полках откуда-то появлялись новые красавицы в белых пудреных париках, уланы в мундирах и блестящих ливреях, хищные леопарды и, на счастье, внушительные африканские слоны. А эта статуэтка, вернее, бюстик молодой дамы с оголенными плечами в черном бархатном платье, ставшем от пыли в крапинках и маленьких впадинах, в ожерелье, потускневшем от времени, никого из покупателей не привлекала.

Нет, один только очень пожилой офицер со старыми полевыми погонами подполковника и медицинской эмблемой в петлице — чашей и змеей — приходил регулярно, через день к вечеру и подолгу рассматривал статуэтку. У нее было примечательное лицо — она улыбалась, но это была печальная улыбка. Такой уж вышла она из рук мастера-художника, сумевшего придать ее серым глазам какую-то горечь. И эта печальная улыбка, и глаза не бросались сразу на вид, надо было некоторое время постоять, всмотреться в статуэтку, чтобы понять ее привлекательность.

Почему-то продавщицы прозвали ее Маркизой — почему? Просто одна из них, молоденькая веселая девчурка в синем модном халатике сказала:

— До чего ж она похожа на захудалую маркизу!

Так и пошло — «Маркиза». И записали статуэтку в инвентарную книгу «Маркизой». Ее хозяйка — старушка, проживавшая в Кузнечном переулке, почти рядом с музеем Достоевского, два года назад умерла. Имущество было с гулькин нос, а судейский следователь, составлявший инвентарный список, сказал: «Пусть стоит, авось кто-либо купит».

Так и стояла статуэтка и печально улыбалась.

Военный врач как-то взял статуэтку в руки и долго рассматривал. Печальная улыбка и вдумчивые глаза наполнили сердце старика необъяснимым желанием приобрести Маркизу. Его все больше привлекала она.

— Сколько ей цена? — спросил он продавщицу.

Та посмотрела в ценник.

— Сто двадцать семь рублей, конец восемнадцатого века, — сказала, сомневаясь в том, что этот пожилой офицер окажется покупателем.

А тут подошел какой-то турист, по виду англичанин, в меховой шапке.

— Я есть покупаю статуэтку. Какой ей цена?

— Извините, — сказал врач, — я ее уже купил. Он вынул свой потертый фронтовой бумажник.

Продавщица подтвердила.

— Да, это действительно так.

— Я еще повысил бы стоимость, мистер офицер, — сожалеюще сказал турист.

Но подполковник вынул все, что у него было...

Ему завернули Маркизу. На фарфоровой подставке ясно проступали знаки «Императорский фарфоровый завод. 1790».

Врач бережно принял — именно принял, а не взял — пакет и вышел медленно из антиквариата. Он решил не ехать на автобусе: затолкают и пакет упадет — это будет потерей; он уже привязался к этой Маркизе.

На Большом проспекте, у булочной, где щекотно пахло ванилью, хотел выбрать песочный торт, но вспомнил, что в кармане шинели только полтинник — ведь он все

отдал за статуэтку. Купил четыре запашистых сладких булочки к чаю, и продавщица Соня, которую он знал давно, улыбнулась:

— Что это, доктор, вы не берете торт? Сегодня очень свежие.

— Спасибо,— поблагодарил,— захотелось булочек.

* * *

Вера Николаевна — толстушка с пожелтевшим от годов лицом и очень добрыми серыми глазами, в новом синем с горошком платье — встретила мужа радостно.

— Колечка! Поздравляю тебя сегодня с переходом на мирное гражданское житье. Ну, как, получил все бумаги?..

— Получил, Верочка. И остатки денежные выдали... — и с горечью.— Вот ты радуешься, что я теперь гражданский, а мне обидно. Столько лет носил шинель и погоны!

— Радуюсь, Колечка! — искренне сказала Вера Николаевна.— Сколько за эти годы мы с тобой переменили городов. Куда только не перебрасывали нас, в какие медчасти... А в войну? Эвакопункты, госпитали, операции, ах, господи, сколько всего у тебя было!..

— Ладно-ладно! — Николай Петрович виновато вздохнул.— Ты, Верочка, на меня не сердись. Вместо денег принес я фарфоровую статуэтку, и хватило лишь на сладкие булочки.

Снял шинель, фуражку, отнес пакет к своему письменному столу, развернул и поставил Маркизу на самое видное место.

И опять она скорбно ему улыбалась — и от этой скорби подполковнику захотелось заплакать. Может быть, ему это только показалось? Может, это оттого, что ему надо снять военный мундир с орденскими планками и повесить в шкаф, а самому облачиться в серый штатский пиджак и снять защитного цвета брюки и гимнастерку.

Когда он в штатском, удивительно похожий на пожилого земского врача, сел с Верой Николаевной за самовар — чай он предпочитал кушать только из пузатого блестевшего никелем самовара — Вера Николаевна ахнула.

Было просто непривычно видеть Николая Петровича в штатском — он показался ей и постаревшим, и с какой-то новой, непохожей манерой — штатской, с узкими плечами, а не бравой, подтянутой военной.

— Да,— сказала тихо,— как меняет человека форма. Но ничего, Коленька, теперь ты отдохнешь, можешь подольше и телевизор посмотреть, да и своими личными делами заняться. Недаром купил такую приятную статуэтку. Она, очевидно, прошлого века?

— Нет! — проговорил Николай Петрович,— ошибаешься, мой друг! Конец восемнадцатого, павловская эпоха...

У них было две комнаты. Уютная спальня с двумя кроватями: его — парусиновая (он к ней привык за долгие годы службы), и ее — аккуратная, сверкающая белизной, ослепительными наволочками с кружевными прошивками. На подоконнике цветы — ей нравились яркие герани, на стенах висели застекленные репродукции Васнецова, Нестерова, Корина и особенно любимые ею пейзажи и интерьеры Жуковского. И еще в спальне, над кроватью подполковника, большая в старомодной рамке фотография молодого военного врача и его юной подруги в форме санинструктора.

В гостиной на полу разложен темно-красный палас, стоял шкафик с медицинскими инструментами и перед диваном — обеденный стол, за которым иногда собирались гости. Письменный стол и на нем — статуэтка Маркизы.

Телефон стоял на большом чемодане в передней.

После гимнастической процедуры на балконе подполковник сидел в старом кресле и подолгу смотрел на статуэтку. Он уже привязался к Маркизе, и ее печальная улыбка и глаза пленяли его. Думал: вот стояла статуэтка где-то на этажерке, и смотрели на нее нарядные дамы и господа, и всем им была мила эта Маркиза. Да и штамп императорского фарфорового завода, и восемнадцатый век молчаливо напоминали о далекой павловской эпохе, о кринолинах и гусарских ментиках и саблях. Смотрел и шел на зов Веры Николаевны в кухню, где уже за столом сидела хозяйка и дымилась большая чашка кофе.

Потом жена уходила по бульвару на рынок, а он медленно проходил по улицам, смотрел книги в новом

магазине, и было сначала неловко, что уже не приходилось козырять в ответ на лейтенантские или капитанские приветствия, забывая, что в штатском. Но со временем его фигура в демисезонном сером пальто и черная шляпа уже примелькались, и в булочной его стали именовать просто «доктор», и он тоже к этому привык.

Иногда какой-нибудь знакомый убедительно просил или смерить давление, или прослушать сердце. Тогда он приглашал его к себе и внимательно исследовал больного.

Время бежало. Солнце все чаще заглядывало в комнаты, на улице падала капель, тогда не хотелось читать, а было приятно сидеть под лучами солнца, думать. Думы были всякие, как разноцветные нити, они раскручивались — то нежные, то сердитые, то добрые, то печальные, и это всегда, когда представлялись война, раненые, операции, яркий свет прожекторных ламп и стоны молодых хороших ребят. И каждого из них подполковник любил по-своему, подбадривал, смешил.

А вечерами с Верой Николаевной смотрели они телевизор. Если давали слишком размашистые, глупые вещи, выключали и разговаривали о своем простом, домашнем.

* * *

Однажды, когда на Большом проспекте с Невы дул упрямый колючий ветер, когда пешеходы, злясь, торопились в свои квартиры и дежурный милиционер на посту, морщась от ветра, зажигал сигарету, так вот однажды Николай Петрович почувствовал, что за дверью на площадке кто-то стоит. Нет, это был не человек... а еще кто-то тихо, еле различимо, на какой-то одной тоскливой ноте ныл, на такой тоскливой, что у Николая Петровича дрогнуло сердце.

Шел двенадцатый час ночи, и подполковник понял, что сейчас должно случиться то, что нарушит спокойное течение пенсионной старицкой жизни. Но если он не откроет дверь и даст удалиться этому тоскующему звуку, то ему будет потом стыдно, и он приоткрыл дверь. На освещенной площадке полулежала голодная, худая до изнеможения овчарка, уже не очень молодая. Видно, никто не пускал, и она, как бы источая свое

одиночество, свою горечь, посмотрела на человека таким жалким отвергнутым взглядом, что подполковник раскрыл дверь и сказал:

— Марш сюда!

Животное, как бы не веря этому, как бы сомневаясь в людской доброте, продолжало лежать. И тогда Николай Петрович, волоча туфли, вышел на площадку и погладил собаку. Он погладил ее холодную дрожащую шерсть теплой рукой, и собака встала и вошла в прихожую вслед за человеком.

Николай Петрович закрыл дверь, и собака чутьем поняла, что ее пригласили в дом. Она поняла, что такая добрая старикивская ладонь никогда не сможет обмануть, не бросит, не насмеется над нею. И она лизнула его руку, лизнула, как бы клянясь в вечной привязанности, как бы признавая его единственным хозяином.

Подполковник пошел на кухню, и пес следом. Там он открыл холодильник, достал кастрюлю, где лежали котлеты и картошка, потом снял со стола мятую газету и высыпал на нее еду.

— Есть! — сказал он тихо.

Тот посмотрел уже открытым взором, благодарно и очень-очень пронзительно на хозяина, и быстро, ему не терпелось, вылизал и котлеты, и картошку и в первый раз ударил хвостом об пол. Теперь Николай Петрович хорошо рассмотрел его. Это был грязноватый темный овчар с желтой отметиной на лбу, и лет ему, как определил подполковник, около шести.

Он еще раз погладил пса, тот от охватившей радости закрыл глаза и тихо, уже по-иному, благостно поблагодарил, а затем для доказательства, что он понимает вежливость, лег на тряпку в углу кухни.

И тогда подполковник увидел жену. Она стояла у порога, лицо ее выражало недоумение:

— Пес останется у нас, Коля?

И он, сбиваясь в словах, объяснил ей, почему он хотел бы этого. Объяснил, что без животного на квартире неповадно, что он сам будет по утрам и вечерам прогуливать собаку, а что касается формальности по регистрации, то заведующий ветеринарной лабораторией — его знакомая Софья Ивановна.

Вера Николаевна выслушала сбивчивую речь мужа, посмотрела на пса, у того был взгляд добрый и мудрый, и сказала тихо и хорошо:

— Ладно, Коля, не надо так долго объяснять, я ведь все сама видела, пускай... Понимаешь, дурашка? — обратилась к псу и тоже погладила его.

И тот еще раз хлопнул хвостом и взглянул на хозяина, именно на хозяина, и уже спокойно улегся на тряпку, положив голову между лап.

* * *

Теперь Николай Петрович утром в семь часов выводил Тоба — так называли пса — на улицу, прогуливался с ним полчаса. У пса был поводок и номер, он прошел все нужные ветеринарные процедуры. Тоб всегда благодарно повизгивал, выходя на улицу, и отбегал в сторону, продолжая следить за доктором. Он чувствовал себя хозяйствским, гордился этим, подбегал, заигрывал и, исполнив свои дела, шел домой, держась у ноги Николая Петровича.

Вера Николаевна на кухне пододвигала Тобу большую миску овсяной похлебки, иногда с мясной косточкой, тот, не торопясь, ее выхлюпывал и ждал ломтя хлеба с кровью или дешевой ливерной колбасой. Тоб признавал Веру Николаевну за домашнюю хозяйку, относился к ней с почтением — она ведь кормила его, но всем своим собачьим сердцем, всей своей сущностью был предан только Николаю Петровичу.

Когда подполковник сидел в кресле, долго рассматривал маркизу и отдавался думам, Тоб мрачнел, негодовал и в душе ненавидел эту статуэтку. Ему было обидно, и ныло где-то в грудной клетке, и он зло поглядывал на Маркизу.

Николай Петрович замечал это:

— Что, Тоб, ревнуешь? Ты пойми, дурашка, ты — совсем не то, ты — мой друг, — смеялся.

И тогда Тоб клал морду на колени хозяина и радовался. Он морщил влажный нос, и глаза его делались добрыми-предобмыми.

В соседней пятиэтажке помещался пионерский клуб,

и ребята с интересом и вниманием слушали Николая Петровича. Он беседовал с ними, а заметив, что ребята с любопытством поглядывают на Тоба, рассказал о том, какие собаки бывают умными и полезными друзьями человека. Перед ребятами проходили истории о собаках-санитарах, собаках-разведчиках, минерах, а Тоб лежал в ногах подполковника, и ребята часто кормили его то бутербродами, то мясной котлетой, хотя Николай Петрович противился и просил не баловать собаку.

Когда Николая Петровича вызывали для консультации в госпиталь к главному врачу, Тоб грустил — ой, как грустил! Он сидел у входной двери, чутко прислушиваясь к каждому шороху, к каждому шагу на лестнице. Николай Петрович открывал своим ключом входную дверь, и Тоб прыгал, стараясь лизнуть хотя бы нос хозяина, и деловито бежал на кухню, лаял, требуя, чтобы Вера Николаевна поставила на газ чайник. Это ведь для Него! Хозяина с большой буквы! И садился против хозяина, и преданно следил, как Николай Петрович пил чай, а если он бросал Тобу сладкий сухарик, то пес, не торопясь, съедал его, всем видом показывая, что он чрезвычайно удовлетворен.

А как гордился Тоб, когда в военные праздники Николай Петрович преображался, надев офицерский мундир с серебряными погонами, навесив на левую сторону орденские планки и знак об окончании академии.

Вера Николаевна накануне гладила утюгом его зеленую гимнастерку и синие брюки. Николай Петрович тщательно брился и становился таким молодым, что жена любовалась им, а Тоб троекратно подавал голос, словно «ура». Николай Петрович в шинели с погонами, в офицерской фуражке выводил Тоба на улицу, тот победоносно смотрел на всех остальных штатских, а проходившие мимо прапорщики и лейтенанты прикладывали пальцы к козырьку фуражки.

* * *

Было так: Николая Петровича днем срочно вызвали в госпиталь, надо было проконсультировать сердечника майора. Вера Николаевна занялась приборкой на кухне.

Тоб из прихожей пробежал в гостиную. На письменном столе хозяина стояла и жалобно улыбалась Маркиза. Тоб положил лапы напротив статуэтки; стоило поднять лапу и толкнуть Маркизу — и она разобьется с печальным вздохом на осколки. Тоб еще раз посмотрел на нее. Жалобно улыбаются глаза Маркизы, и какая-то скорбная черточка на ее лице останавливает Тоба. Собачьим нюхом он уловил запах хозяина, сидящего по утрам за письменным столом, от этого запаха у Тоба запершило в глотке. Напрасно думают люди, что собаки не живут воспоминаниями, еще как живут, честное слово, еще как...

Тоб скитался по дворам и улицам бездомным псом, он ночевал на пригородных дачах, в сараях, вздрагивал от злых окриков, а иногда и побоев. Кто же его принял? Хозяин. Пес уже привык к чистоте, привык к ежедневной похлебке, а главное — боготворит хозяина, принявшего и согревшего его. Тоб опять взглянул на статуэтку. Да, печальная она, эта статуэтка, но она все же нужна хозяину — он смотрел на эти грустные глаза и эту складку у рта.

Пес тихонько подывал. Теперь он забрался на кресло хозяина и оттуда глядел на Маркизу. Да, он хотел обидеть — кого? Человека — самого дорогого на всем своем скитальческом пути. Нет, нет, он, Тоб, не будет неблагодарным, плохим псом — никогда.

— Где ты, Тоб? — раздался голос Веры Николаевны.— Что у тебя болит?

Тоб соскочил с кресла и сконфуженно стоял перед хозяйкой.

— Что у тебя болит?

Пес рассказать не мог и пошел за Верой Николаевной на кухню. Та положила ему в миску вкусную котлету, думая этим утешить пса.

А тут хозяин открыл входную дверь, и пес бросился в прихожую. Он радостно лизал подполковнику руку, валялся на полу вверх животом. Тоб визжал, потому что ему сейчас, кроме хозяина, ничего не надо и что это есть самое главное счастье...

А на следующее утро, после прогулки и завтрака, подполковник сидел в кресле, смотрел на Маркизу и о

Вл. Железняк-Белецкий

чем-то благодушно думал. Рядом на полу уместился Тоб. Он смотрел то на хозяина, то на Маркизу и тоже по-своему, по-собачьи думал.

И печально улыбалась им Маркиза.

17.03.83 г.



ДРАМА НЕСКАЗАННОГО СЛОВА

От составителя —

о судьбе рукописного наследия
Вл. Железняка-Белецкого



...Недавно он отметил свое семидесятилетие, но стариком вовсе не выглядел. Это слово «старик» как-то не шло к нему, человеку с чуть сутулой суховатой фигурой, узким породистым лицом с прямым носом и выпуклыми голубыми глазами под тяжелыми веками... Близко узнать Владимира Степановича Железняка мне довелось в его последнее десятилетие, а началом сближения была подготовка к печати рукописи его будущей книги «Голоса времени» осенью 1974 года.

Не внешняя сановитость, которую не скрывали более чем скромные костюмы, поражала в нем, а ровное благожелательное спокойствие в жестах и слове, иногда чуть подсвеченное юмором. Нет, Железняк не из тех всепрощающих, что не помнят и не знают обид и возмущения, только никогда не опускался он до жалоб, претензий, разборок. И чувство собственного достоинства, врожденное у этого много пострадавшего человека, изумляло.

Лишний и обид сыну сенатора довелось пережить немало, в чем читатели уже имели возможность убедиться. Союз с Ниной Витальевной, думалось бы, удвоил ношу горя, но на двоих она оказалась легче. Они не плакались и несли бытовые трудности как неизбежность, всегда надеясь друг на друга, находя утешение в творчестве.

Правда, утешение это было тоже довольно горькое — ведь творчество нуждается в общественной оценке. Но публиковать ссыльного? — это вам Россия не царская, а советская,— как бы чего не вышло... С рисунками вроде бы и проще, но и тут доброхоты не торопились...

Писал Владимир Степанович новеллы, повести, даже пьесы, предпринимал робкие попытки «устроить» их в печать. Получил он, например, отменный отзыв отличного историка профессора Мавродина о «Русских новеллах», выйдя на связь с ленинградским журналом «Звезда»... Вот уже начали в театре готовить спектакль по его пьесе об Александре Невском — казалось бы, ко времени: идет война... Но мало ли на пути препон, а пробивными способностями В. Железняк никогда не обладал, и рукописи благополучно оказывались в столе — на долгие годы.

Путь рукописи не в свет, на люди — в молчаливую тьму безвестности — путь противоестественный, но что

делать? Еще глубже затонули когда-то раньше повести 1933—1935 годов: «Трамвайщики», «Пространство в тысячу шагов» — о беспризорниках, незаконченные «Голубые озера» — о русских императорах. Осели они в архивах НКВД, и никогда не пытался Владимир Степанович отыскать их, чтобы не ворошить эту нежить. А что новые вещи — они хоть в своем столе лежат, под рукой, может быть, когда-нибудь и для них придет время.

И время, действительно, пришло, хотя и поздно: в последнее десятилетие жизни В. С. Железняка-Белецкого вышло пять книг его прозы, в том числе и многие вещи из-под спуда. Тем самым сын сенатора получил реабилитацию реальную, и подтверждение тому — Почетная грамота Президиума Верховного Совета России к 75-летию. Но жизнь — что ей реабилитации? Ведь не вернешь годов сомнений в себе и сознания своей ненужности, когда руки опускались и годами не писалось,— он мог создать гораздо больше.

Жить в единстве с обществом и работать для него хотел молодой Владимир Железняк, как и его старшие современники, коих в литературных и общественных кругах называли «попутчики». Очень хотел понравиться советизму Юрий Олеша в романе «Зависть», стремились найти свое место в новом строе даже Андрей Платонов и Михаил Пришвин, пока твердо не убедились в его сатанинской природе. Не вставал в оппозицию и В. Железняк.

Попытка понять дух «новых отношений» предпринята уже в повести «Она с Востока» (1930). И позже пытался Владимир Железняк освоить советские представления об истории — в романе «Под двуглавым орлом», над которым он работал в 1961 — 1974 годах. Рукопись одобрил писатель из Архангельска Евгений Коковин, но Железняк оставил роман незаконченным, видимо, не умея да и не желая примирить непримирумое — трагический личный жизненный опыт и историко-партийную догму. А кто бы посмел за такую попытку осудить даже теперь: о последних годах империи и «Великом Октябре» написаны тысячи произведений с нормативных позиций. Что уж говорить, в главном от них не ушел и В. Пикуль в нашумевшем романе «У последней черты», даже та-

лантливый режиссер Э. Климов в фильме «Агония» полностью находится в плену навязшей догмы.

Свободу мысли и слова нашел В. Железняк на материале времен более отдаленных, XVI—XVIII веков, широко пользуясь краеведческими источниками и документами. Но ведь и этот путь тернист: были и есть силы, которым славные страницы русской истории не навистны. Припомним, к слову, пресловутую статью А. Яковлева «Против антиисторизма» (1972) — она предписывала гнусные антипатриотические каноны писателям-историкам, а перед неугодными опускала шлагбаум. Тут не исключение и В. Железняк: ни одной повести из прошлого Вологды (даже тех, что теперь вышли в книгах) не удалось опубликовать ему даже в нашем журнале «Север», так что уж там...

Некоторые из исторических повестей Владимира Железняка впервые появились в посмертном сборнике «Одержимые» (1986), в первоначальном виде составленном самим автором. Среди них — одноименная повесть (о расколе в православии), а также повесть «Евдокия-лапотница» — о судьбе первой жены царя Петра I, насильственно постриженой в монастырь, две римские новеллы («Цезарь и Петроний», «Лик Венеры») и ряд новелл о русских писателях.

Между тем в архиве Железняка остались неопубликованными повести «Вольноопределяющийся Курбатов» (1941—1942), «Три императора» (Александр I, Николай I, Константин) — над нею он работал в 1966—1968 годах, «Конец Семирамиды» (около 1980 года) — о Екатерине Великой, несколько римских новелл. Интересно, что первый опыт в драматургии В. Железняк осваивал тоже на историческом материале. Пьесу о русском святом, князе Александре Невском «Мечи и кресты» (1942) он написал в годину фашистского нашествия и возвращался к работе над нею в 1966 и 1977 годах.

Другая попытка работать в драматургии относится к концу пятидесятых годов — это пьеса «И был день субботний» на современную тему, о кружевницах. Свою литературную работу Владимир Железняк начинал в юности на материале современности. В старых журналах осталось немало его рассказов, никогда позже не появлявшихся.

шихся в книгах, например «Цветы жизни» (ж. «Друг детей», 1926), «Убийство» (ж. «Крестьянка», 1927). И в домашнем архиве писателя остались такие рассказы, как «Свидание» (1947), «Незнакомка», повести, написанные на разном материале. Это и «Музейщики» (1942) — название, которое говорит само за себя, опыт детектива — «Пятница — день несчастливый», «История одной жизни» (1956—1960). Воспоминанием о кадетском корпусе в годы первой мировой войны стала маленькая повесть «Перламутровый ножичек» (1958), рассчитанная на детей.

Накануне своего восьмидесятилетия Владимир Железняк держал в руках самую для него долгожданную книгу «Последние годы Федора Достоевского». Но за ее пределами остались-таки многие его новеллы о любимом писателе и повесть «Аня» — об Ане Сниткиной, жене Федора Михайловича Анне Григорьевне Достоевской. Наряду с этим, сохранились в архиве новеллы и о других русских писателях, например, «Софья Андреевна» и «Не могу молчать», посвященные памяти Л. Н. Толстого.

Как видим, тематика неопубликованных произведений В. Железняка-Белецкого неожиданностями не удивляет, да иначе и было бы странно: старость постоянна в интересах и пристрастиях. Работал Владимир Степанович до последних дней своих, сохраняя душевное здоровье, ясность мысли. Конечно, он очень хотел, чтоб его рукописи стали книгами, нашли своего читателя, но и в этом не терял здравомыслия и достоинства. Как-то однажды зашла у нас с ним речь о переиздании многострадальной «Повести о творчестве» — с некоторыми сокращениями, доработкой отдельных сцен и углубленной редактурой.

— Нет, не стоит. Повесть несет слишком отчетливые черты своего времени, пусть там и останется, — возразил Владимир Степанович.

А ведь старый писатель понимал, что эти его слова — окончательный, без обжалования приговор собственной повести, которая теперь уже никогда не может быть переиздана.

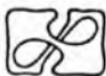
Не отличавшийся железным здоровьем, Владимир Степанович как-то незаметно для окружающих одолевал свои хвори. И спокойно пошел он в больницу в октябре 1984 года, когда «забарахлила» почка. Операция прошла

В. Оботуров

успешно, однако наряду с почкой пришлось удалить и желчный пузырь. Двойная резекция в таком возрасте оказалась непосильной. Был он в памяти и ясном рассудке, и в это свое последнее утро, даже сам побрился, что в такой ситуации вовсе не так уж просто.

Нина Витальевна и здесь, в больнице, постоянно находилась рядом, как и все сорок лет их совместной жизни. Конечно, тут было не до сокровенных разговоров, и о чем были последние мысли старого писателя, то останется нам неведомо как последняя тайна. Конечно, надеялся он, что его повести и рассказы найдут дорогу к широкому читателю — ведь уже при жизни, хотя и поздно, пошли. И скорее всего пошли бы шире, активнее: исповедание веры в Отчизну — главное в творчестве Владимира Степановича Железняка-Белецкого,— оно для переломных эпох привлекательно. Но и базарное время не тешит надежды писателей, ну а все-таки — может быть?..

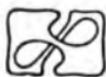
Василий ОБОТУРОВ.



СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ. Составитель о замысле и значении этой необычной книги	5
ВРЕМЯ ЛОМАЕТ СУДЬБЫ. История в жизни обыкновенных людей. Биографические материалы	9
В. С. Железняк-Белецкий. Автобиография	10
В. С. Железняк-Белецкий. Мой отец Степан Петрович (из семейных воспоминаний ровесника века)	14
С. П. Белецкий. Воспоминания о Распутине, написанные в «Крестах» (страницы из забвения)	38
Н. В. Железняк. Глухие годы (из воспоминаний)	61
ПУТИ ХУДОЖЕСТВА НЕИСПОВЕДИМЫ. О творчестве: размышления, штрихи, итоги	127
В. Оботуров. Слушая время... невластное над мужеством, совестью и подвижническим творчеством	128
М. Шолохов (и другие). Голоса в немоте. Письма, ставшие судьбоносными в жизни ссыльного	151
Ю. Домбровский. Сильнее судьбы. В провинциальную Вологду: письма другу	164
Е. Дуганова. «Не мыслю себя без Севера...» (Неизбывные заботы художника: о себе своими словами)	183
Э. Волкова. Итоги творчества: языком литературной статистики. Библиография В. С. Железняка	191
ЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ. Из литературного наследия писателя В. Железняка-Белецкого в разных жанрах	209
На реке Непрядве. (К 600-летию Куликовской битвы. Маленькая повесть)	210

Старец Гермоген. (Из цикла «Русские новеллы» — как урок мужественной веры)	223
Дщерь Петра. (Из цикла «Русские новеллы» — о тяжкой тщете истории)	228
Дни тревог. (Рассказ о предке писателя Денисе Давыдове, герое 1812 года, партизане и поэте)	236
Тургенев и Верещагин. (Очерк из жизни нашего великого земляка-художника)	244
Маркиза и Тоб. (Рассказ о светлых надеждах и грустной сути бытия)	253
ДРАМА НЕСКАЗАННОГО СЛОВА. От составителя — о судьбе рукописного наследия В. Белецкого-Железняка	263



Книга памяти

СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ

В. С. Железняк-Белецкий

Редактор **В. Коротаев**
Технический редактор **И. Рассадина**
Корректор **Е. Дуганова**

Сдано в набор 1.02.95 г. Подписано в печать 12.05.95 г. Формат 84×108/32.
Бумага писчая. Гарнитура академическая. Печать офсетная. Усл. печ.
л. 14,28. Тираж 5000. Зак. 190.

ТОО «Полиграфист», г. Вологда, ул. Челюскинцев, 3.